

[Polaris]



КАМЕНЬ АСТЕРИКС

Фантастика Серебряного века

Том III

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

CCLX



Salamandra P.V.V.

КАМЕНЬ АСТЕРИКС

Фантастика Серебряного века
Том III

Подготовка текстов, составление
и комментарии
М. ФОМЕНКО и А. ШЕРМАНА

Salamandra P.V.V.

Камень астерикс: Фантастика Серебряного века. Том III. Подг. текстов, сост. и комм. М. Фоменко и А. Шермана. — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2018. — 342 с., илл. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCLX).

Русская фантастическая проза Серебряного века все еще остается *terra incognita* — белым пятном на литературной карте. Немало замечательных произведений как видных, так и менее известных авторов до сих пор похоронены на страницах книг и журналов конца XIX — первых десятилетий XX столетия. Зачастую они неизвестны даже специалистам, не говоря уже о широком круге читателей. Этот богатейший и интереснейший пласт литературы Серебряного века по-прежнему пребывает в незаслуженном забвении.

Антология «Фантастика Серебряного века» призвана восполнить создавшийся пробел. Фантастическая литература эпохи представлена в ней во всей своей многогранности: здесь и редкие фантастические, мистические и оккультные рассказы и новеллы, и образцы «строгой» научной фантастики, хоррора, готики, сказок и легенд. Читатель найдет в антологии и раритетные произведения знаменитых писателей, и труды практически неведомых, но оттого не менее интересных литераторов. Значительная часть произведений переиздается впервые. Книга дополнена оригинальными иллюстрациями ведущих книжных графиков эпохи и снабжена подробными комментариями.

© Authors, estate, 2018

© M. Fomenko, A. Sherman, состав, коммент., 2018

© Salamandra P.V.V., оформление, 2018



КАМЕНЬ



АСТЕРИКС

Александр Вознесенский

ТА, КОТОРУЮ Я ЛЮБЛЮ

Когда я изваял статую «Совершенной», мне открылось, что один образ водил вдохновенно моим резцом.

Это была та, которую я люблю.

Когда сорвал покрывало с «Совершенной», чернь окружила ее и много смеялась. Только женщины стояли вдали, не сводя с творения моего задумчивых глаз. Но одна из них приблизилась и, смешавшись с чернью, громче черни смеялась.

Это была та, которую я люблю.

Тогда я стал у подножия моего творения и сказал:

— Братья, я обнажил перед вами «Совершенную», сбросьте и вы покрывало, чтобы открылись светлые глаза ваших душ!

Но один женский голос задорно отвечал:

— Нам платят, когда мы снимаем с себя покрывало.

Это была та, которую я люблю.

И нежданным ударом молота я разбил свое творение. Чернь молча отодвинулась, и женщины в ужасе закрыли глаза. Но, хлопая в ладоши, подбежала одна и в забаве отбросила ногою обломок мраморного девственного тела.

Это была та, которую я люблю.

Медленно поднял я этот обломок и коснулся холодными губами его холодной белизны. И в черноте толпы померк мой одинокий светоч. Зловеще прорезая воздух, пал тяжелый обломок на голову невинного и убил его.

— Безумный, — глухо заволновалась чернь.

— Несчастный, — тихо заплакали женщины, и лишь одна из них закричала:

— Злодей!

Это была та, которую я люблю.

А когда на каменном полу темницы последний земной сон сомкнул мои побелевшие веки, я видел площадь и палача, и чернь, готовых завтра справить вокруг меня кровавый праздник. И, словно Бог, я был к ним равнодушен. Потому что я видел в то же время, будто с бесконечной нежностью легла на лоб мой маленькая рука и как будто маленькая росинка катилась из глаз Совершенной.

Это была та, которую я люблю.

Виктор Гофман

УМЕР

Сегодня, после довольно продолжительного разговора о благодетельности летнего отдыха в деревне, между фразой о нестерпимости городской пыли и жалобой на однообразную скудость летних развлечений в городе, меня внезапно спросили: «А слышали ли вы, что умер Федор Федорович?»

Я вздрогнул. Нет, я этого не слышал. Значит, вот что случилось здесь, пока я отдыхал в тихой деревне, вдали от городских шумов и ежедневных новостей. Мне казалось сначала, что я этому не верю, хотя уже в первый миг я почувствовал глухой и мучительный испуг, какое-то острое и возмущенное раздражение, словно совершилось что-то нелепое и чудовищное, чего уже нельзя исправить.

Затем, в ответ на мои поспешные и взволнованные расспросы, мне были переданы подробности, показавшиеся мне столь же возмутительными и ужасными, как и первое сообщение, сделанное равнодушным тоном — между фразой о нестерпимости городской пыли и жалобой на однообразие летних городских развлечений...

* * *

Когда после этого я вышел на улицу, она вся была затоплена ослепительным солнцем. Казалось, солнце пришло в исступление, в какое-то неистовство пламенных ликований.

...Да, ничего не изменилось. Солнце ликует, как прежде, и даже ярче и исступленнее, и смерть одного ничего не меняет. Пусть даже душа его была полна кипучей избыточной жизни, — мир все так же полон, хотя более и нет его.

Умер... Но ведь он любил жизнь и не хотел умереть. Значит, это совершилось вопреки его воле? Почему же мы говорим, что он умер, а не убит — кем-то более сильным, чем он, не считавшимся с ним и его волей?

А солнце ликует. Не так же ли ликовало оно в тот день, когда, обезображенный предсмертной пыткой, беспомощно и мучительно умирал он?..

Но что же делал я в это время? С страстным напряжением старался я воскресить в своей памяти роковой день и даже час, когда совершилось непоправимое. Неужели и я был так же спокоен и равнодушен, как и природа? Неужели не мучила меня бессознательная тоска и не влекла к нему в те минуты? Но я не помнил ничего. По-видимому, это был день, как все, с пустым, спокойным ленивым времяпрепровождением, ничем не отличавшийся от каждого из остальных дней этого летнего отдыха в отдаленной деревне.

И с горьким недоумением вспомнил я наши разговоры с умершим о мировом всеединстве, о едином начале всего сущего, о неразрывной связи душ с миром и между собою...

Виктор Гофман

ОСЕННЕЕ УМИРАНИЕ

Ты сегодня опять безотчетно грустна: это осень отравила тебя своей мертвенной пышностью. Я давно слежу за тобой: как и все женщины, ты не любишь всматриваться в жизнь природы; спокойно сидя у цветного окна своей тенистой веранды, ты не замечаешь багрового разложения листьев и затаенной трагедии умирающих цветов. Но, как и все женщины, ты безотчетно близка природе, и смутными, непостижимыми настроениями отражается ее жизнь в тебе. А я только что обошел все дорожки нашего сада. Какая грусть, какое безумие! Под ногами хрустят и бессильно влачатся жесткие листья, покрытые желто-красными трупными пятнами. Клумбы разграблены ветром, и умерли, и искалечены наши лучшие цветы. Запах жаркой осени, запах натопленных теплиц, говорящий о мировом разложении.

Дай мне руку свою: знаешь, мне кажется сейчас, что все умирает. Ведь и цветение наших роз было лишь их постепенным умиранием: всякая жизнь — только смена одних частиц другими, отвоевывающими себе место, где умереть. Все, что живет, изменяется, а всякая смена есть смерть. Ведь и клеточки твоей руки вытесняют одна другую, и вот сейчас это, быть может, уже не та рука, которую несколько минут тому назад я с любовью взял с твоего колена. Да и сам я живу и меняюсь, и, значит, я каждую минуту уже не тот, с каждым дыханием я умираю. О, я чувствую его, этот запах осени, запах душных теплиц и мирового разложения! Не шевелитесь, листья, вы сорветесь сейчас и упадете на мокрую землю, не цветите, цветы... не дыши, не дыши. Не то затопит весь мир это багровое разложение, это иступленное торжество тления и смерти!..

Анастасия Мирович

ЯЩЕРИЦЫ

Ее достали из глубокого колодца. Она не помнила, как и когда в него попала и сколько времени была там. Ее мокрые волосы стали чернее от воды, чернее стали брови и ресницы, а взгляд ее, проникновенно долгий, манил и удивлял каждого. Казалось, что она разучилась говорить и многое забыла.

К ней призвали волшебника.

Родители ее столпились возле него и умоляли его вернуть сознание и память бедной девушке. Он стоял перед ней в хитоне из ползучих трав, в короне из лопухов и перьев, и змеиная улыбка скользила между морщинами его лица, то расширяя глаза в огромные светящиеся бездны, то вновь сжимая их в узкие щели.

Он сказал:

— Какую память, какое сознание вернуть тебе? Разве не тем больна ты, что узнала слишком много? Что видение твое стало больше тебя самой?

Она вздохнула и, потягиваясь всем телом, как бы изнемогая от необходимости отвечать ему, сказала:

— Ты угадал.

Он усмехнулся.

— Еще бы не угадать мне. Скажи, какая разница между золой и деревом?

— Та, — отвечала она, — что дерево может стать золой. А перегоревшая зола никогда уже не будет деревом.

— А можно сосчитать птиц, когда они кружатся в воздухе мелькающей черной стаей?

— Можно, — отвечала она. — Но для этого нужно самой стать птицей.

На подносе из плетеного камыша он протянул ей три ожерелья. Одно из нежных полевых цветов, другое из жемчужин и третье — из живых ящериц.

— Из трех ожерелий этих, к какому льнет твое желание, тянется твоя рука, устремляется взор и воля?

Она протянула руку к третьему и с тихим стоном, как бы повинуюсь несознанному, надела на себя зеленых, бьющихся животных.

— Здесь нечего мне делать, — сказал волшебник, обращившись к ее родным. — Но не бойтесь, дайте привыкнуть ей к ящерицам, и она станет похожа на всех вас.

Анастасия Мирovich

ЭЛЬЗА

— Молчанье, — сказал пастор, закрывая Евангелие. — Если мы для нашей бедной Эльзы не нашли слов даже у божественного Спасителя, то что может сказать ей человеческий язык?

Мать Эльзы продолжала плакать. Она не утирала слез, потому что их было слишком много. Они лились из ее души, как будто из огромного соляного моря — о, да! — соляного.

— Эльза, — сказала она дочери, — посмотри, который час.

— Третьи петухи уже пропели, — ответила Эльза.

Так они сидели все втроем поздней ночью, и никому не приходила в голову мысль о том, что время уснуть.

— Эльза, дочь моя, — сказал пастор, — расскажи нам, как это с тобою было.

Девушка откинула назад пышные локоны и положила руки на стол. Она стала водить пальцем по узору скатерти и стала тихо говорить о том, что с нею было. В течение этой ночи она уже три раза рассказывала все, и если бы им дать десять тысяч ночей, они каждую ночь сидели бы и говорили об этом же самом.

— Мы вышли из дому рано утром, чтобы найти какое-нибудь поле, где можно было бы зарыть убитых нами. Все трое были саксонцы, в синих мундирах с желтыми галунами. Умирая, один из них пожелал, чтобы я вместо детей рожала ужей. Ножи мы спрятали очень далеко, и все следы преступления скрыты.

— Эльза, дочь моя, — сказал пастор, вздыхая, — убивая, ты не думала о нас?

— Не думала, — отвечала она. — На обратном пути мы встретили людей, которые спросили нас, не знаем ли мы что-нибудь об убийстве трех часовых возле здания Центральной тюрьмы? Мы сказали — нет, нет, не знаем! Ветер гудел нам в уши, мосты дрожали под нашими ногами. Когда же пришли в город, был уже найден ложно обвиненный преступник. Друзья мои радовались и спешили уезжать из города, где оставаться было опасно. Они укладывали свои чемоданы, ели сыр и смотрели на часы, боясь опоздать к поезду. Тот, кого мы освободили, убив саксонцев, — целовал

мои руки и шею и повторял, как бы в забытьи: «Я всегда знал, что ты всюду пойдешь за мною. Ты бросила для меня отца и мать. Не побоялась стать убийцей». И он подмигивал на меня товарищам: «Умеет любить»! Я стягивала ремнями его мешки и не находила слов.

— Они уехали,— сказал пастор,— вниз по Рейну. А ты осталась.

— В десять часов ты была уже одна, — заметила мать.

— Я стала прибирать комнату и не находила места от запаха крови, который был возле меня. Потом я поцеловала крест и легла спать.

— Христос был недалеко от тебя, — заметил пастор.

— Я разучилась понимать Его.

— Ты поймешь Его, — с верой сказала мать.

На щеках у Эльзы горели два красных пятна, а глаза были сухи и смотрели в одну точку.

— Аминь, — сказал пастор.

— Аминь, — сказала Эльза.

Но разойтись они не могли, и рассвет застал их сидящими за столом, и бледное утреннее солнце с отчаянием поцеловало красные щеки Эльзы.

Но это не все.

Невинно казненный воскрес и, отыскивая свою прежнюю одежду, желал увидеть Эльзу. Он хотел сказать ей одно слово, и отыскивал ее годы, неутомимо.

Однажды ночью он подошел к дому пастора и увидел в освещенные окна, что Эльза сидит за столом и водит пальцем по узору скатерти, а родители ее в молчании смотрят на нее.

Он постучался и был впущен в дом. Пастор только что хотел сказать «аминь», когда дверь отворилась и в комнату вошел казненный.

— Здравствуй, Эльза, — сказал он. — Отныне я буду с тобой.

И все трое перекрестились, покорные воле Божьей.

Villa Camille

Иван Лукаш

ЧЕРНООКИЙ ВАМПИР

Дождь бился в пляске дикой. Скакал по острым черепичным крышам. Ветер с разбега бил в дрожащие стекла. Мигали насмешливо тьме — огни запоздалые ночи.

Он в дверь постучал.

В дверь, обитую шубою волка, с шкуркою крысы в углу. Засовы скрипели, засовы ржавые. Голос скрипучий ему кричал. Голос скрипучий, как ржавые засовы:

«Бездомник. Что надо от меня?.. Ты — кто?»

«Ведь, знаешь... Ну, — отворяй же!»

Под сводом, низким, в коридоре, смердящем крысами — толкнул он другую дверь...

У камина, где красным золотом пылали раскаленные угли, в кресле костлявом, сидела старуха. Старуха сидела с лицом посинелым, с губами, горевшими кровью. Кот черный, метая искры, терся о плечи. Спокойно смеялись зеленые глаза. Спина изогнулась.

— Ты ко мне? Зачем?

— Послушай... Послушай, старуха. Ночью вчера я увидел коня у мостов. К нему подошел и вскочил. И понесся. Перед дверью твоей — конь сгинул. Я стукнул к тебе. Ты послушай... Когда вечер бредет по болотам в синем пологе я видел ее. Женщину видел. Каждый вечер в саду моем, на мраморной скамье. Серая женщина, в мехе крысином, с телом змеи уползающей. И глаза ее — черные звезды. Они пьют мою кровь — черные звезды. Я боюсь. Послушай, старуха, — боюсь я!..

Кот фыркнул глумливо. Отошел. Тухли, пылали, золотом красным, угли. Дождь плясал на свинцовых переплетах уснувших окон.

Хохотом — визгом крысиным — старуха смеялась:

«Мой милый, жених мой пришел...»

...В саду вечером, в синем тумане, сидит на мраморной скамье — женщина в мехе крысином...

Он крикнуть хотел — беззвучно шептал он. Уста старушечьи впились в белую шею его.

Иван Лукаш

REQUIEM

...Играя синими блестками платья, качается на разбитом электрическом фонаре труп танцовщицы из цирка. Играющие блестки долго горели и гасли над головами толпы, когда труп сбросили с фонаря... Бьются в лабиринте улиц глубокие стоны бегущих. Мгновенно сверкают в темноте дрожащие клинки шпаг и кинжалов... Из подвалов Морба и от кладбищ, где сочится в городские каналы скользко-желтая жижа могил, — выполз и поднялся зверь. И полз он, — волоча липкие шлейфы мокрой шерсти, задевая костистой спиною выступы железных крыш. Подымалось дымным туманом ядовитое дыхание с каналов и оседало холодными каплями на каменных водоемах, у фонтанов и в окнах. Звенели под тяжелой ступней согнутые ажурные решетки. На асфальте тротуаров скользили брызги мозгов.

Темными и скученными стадами бежали люди. У домов с обвислой, как стружья, штукатуркой задыхались сжатые толпой и в бешеных тисках гибли раздавленные дети. Пробирая дорогу, с хрупотом перекусывали горла. И тонули в провалах запутанных улиц.

В арсенале загремели раскаты звенящего взрыва и в навислом небе мелькнули огненно-быстрые руки. Пламя кинуло в тьму острые зыбкие лезвия — зашумел трепещущей пляской пожар...

Сыпясь гремящими кирпичами, рушились фабричные трубы. Огни бриллиантов сверкали в осколках и брызгах лопнувших стекол. Угрюмо свистя, сплывало железо растопленных крыш. А в Морбе капала, как и раньше, ледяная вода из медных кранов и жутко пробегали на мертвенно-острых лицах огневые тени.

Кровавоволосые старухи плясали в улицах, вскидывая веером пламенные одежды.

Как гигантские струны, лопались жгуты проводов. И повисали черными змеями в океане огня, — трепетно извиваясь. Стаи диких старух взметали пламенные одежды над расплавленной сталью, в капеллах холодных и домах разврата...

Розовые сладкие женщины иступленно рвали вислые груди, оплеванные поцелуями улиц.

Город ревел. Смертельный ужас хохотал в огненных улицах. Лились разорванные грохоты. В тьме неба, точно клочья пурпуровых знамен, реяли и трепетали шумные взмахи буйного пламени.

Рушились белые колоннады музеев. Плавил огонь стеклянную мозаику изысканных фресок. Сморщенная кожа книг и пергаментов расплывалась и мрамор белых изваяний чернел. Паутины трещин рассекали иконные лики и шипели горячие пузырьки, съедая светлые крылья серафимов и алые розы.

Смрадными ручьями текла жидкая слизь от скотобоев. И были слышны в хохочущем свисте старух ревы запертых широколобых быков. В низкие ниши ворот старухи бросали горячие взмахи одежд, разгоняя кошек, стонущих в муке сладострастия.

Темный зверь брал квартал за кварталом. В смрадном пепле выгоревших переулков, между дымовых и обутленных каменьев, над остовами испепеленных стальных мостов, — полз зверь.

Холодное дыханье тушило голубые огни тлеющих углей. Мокрые шлейфы сметали червонные от огня развалины.

В глубоком и бархатном трауре звонов за зверем шла — Смерть.

Устало реяли клочья пурпуровых знамен. Кончали старухи в мертвых улицах свои истомленные плясы.

У широких мраморных лестниц набережной кружились белые хороводы людей. Светлые телом, они шли в пепелящий огонь костров. Рыхлый жир плыл и обнажались синеватые мышцы...

Иван Лукаш

ПОСЛЕДНИЕ СТРАНЫ ГОЛУБЫХ

Первый день после конца.

11 человек здесь со мною... Порвана, вероятно, вся сеть. Старик уже умер, а моя дочь холодеет и все хочет мне сказать что-то. Мы все умрем скоро, но покоен я. Я могу еще писать и, может быть, прочтет кто-нибудь мои записи. Холодно. Чувствую я, что мы последние Страны Голубых и пергамент мой истлеет или замерзнет в холоде мертвой земли. Мы — последние. 11 нас... Нет — 10. Дочь моя умерла. Умерла. Холодные пальчики, ледяные...

Я хочу рассказать о последней революции на земле. Холодно, холодно.

Второй день.

Я гражданин великого Города Мира. Когда-то, давно, — вся земля была разбита кусками и предки наши кусали и рвали ее и была кровь и гибли люди. Эти огромные, розовые люди, у которых было солнце. О, солнце! Много солнца, точно вся земля тогда была прозрачной и пылала огнями и алый виноград зрел и наливался кровью в тяжелом горячем зное. У предков наших — серые крепкие кости, — я видел их на кладбищах, глубоко под землей, там гниет осыревший кирпич разрушенных, нами забытых городов... Я не знаю, что было потом... Какая-то долгая, тяжелая кровью война всей земли... Катастрофы, расколовшие мир, как неудачную форму.

Я родился в третий день весны и был до последней революции гражданином города: я вел записи часовых оборотов главного колеса. Вместе с другими работал я в подземных мастерских, где мы создавали и пищу людей и снаряды смерти. Еще недавно мир ждал войны. Голубые юга хотели уйти в землю от солнца, а мы думали строить стеклянную стену над всем земным шаром. Но уступили южане и мы уже клали основы гигантского свода... О, солнце! У нас не было солнца. Давно, в дальние времена, говорят, люди молились ему и слагали о солнце песнопенья, а мы с

ним боролись. Ученые наши, инженеры и техники — перекинули над землею густую сеть, пропитанную теплым газом и каждый день проверялись скрепления сети и гудели и тархтели машины, вырабатывая запасы страшной теплоты. Мы не знали солнца. Я слышал смутно-смутно, что живет там за сталью крыш, за гигантскими проводами, в тьме сети — осторожный и холодный враг. И нужно бороться с ним, но многие уставали. Каждый день находили трупы на скреплениях воздушных лестниц и под зубьями огромных колес.

Только весною смеялись мы. В день, когда лаборатории выпускали на землю пахучий странный газ, когда мы задыхались от широкого аромата — в день Весны, утихал неумолкный грохот машин, останавливали свой скользкий бег ремни и только щупальцы осветителей струили голубой свет. Мы искали женщин в день Весны. Боролись из-за них в жидком сале у остановившихся колес, перебежали воздушные лестницы, падали в колодцы глухих коридоров. Мы искали женщин... А солнца не знали мы. Три гения — правители нашей страны, — следили за каждым, окружив его сетью шпионов. И, если некоторые из нас запевали какую-то песню, их уводили шпионы. Я не знаю, куда. Так погиб мой отец. Этой песни не знал я. Вероятно, старая песня и ее, быть может, еще пели люди, у которых такие огромные серые кости.

Холодно. В углу колодца поет и стонет голубоокий мальчик. Меня не греют тяжелые ткани — замерзли, хрустят под пальцами. О, солнце.

Третий день.

Это случилось незадолго перед тем, как наша смена уходила в свои колодцы — теплые, усталые мягкими тканями. С надземных улиц был слышен гул; так ревел пар за заслонками расплавленных печей. Я был с другими у выхода, когда из полутьмы по стальному канату скользнуло чье-то тело, сверкая, как жемчуг в голубом тумане. И упа-

ла нам под ноги девушка. Она смеялась, как весной. Пела, скидывая руки и приплясывая... У меня тени побежали в глазах. Зеленые, точно свежее масло машин, листики и тонкие щупальцы на тяжелых стволах. И видел я широкие воды. Железные берега, камни и белых птиц я видел. Я пел, я смеялся и плясал с другими. Мы, кажется, пели о солнце.

Мы пели о том, что у нас много солнца, что цветет молодой виноград и чайки плещутся в море. Свежий ветер шумит в траве. Пляшут на солнце голые женщины...

Тьма была в улицах города. Осветители потухли, издохнув, как голубые пауки. Я запутался в тонкой проволоке и упал, прижатый к стальному болту рельсы бегущими. Я видел... Вероятно, лопнуло крепление сети или, быть может, спайки проводов расщемились, — только стала прозрачной тьма и холодная, как стальной блеск, полоса упала и прокатилась по уходящим в тьму рычагам, в переплете воздушных мостов, над острыми гладкими крышами. Я видел, как в полутьме, давя и разрывая друг друга, бежали глухие темные толпы.

Я видел безумные схватки у воздушных аппаратов и у подъемных мостов. Многие, запутанные стальной паутиной, висели высоко, высоко. И корчились и извивались. Тяжко рыкали пылающие аппараты. И пели все. Я терпел и смеялся и хотел бежать с другими, но меня придавили к болту рельсы. Я видел, как маленькие люди, гримасничая и приплясывая, ползли по широким ремням, перекинутым через крыши, цеплялись за скользкие рычаги и пропадали высоко в темноте... Защитительную сеть разорвали. Бледное и прозрачное небо залило барьер холодным потоком. Слепил глаза — круглый белый враг. Помню, что холод обжег мое тело и я, оторвав пальцы от замерзшей стали, упал куда-то. Я не знаю — почему я здесь, в этом колодце. Нас 10 и моя дочь. И все они смеялись, гримасничали и пели, когда пришел я.

Дверь завалена холодными, замерзшими трупами, а сверху падают глухо еще и еще чьи-то окостенелые ноги и голова с выеденными холодом белками; придавлены дверью горы замерзших трупов за дверьми.

Моя дочь умерла в первый день, умер старик и голубокий мальчик. А другие поют и стонут и нет уже сил вылезти из под вороха обмерзших тканей. Они скоро замерзнут, но поют они. Поют и стонут. Я не понимаю их бреда... Чаек и море я вижу.

Ветер шумит. Пробежал в чаще олень, разбивая рогами ветви. Женщины пляшут и солнце. Солнце. Солнце.

Тихо и холодно. Весь город Мира завален окоченелыми трупами и тусклые зрачки мертвых глядят туда, в прозрачный, с белым холодным шаром, провал. Рты искривлены, вытянуты руки, тусклый иней заледенил голые голени. Горит холодом сталь ненужных рельс, рычагов и колес. Все — не нужно. Заметет колкий иней землю и лед похоронит ее. Тишина. Тишина... Хорошо мне. Я вижу сосны, сыпучий песок, камни. Ко мне придут теплые медведи и слетятся стаи белых чаек. Волосы ветер растреплет. Солнце. Солнце.

Александр Богданов

БЕССМЕРТНЫЙ ФРИДЕ

Фантастический рассказ

I

Тысяча лет прошло с того дня, как гениальный химик Фриде изобрел физиологический иммунитет, — впрыскивание которого обновляло ткани организма и поддерживало в людях вечную цветущую молодость. Мечты средневековых алхимиков, философов, поэтов и королей осуществились...

Городов — как в прежнее время — тогда уже не существовало. Благодаря легкости и общедоступности воздушного сообщения, — люди не стеснялись расстоянием и расселились по земле в роскошных виллах, утопающих в зелени и цветах.

Спектротелефон каждой виллы соединял квартиры с театрами, газетными бюро и общественными учреждениями... Каждый у себя дома мог свободно наслаждаться пением артистов, видеть на зеркальном экране сцену, — выслушивать речи ораторов, беседовать со знакомыми...

На месте же городов сохранились коммунистические центры, где в громадных многоэтажных зданиях были сосредоточены магазины, школы, музеи и другие общественные учреждения.

Земля превратилась в сплошной фруктовый лес... Специальные лесоводы занимались искусственным разведением дичи в особых парках...

Не было недостатка и в воде... Ее получали при посредстве электричества из соединений кислорода с водородом... Освежающие фонтаны били каскадом в тенистых парках. Серебрящиеся на солнце пруды с всевозможными породами рыб и симметричные каналы украшали землю.

На полюсах искусственные солнца из радия растопили льды, — а по ночам над землей поднимались электрические луны и разливали мягкий ласкающий свет.

Одна только опасность грозила земле, — перенаселение, — так как люди не умирали. И народное законодательное собрание одобрило предложенный правительством за-

кон, по которому каждой женщине в продолжение своей бесконечной жизни на земле разрешалось оставлять при себе не более тридцати человек детей. Родившиеся же сверх этого числа должны были по достижении пятисотлетней зрелости переселяться на другие планеты в герметически закупоренных кораблях. Продолжительность человеческой жизни позволяла совершать очень далекие путешествия. И, помимо земли, люди проникли на все ближайшие планеты солнечной системы.

II

Встав утром с роскошной постели из тончайших платиновых проволок и алюминия, Фриде принял холодный душ, проделал обычные гимнастические упражнения, облачился в легкую термоткань, которая давала прохладу летом и согревала зимой, и позавтракал питательными химическими пластинками и экстрактом из переработанной древесины, напоминающим по вкусу бессарабское вино. Все это отняло около часа. Чтоб не терять даром времени, он — совершая туалет — соединил микрофоном уборную комнату с газетным бюро и выслушал новости мира.

Радостное ощущение силы и здоровья переполнило все его тело, крепкое и стройное, — как будто состоящее только из костей и мышц...

Фриде вспомнил, что сегодня в двенадцать часов ночи исполняется ровно тысячелетие человеческого бессмертия... Тысяча лет!... И невольно мысль его стала подводить итоги пережитого...

В соседней комнате библиотека собственных сочинений Фриде, — около четырех тысяч томов книг, написанных им. Здесь же и его дневник, прерванный на восьмьсот пятидесятом году жизни, шестьдесят огромных фолиантов, написанных упрощенным силлабическим способом, напоминающим древнюю стенографию.

Далее — за кабинетом — художественное ателье, — рядом — скульптурная мастерская, — еще далее — зал в стиле вариэноктюрн, сменившем декантский, — здесь Фриде писал стихи, — и, наконец, симфонический зал с клавишными и струнными инструментами, на которых играли путем всевозможных механических приспособлений, достигая тем необычайной полноты и мощи звука. Вверху над домом была устроена физико-химическая лаборатория.

Гениальность Фриде была разносторонняя и напоминала гениальность одного из его предков по матери — Бэкона, оказавшегося не только великим ученым, но и драматургом, произведения которого долгое время приписывались Шекспиру. В течение тысячелетия Фриде оказал успехи почти во всех отраслях науки и искусства.

От химии, — где — как ему показалось — он исчерпал все силы и возможности своего ума, Фриде перешел к занятиям скульптурой. В течение восьмидесяти лет он был не менее великим скульптором, давшим миру много прекрасных вещей. От скульптуры он обратился к литературе: за сто лет написал двести драм и до пятнадцати тысяч поэм и сонетов. Потом почувствовал влечение к живописи. Художником он оказался заурядным. Впрочем, техникой искусства он овладел в совершенстве и, — когда справлял пятидесятилетний юбилей, — критики в один голос пророчили ему блестящую будущность. В качестве человека, подающего надежды, он проработал еще около пятидесяти лет и занялся музыкой: сочинил несколько опер, имевших некоторый успех. Так, в разное время Фриде переходил к астрономии, механике, истории и, наконец, философии. После того он уже не знал, что делать... Все, чем жила современная культура, его блестящий ум впитал, — как губка, — и он опять вернулся к химии.

Занимаясь лабораторными опытами, он разрешил последнюю и единственную проблему, над которой долго билось человечество еще со времен Гельмгольца, — вопрос о самопроизвольном зарождении организмов и одухотворении мертвой материи. Более никаких проблем не оставалось.

Работал Фриде по утрам. И из спальни отправился прямо наверх, — в лабораторию.

Подогревая на электрическом нагревателе колбы и наскоро пробегая в уме давно известные формулы, которые не было надобности даже записывать, — он переживал странное чувство, все чаще посещавшее его за последнее время.

Опыты не интересовали и не увлекали его. Давно во время занятий он уже не испытывал того радостного энтузиазма, который когда-то согревал душу, вдохновлял и переполнял всего его высшим счастьем. Мысли неохотно двигались по избитым, хорошо знакомым путям, сотни комбинаций приходили и уходили в повторяющихся и наскучивших сочетаниях. С томительным тягостным ощущением пустоты в душе он стоял и думал:

— Физически человек стал — как Бог... Он может господствовать над мирами и пространством. Но неужели человеческая мысль, — о которой люди христианской эры говорили, что она беспредельна, — имеет свои границы? Неужели мозг, включающий только определенное количество нейронов, в состоянии произвести также только определенное количество идей, образов и чувств, — не более?..

— Если это так, то...

И ужас пред будущим охватывал Фриде.

С чувством глубокого облегчения, чего никогда не бывало прежде во время занятий, он вздохнул, услышав знакомую мелодию автоматических часов, возвещающую о конце работы...

III

В два часа Фриде был в общественной столовой, которую посещал ежедневно только потому, что здесь встречался с членами своего многочисленного потомства, большинство которых он даже и не знал.

Он имел около пятидесяти человек детей, две тысячи внуков и несколько десятков тысяч правнуков и праправ-

нуков. Потомством его, рассеянным в разных странах и даже в разных мирах, можно было бы заселить значительный город в древности.

Фриде не питал к внукам и детям никаких родственных чувств, какие были присущи людям прошлого. Потомство было слишком многочисленно для того, чтоб сердце Фриде вместило в себя любовь к каждому из членов его семьи. И он любил всех той отвлеченной благородной любовью, которая наполняла любовь к человечеству вообще.

В столовой ему были оказаны знаки публичного почтения и представлен совсем еще молодой человек, — лет двухсот пятидесяти, — его правнук Марго, — сделавший большие успехи в астрономии.

Марго только что возвратился из двадцатипятилетней отлучки; он был в экспедиции на планете Марс и теперь с увлечением рассказывал о путешествии. Жители Марса — мегалантропы — быстро восприняли все культурные завоевания земли. Они хотели бы посетить своих учителей на земле, — но их громадный рост препятствует им осуществить это желание, — и теперь они заняты вопросом о постройке больших воздушных кораблей.

Фриде рассеянно слушал рассказ о флоре и фауне Марса, о каналах его, о циклопических постройках марсиан... И все, о чем с таким пылом говорил Марго, нисколько не трогало его. Триста лет тому назад он один из первых совершил полет на Марс и прожил там около семи лет... Потом он совершил еще раза два-три коротенькие прогулки туда же. Каждый уголок поверхности Марса знаком ему не хуже, чем на земле.

Чтоб не оскорблять все же внука невниманием, он спросил:

— Скажите, юный коллега, не встречали ли вы на Марсе моего старого приятеля Левионаха, и как он поживает?..

— Как же, встречал, наш уважаемый патриарх, — с живостью ответил Марго. — Левионах занят теперь сооружением грандиозной башни, величиною с Эльбрус.

— Так я и знал, так и знал, — загадочно улыбаясь, проговорил Фриде. — Я предсказывал, что в известном возрас-

те всех марсиан охватит страсть к большим сооружениям. Однако, юный коллега, до свидания... Мне надо спешить по одному важному делу. Желаю вам успеха.

IV

Маргарита Анч, цветущая женщина лет семисот пятидесяти, последняя жена Фриде, связью с которой он начал уже тяготиться, была президентшей кружка любителей философии. Еще за несколько верст до ее виллы, Фриде фонограммой дал знать о своем приближении.

Фриде и Анч жили отдельно, чтобы не стеснять самостоятельности друг друга.

Анч встретила мужа в алькове тайн и чудес, — изумительном павильоне, где все было залито мягким ультрахромолитовым цветом, восьмым в спектре, которого не знали древние люди с их неразвитым чувством зрения.

Красивый шелковый туникон, — до колен, чтоб не стеснять движений, — свободно и легко облегал ее стройные формы. Распущенные черные волосы волнистыми прядями упали на спину. И ароматом тонких и нежных духов веяло от нее.

— Очень рада видеть тебя, милый Фриде, — сказала она, целуя мужа в большой и выпуклый, — точно изваянный из мрамора, — лоб. — Ты мне нужен для одного важного дела...

— Я это предчувствовал, когда ты в последний раз говорила со мной по телефоноскопу, — ответил Фриде. — И, признаюсь, меня немного удивляет, почему такая таинственность и экстренность?

— Я хотела так, мой милый, — с кокетливой улыбкой сказала Анч. — Может быть, это и каприз, — но... иногда приходит желания, от которых трудно отказаться... Кстати, где мы встречаем сегодня ночью Праздник бессмертия?... И сегодняшней же день, если ты помнишь, исполняется ровно восемьдесят три года со времени заключения между нами

брачного союза...

— Однако, — подумал про себя Фриде и с неохотой ответил:

— Не знаю!.. Я еще не думал об этом.

— Но, конечно, — мы встречаем его вместе? — с чувством легкой тревоги спросила Анч...

— Ну, разумеется, — ответил Фриде. И от того, что неприятное чувство разливалось внутри его, — он поспешил заговорить о другом:

— В чем же твое важное дело?

— Сейчас сообщу, мой милый... Я хотела приготовить к новому тысячелетию сюрприз. Идея, с которой ты познакомишься, вот уже несколько десятков лет занимает меня и, наконец, только теперь вылилась в окончательную форму.

— Гм-м... Что-нибудь из области иррационального прагматизма?.. — пошутил Фриде.

— О, нет!.. — с грациозной улыбкой ответила Анч.

— В таком случае, что-нибудь из области политики? — продолжал Фриде. — Вы, женщины, — в этом отношении всегда хотите идти впереди мужчин...

Анч засмеялась.

— Ты великолепный угадчик, милый. Да, я приступаю к организации общества для совершения гражданского переворота на земле, и мне нужна твоя помощь... Ты должен быть союзником в распространении моих идей... Тебе — при твоём влиянии и связях в обществе — это очень легко сделать...

— Все будет зависеть от характера твоих замыслов, — подумав, возразил Фриде. — Наперед я ничего не могу тебе обещать...

Анч слегка нахмурила тонко очерченные брови и продолжала:

— Идея моя заключается в том, чтобы уничтожить последние законодательные цепи, которыми люди еще связывают себя на земле... Пусть каждый человек в отдельности осуществляет то, что в древности называлось государством, — является автономным... Никто не смеет накладывать на

него каких-либо уз... Центральной же власти должна принадлежать только организация хозяйства...

— Но ведь по существу так в действительности и есть?
— возразил Фриде. — Скажи, чем и когда стесняется воля граждан?

Анч вспыхнула и горячо заговорила:

— А закон об ограничении деторождения женщин тридцатью членами семьи?.. Разве это не ограничение?.. Разве это не дикое насилие над личностью женщин?.. Правда, вы, мужчины, не чувствуете на себе гнета этого закона.

— Но ведь этот закон вытекает из экономической необходимости?..

— Тогда надо предоставить решение его не случайностям природы, — а мудрому вмешательству сознания... Почему я должна отказаться от тридцать пятого сына, сорокового и так далее, и оставить на земле тридцатого? Ведь мой сороковой сын может оказаться гением, тогда как тридцатый — жалкой посредственностью!.. Пусть на земле остаются только сильные и выдающиеся, а слабые уходят с нее... Земля должна быть собранием гениев...

Фриде холодно заметил:

— Все это неосуществимые фантазии, которые к тому же не новы, — были высказаны полтора столетия тому назад биологом Мадленом... Нельзя ломать порядки, которые являются наиболее мудрыми... Между прочим, должен сказать тебе, что женщины древней эпохи так не рассуждали. У них было то, что называется материнским состраданием: слабых и уродливых детей они любили более, чем сильных и красивых... Нет, — я отказываюсь быть твоим союзником... Мало того, в качестве члена правительства, — представителя «Совета Ста», — я накладываю свое veto на твои действия...

— Но ты — как гений — не должен бояться переворотов!..

— Да... Но, как гений, — я предвижу весь тот ужас, который произойдет на земле, когда вопрос о расселении будет решаться свободной волей граждан... Начнется такая борьба за обладание землей, от которой погибнет человечество... Правда, человечество неминуемо погибнет и по дру-

гим причинам, замкнется в безвыходном круге однообразия, — закончил Фриде, как бы рассуждая сам с собой, — но зачем искусственно приближать роковой момент?..

Анч молчала. Она никак не ожидала встретить отказ.

Потом, холодно повернувшись строгим классическим профилем к Фриде, сказала с обидой:

— Делай, как знаешь!.. Вообще, я замечаю, что в последнее время как будто чего-то недостает в наших отношениях... Не знаю, может быть, ты тяготишься ими...

— Может быть, — сухо ответил Фриде. — Надо наперед свыкнуться с мыслью, что любовь на земле не вечна... В течение моей жизни — ты восемнадцатая женщина, с которой я заключил брачный союз и девяносто вторая, которую я любил...

— Ну, конечно!.. — сказала Анч, гневно закусила губки, и розовые пятна выступили на нежно-золотистой коже ее лица... — Но вы, мужья, почему-то требуете, чтоб женщина оставалась верна вам до конца, и почему-то только себе присваиваете право изменять ей первыми...

Фриде пожал плечами:

— Право сильнейшего, на котором ты только что строила свою теорию...

Анч от возмущения вся задрожала, но искусно овладела собой и с гордым спокойствием заметила:

— Итак, мы расстанемся... Ну, что же?.. Желаю вам успеха в вашей будущей жизни...

— От души желаю и вам того же! — стараясь не замечать яда ее слов, ответил Фриде.

Единственное чувство, которое он испытывал, это чувство тягостного томления... Тридцать один раз при объяснениях с женщинами пришлось ему слышать эти слова, с одним и тем же выражением в лице, голосом и глазах...

— Как все это старо!.. И как надоело!... — думал он, усаживаясь в изящный, похожий на игрушку, аэроплан...

Вечер Фриде проводил на воздушном поплавке, на высоте пяти тысяч метров, в многочисленной компании молодежи, собравшейся по случаю приезда Марго. Сидели за большим круглым вращающимся столом, верхняя крышка которого подкатывалась на воздушных рельсах, принося и унося цветы, фрукты и веселящий возбуждающий напиток, необычайно ароматичный и приятный на вкус.

Внизу феерическими ослепительными огнями блестела земля... По сети гладко накатанных дорог катились автомобили спортсменов, позволявших себе иногда в виде редкого удовольствия этот старый способ передвижения. Электрические луны, разливая фосфорическое сияние, роняли мягкий голубой свет на сады, виллы, каналы и озера, — и издали в игре полусветов и полутеней земля казалась затканной прозрачной серебряной сеткой...

Молодежь с чувством восхищения любовалась красотой открывающейся перед ними картины, особенно не видевший двадцать пять лет земли Марго...

Он повернул механический рычаг. И кресло, на котором он сидел, поднялось на стержне над столом, так что всем собравшимся стало видно говорящего:

— Друзья!.. Предлагаю тост и гимн в честь Вселенной!

— Великолечно!.. — радостно подхватили собравшиеся.

— Тост и гимн.

Во время пиршеств часто пели национальные гимны, составленные композиторами, патриархами семей. Поэтому вслед за первым предложением Марго сделал второе:

— Друзья!.. Так как нашему столу оказана честь присутствием здесь нашего уважаемого патриарха Фриде, — то предлагаю спеть его гимн «Бессмертный».

И взгляды всех устремились на Фриде. Он сидел погруженный в свои мысли и — когда было произнесено его имя — склонил в знак согласия голову.

Под аккомпанемент величественного симфониона стройные мужские и женские голоса запели гимн, написанный в

звучных и смелых мажорных тонах. Гимн состоял из восьмистиший, заканчивающихся каждое словами:

Благословенна единая душа вселенной, разлитая и в песчинках и в звездах,
Благословенно всеведение, потому что оно является источником вечной жизни.
Благословенно бессмертие, уподобившее людей богам!..

Торжественным хоралом плыли звуки, казавшиеся молитвенным вздохом самого неба, приблизившего к земле свои загадочные и глубокие дали...

Только Фриде сидел по-прежнему безучастный ко всему, что делается кругом... И когда гимн был окончен, взгляды всех опять устремились на него. И один из более близких к Фриде внуков, химик Линч, взял на себя смелость спросить:

— Уважаемый патриарх!.. Что с вами?.. Вы не принимаете участия в пении вашего любимого гимна!

Фриде поднял голову... Сперва у него мелькнула мысль, что не следует омрачать веселья молодежи никакими сомнениями, но сейчас же на смену ей пришла другая: рано или поздно все неизбежно будут переживать то же самое, что и он.

И Фриде сказал:

— Этот гимн — величайшее заблуждение моего ума... Всеведение и бессмертие заслуживают не благословения, а проклятия... Да, будь они прокляты!..

Все удивленно повернулись к патриарху. Он сделал паузу, обвел присутствующих полным глубокой муки взором и продолжал:

— Вечная жизнь есть невыносимая пытка... Все повторяется в мире,— таков жестокий закон природы... Целые миры создаются из хаотической материи, загораются, потухают, сталкиваются с другими, обращаются в рассеянное состояние и снова создаются. И так без конца... Повторяются мысли, чувства, желания, поступки и даже сама мысль о том, что все повторяется, приходит в голову, может быть, в

тысячный раз... Это ужасно!..

Фриде крепко сжал руками голову. Ему показалось, что он сходит с ума...

Кругом все были ошеломлены его словами.

Через мгновение Фриде заговорил снова, — громко и строго, — точно вызывал кого-то на бой:

— Какая великая трагедия человеческого бытия — получить силу Бога и превратиться в автомат, который с точностью часового механизма повторяет самого себя!.. Знать наперед — что делает марсианин Левионах, или — что скажет любимая женщина!.. Вечно живое тело и вечно мертвый дух, — холодный и равнодушный, как потухшее солнце!..

Никто из слушателей не знал, что ответить... Только химик Линч, чрез некоторое время опомнившись от первого впечатления, произведенного на него речью, обратился к Фриде со словами:

— Уважаемый учитель!.. Мне кажется, есть выход из этого положения. Что, если возродить частицы мозга, пересоздать самого себя, перевоплотиться!..

— Это не выход, — горько усмехнулся Фриде. — Если такое перевоплощение и возможно, то оно будет значить, что мое настоящее, сейчас существующее «я» со всеми *моими* мыслями, *моими* чувствами и желаниями, исчезнет бесследно... Будет мыслить и чувствовать кто-то иной, незнакомый мне и чуждый. В древности люди слагали басни, что душа человека после его смерти входит в другое существо, забывая о своей прошлой жизни. Чем же будет отличаться мое обновленное и возрожденное состояние от прежних умираний и перевоплощений во времени, в которые верили дикари? Ничем... И стоило ли человечеству тратить свой гений на то, чтоб, достигши бессмертия, вернуться в конце концов к старой проблеме смерти?..

Фриде неожиданно оборвал речь, откатился в кресле на перрон площадки и, посылая прощальное приветствие, сказал:

— Простите, друзья, что я вас покидаю... К прискорбию своему вижу, что своей речью нарушил веселье вашего стола...

И, уже приготавливаясь к тому, чтоб лететь на землю, он с аэроплана крикнул:

— Так или иначе, только смерть может положить конец страданиям духа!..

Этот загадочный возглас поразил всех и родил в душах смутные предчувствия какой-то надвигающейся беды... Марго, Линч, а за ними прочие откатали свои кресла на перрон и долго встревоженными глазами следили, как в ночном просторе качался и плыл, сияя прозрачными голубыми огнями, аэроплан Фриде...

VI

Фриде решил покончить с собой самоубийством, но предстояло затруднение в выборе способа смерти. Современная ему медицина знала средства оживлять трупы и восстанавливать отдельные части человеческого тела. И все древние способы самоубийства, — циан-кали, морфий, углерод, синильная кислота, — были непригодны...

Можно было разбить себя на миллионы частиц взрывчатым веществом или взлететь на герметическом корабле вверх и обратиться в одного из спутников какой-нибудь планеты... Но Фриде решил прибегнуть к самосожжению и притом в его древней варварской форме, на костре, хотя техника его времени позволяла сжигать радием в одно мгновение громадные массы вещества:

— Смерть на костре!.. По крайней мере, это будет ново и... красиво...

Он написал завещание:

«За тысячу лет существования я пришел к выводу, что вечная жизнь на земле есть круг повторяемостей, особенно невыносимых для гения, самое существо которого ищет новизны. Это одна из антиномий природы. Разрешаю ее самоубийством».

В алькове тайн и чудес он воздвиг костер. Прикрепил себя цепями к чугунному столбу, около которого сложил го-

рючие вещества.

Окинул умственным взглядом то, что оставляет на земле.

Ни одного желания и ни одной привязанности! Страшное одиночество, о котором понятия не имели в древности, преследует его... Тогда — в прежнее время — были одиноки потому, что среди окружающих не находили ответа на искания духа... Теперь же одиночество потому, что дух ничего более не ищет, не может искать, омертвел...

Без сожалений Фриде покидал землю.

В последний раз вспомнил миф о Прометее и подумал:

— Божественный Прометей добыл когда-то огонь и привел людей к бессмертию. Пусть же этот огонь даст бессмертным людям то, что предназначено им мудрой природой: умирание и обновление духа в вечно существующей материи.

Ровно в полночь выстрелы сигнальных ракет возвестили о наступлении второй тысячелетней эры человеческого бессмертия. Фриде нажал электрическую кнопку, запалил зажигательный шнур, и костер вспыхнул.

Страшная боль, о которой он сохранил смутные воспоминания из детства, исказила его лицо. Он судорожно рванулся, чтоб освободиться, и нечеловеческий вопль раздался в алькове...

Но железные цепи держали крепко... А огненные языки извивались вокруг тела и шипели:

— Все повторяется!..

Александр Богданов

ОСТРОВ МЕССАЛИНЫ

Их было десять тысяч женщин, которые оставили своих мужей, чтоб создать особое женское царство и начать независимую жизнь.

Казалось, что все на земле было подчинено господству женщин.

Лучшие мастера-зодчие строили для них роскошные виллы с освежающими фонтанами. Скульпторы высекали из каррарского мрамора прекрасные статуи. Поэты слагали гимны, уверяя, что только любовь женщин вдохновляет их и открывает им вечные тайны мира. Художники живописали на картинах красоту женского тела. Бойцы склоняли к их ногам знамена. Юноши в тихие ночи с мандолинами в руках пели перед их окнами серенады...

Женщины слушали, и в глазах их загорался свет радости...

И все-таки они бежали. Они слишком поверили в то призрачное счастье на земле, которое им обещали. И — как всегда происходит — чем сильнее была их вера, тем глубже постигло разочарование.

Первой бежала Сафо, жена известнейшего в мире поэта Главка. Он писал такие чарующие стихи, что — слушая их — смягчались жестокосердые, и страдающие забывали свои несчастья. Но, будучи великим для других, он в семейной жизни был таким ничтожным, раздражительным, мелочным, ревнивым, безрассудным и похотливым, — что Сафо, наконец, не выдержала и отравилась. Знаменитейшие врачи вернули ее к жизни, чтоб она снова служила, как раба, своему господину Главку. Тогда Сафо решила бежать.

Последней покинула на корабле землю Мессалина, девушка из увеселительного дома, «Вечерняя Греза» — как ее прозывали. Лучший мужчина, которого она встретила в жизни, был уличный бродяга, рыжий горбатый карлик — Гойя. Он, по крайней мере, не бил ее и ничего не требовал, а когда приходил к ней в гости, то покорно — как собачка — свертывался клубком на постели у ее ног и засыпал до утра.

Бежавшие женщины захватили с собой только дочерей, еще не вышедших замуж и не обольщенных мужчинами. Сыновей же, как это ни было им тяжело, решено было ос-

тавить на земле.

И когда тронулся в путь первый корабль, на котором находилась Сафо, мужчины с недоумением провожали их. Главк заклинал Сафо вернуться, и тогда же спел свои знаменитые мадригалы. Но женщины уже не верили.

Большинство самоуверенно смеялось над женщинами и кричало:

— Солнце не успеет погасить лучи за далью моря, как вы вернетесь в свои дома!..

— Никогда!.. — отвечала Кассандра, славившаяся своей способностью к ясновидению, одна из женщин, которая по желанию мужа была бесплодна и от этого болела. — Скорее звезды в небе погаснут, чем мы примем на себя снова добровольное рабство!..

На последнем корабле отплывала Мессалина и ее подруги. Мужчины уже были раздражены упрямством женщин и гневно шумели на берегу:

— Вернуть их!.. — раздавались крики.

— Задержать силой!..

— Чего с ними церемониться?.. — гудел, бегая по берегу, высокий черный человек с огромным носом. — Ведь это же женщины из домов, назначение которых доставлять нам удовольствие!.. И чего только смотрят блюстители порядка?..

— Твари!..

— Стрелять в них!..

И несколько выстрелов раздалось вслед им с берега.

Только Гойя, прижавшись незаметно к канатам, сложенным на берегу, тихо простонал:

— Прощай, Мессалина!.. Моя единственная, — прощай!..

И он горько заплакал.

И все время, пока не скрылся корабль, он устремлял к нему свои печальные затуманенные глаза.

Неподвижная черная точка у канатов — вот последнее, что сохранила в памяти Мессалина, отплывая с земли...

Женщины поселились на далеком необитаемом острове и стали выбирать королеву.

Королевой, по их мнению, должна была стать женщина, испытавшая больше всех страданий на земле. Такой оказалась Мессалина.

С первых же дней она показала ясность своего ума и твердость души.

Когда некоторые из женщин тщеславно вынули драгоценности и наряды, Мессалина стала подобна темной сверкающей туче и сказала:

— Сестры!.. Пусть ничто не напоминает вам о той земле, где ради украшений пролито столько слез и совершенно столько преступлений, и где эти жалкие сверкающие побрякушки повергали вас в рабство...

И по ее совету драгоценности были зарыты в землю. А женщины сшили себе простые свободные хитоны, на ноги надели сандалии, а головы украсили венками из мирт.

Мессалина была самая необыкновенная из всех покинувших землю. Она выросла в священной долине, где днем смеялось в глади заливов солнце, а по вечерам молитвенно и тихо шептались старые дубы. По каменным иссеченным уступам сходила Мессалина к воде, распускала золотистые волосы и радостно по-детски смеялась солнцу и слагала гимны дубам. Не знала душа ее ни ужаса, ни скорби, — и за это жители прозвали ее «Смеющейся девушкой долин». Когда же душа Мессалины созрела для любви, — пришел незнакомец с черными факелами вместо глаз и бросил в ее душу огонь страданий. Мессалина познала муки и радости рождения ребенка и скорбь после его смерти. Родные отвергли ее. И она понесла свое печальное материнство в холодный и чуждый город, где уже не было ни солнца, ни дубов, и только ночь зажигала для нее огни в доме, куда приходили мужчины повеселиться.

Под управлением Мессалины женщины разбили город на тысячу цветников, где построили тысячу домов, утопавших в миртах, розах и хризантемах. В каждом доме жило по десяти женщин, составлявших очаг. Десять очагов образовывали центурий, а десять центурий — священную хилию.

Каждый центурий имел общественную столовую, чтоб женщины были свободны от забот по кухне, а каждая хилия — школу и ристалище для гимнастических упражнений и танцев. Любимым развлечением женщин были танцы, музыка и пение стихов о вечной красоте, наполняющей мир. По вечерам, в свободное от работ время, они сходились в театр, где изображали борьбу человеческих страстей на земле. Лучшие артистки выходили на сцену в одеянии мужчин и бичевали пороки мужской души. Смеялись женщины, хлопали в ладоши и, показывая дочерям на переодетых мужчинами женщин, говорили:

— Смотрите, какой ужас происходит на земле!.. Неужели вы когда-нибудь вернетесь туда?..

Посреди острова был возведен сводчатый с белыми колоннами храм. Талантливая Петрония — скульптор — поставила в нем изваянную из мрамора статую, розовоперстую девственницу-богиню Ниобею, поднимающуюся на крыльях к небу и зачарованную тем счастьем, которое она открыла там.

А весь город был окружен высокой каменной стеной, чтоб за нее не мог проникнуть тайно никто из мужчин, которые смотрят вожаделенно на женщину. И к стене была прибита медная доска, на которой на пяти языках мира было написано золотыми буквами, что «всякий из мужчин, осмелившийся самовольно вторгнуться в царство женщин, — все равно — простой он человек, или избранник неба, будет предан смертной казни».

Случилось однажды, что к берегам острова причалила лодка. В ней сидел незнакомец с красивыми выющимися кольцами каштановых волос и с мужественным благородством в тонких чертах лица. Он привязал лодку к столетнему дубу, куда по вечерам приходили женщины, чтобы любоваться, как заря гасит свои розовые лучи в хрусталях воды, а сам отправился в город.

Толпа весело смеющихся женщин встретила его у входа, и сразу смятение испуга и гнева пробежало среди них:

— Кто ты, дерзкий, осмелившийся ворваться к нам?..

— Я — Гермес, — простой рыбак... — спокойно ответил юноша с каштановыми волосами. — Мой отец занимался тем же промыслом и в наследство завещал мне любовь к морю и несколько песен, от которых у девушек вырастают крылья любви... Хотите, я спою вам одну из них, — лучшей вы никогда и ни от кого не услышите в жизни?..

— Несчастный!.. Разве ты не знаешь, что ожидает всякого, кто осмелится ступить ногой на этот зачарованный остров?.. Или, может быть, ты один из тех отчаявшихся, которые уже ничего не хотят от судьбы, кроме могильного мрака...

— О, нет, зачем же?.. Я очень люблю жизнь и ее радости... — ответил юноша. — И уже потому не хотел бы умереть, что у меня есть невеста Урания, — девушка, которая своей красотой затмила бы всех женщин вашего острова. С нею я был счастлив так, что нам завидовали даже боги. Но Урания послала меня к вам посмотреть, правда ли, что у вас тот обетованный рай, о котором и во сне и наяву грезят женщины. Если это так, то она покинет землю и прибудет сюда. Если же нет, то я надеюсь вернуться к ней и дать ей то счастье, которого вы, к сожалению, не могли найти на земле... Не так ли, девушки?..

— Безумный!.. Ты более не вернешься на землю!..

— Значит, у вас нет счастья!.. — твердо ответил рыбак и обвел глазами окружающих его. — Значит, у вас нет свободы и справедливости!.. Я так и знал... И когда я уезжал с земли, то сказал Урании: «Единственная моя!.. Если я не вернусь обратно, то знай, что нет на острове женщин волшебного рая... Все, что доносится к нам волнующими слухами об их жизни, — есть лживый бред... Недаром же они так боятся, чтоб правда о них не достигла земли!.. Разве скрывают, когда хорошее?..»

От укоризны краска обиды выступила на щеках женщин. Но они засмеялись надменным смехом и сказали:

— Неправда!.. С тех пор, как мы покинули землю, счастье

витает с нами даже во сне... За злые же слова свои ты будешь наказан тем, что умрешь...

Вечером был созван суд, на котором участь незнакомца должна была решить сама королева.

Мессалина взглянула на Гермеса долгим испытующим взглядом, как умела смотреть только она одна, и сказала:

— Рыбак!.. Так ли твердо ты любишь Уранию, что готов умереть за нее?

— Да... — ясно и радостно ответил юноша.

— Хорошо... — раздумчиво согласилась Мессалина. — Согласен ли ты умереть даже в том случае, если одна из нас вернется на землю, чтоб передать Урании, твоей возлюбленной, будто ты коварно изменил ей и остался на острове? Что женщины — опутали тебя своими сетями? Что ты пресмыкаешься среди них и ползаешь — как жалкий раб любви, — а мы злорадно мстим в твоём лице всем мужчинам за те унижения, которые испытали на земле? Что у тебя нет даже сил достойно умереть?..

Тень страдания мелькнула на лице Гермеса. Но он пересилил себя и ответил:

— Да, даже в таком случае я встречу спокойно смерть...

— Сестры!.. — кротко улыбаясь Гермесу, сказала Мессалина. — Этот человек выдержал труднейшее из испытаний любви... Благородство его необыкновенно. Пусть же он возвратится на землю и передаст, что мы, действительно, достигли высшего счастья и что свобода научила нас также быть и справедливыми...

— Да будет так!.. — подтвердили женщины...

Только хранительница королевских покоев Кассандра, недовольная решением, заметила:

— Не пришлось бы нам, королева, раскаиваться в своём поступке. Если Гермес вернется к Урании и на земле окажется хотя одна счастливая женщина, то могут ли остальные из нас оставаться спокойными?.. И не захотят ли вернуться к прежним очагам?.. Великое горе предвещает нам приход этого рыбака!..

Урания, прибытия которой с нетерпением ожидали на острове и о которой уже сложили таинственные легенды, явилась не одна, а в сопровождении пяти женщин, беззаветно ее чтящих.

Торжественное празднество было устроено в честь них. На берегу залива возвели каменную площадку для танцев с белыми колоннами по углам. Для королевы и Урании были устроены в скале два полукруглых возвышения — вроде тронов.

В тихий вечер, когда погасли последние лучи зари и кроткие звезды наполнили голубым мерцанием вселенную, величественное шествие направилось к морю. Хор девушек в белых туниках с распущенными волосами и факелами в руках пел гимн девственнице Ниобее. А на берегу было разложено десять громадных костров по числу хилий, и каждая хилия должна была приветствовать Уранию.

Празднество открылось символическим обрядом сжигания одежд, в которых прибыли женщины.

И каждый раз, когда пламя, рассеивая золотые гаснущие искры, поднималось вверх, главная жрица острова, старая девственница Веста, громко возвещала:

— Так да погибнет в очистительном пламени все, что напоминало бы о лживой суете земли, где рабство и страдание были уделом женщин!

Хор же девушек с возженными факелами пел:

Пусть душа женщины будет подобна чистому пламени с его
неугасающим светом, —

...Женщины — тогда вам откроется счастье небес!

Привет той, которая отказалась от обманчивых радостей зем-
ной любви, —

Привет тебе, достойнейшая из женщин, — Урания!..

После совершения обряда каждая из спутниц Урании должна была выйти перед собравшимися и рассказать им правду о своей жизни.

Сказала *первая*, — гордая Этна, девушка с бледным благородным лицом:

— Он — был юноша, одаренный талантами и многообещающий, если бы порок не изъел, подобно ржавчине, его души. У него была слишком слабая воля, чтоб отказываться от удовольствий жизни, и дни его проходили в беспутных пиршествах... За что я полюбила его?.. Я не знаю и сама... Может быть — я полюбила в нем скрытые возможности добра, и мне было жаль его напрасно гибнущих сил. Я хотела поднять его слабый дух на вершины творчества, какие только доступны мужчине...

Любовь наша продолжалась двенадцать полнолуний. В начале он как будто подчинился моим желаниям, красота исцеляла его гибнущую душу... Я еще пламеннее полюбила его за это, а может быть, за возвышенность моих собственных осуществлений в нем... Ведь мы часто любим людей не за то, что они добры, а за то, что они дают возможность нам самим делать им добро...

Но юноше, очевидно, наскучила его новая жизнь в борьбе с темными пороками духа. Моя требовательность — казалась ему женским капризом; желание не видеть в нем недостатков — он объяснял моим себялюбием, — мою настойчивость — холодностью и жестокостью души. И он возненавидел меня — как ненавидят злых деспотов... И однажды ушел от меня к той, которая лестила ему, поощряла его пороки, расслабляла его больную волю и потому нравилась ему.

Тогда я решила принести обиду любви своей сюда, к вам на остров.

Сказала *вторая*, — Креола, дочь тихих равнин:

— Женщины!.. В моей любви я всегда подчинялась ему, господину своему. В глаза его покорно заглядывала я, чтоб видеть, каковы желания повелителя моего... Когда он был грустен, я пела веселые песни, чтоб утешить его... И во всем старалась угождать ему, — не было около него человека более преданного, чем я...

Помню, раз в гневе он ударил меня, и я снесла, — я не проклинала руки, причинившей мне тяжкую боль. Ибо я думала, что ему будет стыдно, и он уже не станет более оскорблять меня.

Но чем преданней служила я и чем покорней была, тем дальше он отходил от меня сердцем своим, и тем требовательнее становился сам. Ради других женщин он покидал меня и опять возвращался, и я принимала с радостью и болью его.

Теперь уже год — как он ушел, и вот нет его... Не знаю, где он и что с ним, и вспоминает ли он меня... Но я... я еще помню его...

Сказала *третья*, — Хилия, дочь сурового севера:

— В доме отца моего ярко горел очаг... Помню, — нас было два брата и три сестры, и мы сидели перед дрожащим красным пламенем, а мать слагала нам красивые баюкающие сказки... Темные ели за окном качали снежные лапы и грозились, — а мы слушали, слушали...

Потом я вошла в дом сурового человека, который запер за мною дверь, — не желая, чтобы кто-нибудь из других мужчин видел меня... Вечером он возвращался домой, и я должна была развлекать ласками того, кто кормил меня... И так в одиночестве проводила я целые дни у очага своего...

Я вспоминала мать и так хотела иметь детей. И у меня, наконец, родился сын-первенец, вливший радость и свет в пустоту моей жизни. У колыбели малютки напевала я песни свои, нежно ласкала его и забывала одиночество... А когда возвращался муж и видел, что я расточаю над колыбелью ласки свои, то стал ревновать меня к сыну, и жизнь моя наполнилась новыми терзаниями...

Еще у меня было два сына и две дочери... Дни и ночи я с радостью отдавала им, — и в муках и болезнях деторождения гасли силы мои... Морщины забот легли на лицо мое, а волосы раньше времени перевились серебром... И я уже не привлекала к себе мужа моего, потому что другие красивые и молодые женщины завладели им... Молча приходил он в дом и даже не хотел смотреть на меня... Но я переносила все ради детей своих...

Кровью собственного сердца я вскормила детей, тревоги и заботы о них изранили душу мою... И теперь что осталось мне?... Первенец, которого я так любила за светлый ум и чистую душу, погиб в бою... Второй сын, за которого я

так болела душой, — потому что он был порочен, — скрылся неизвестно куда, и вот уже более пяти лет я не получаю вестей о нем... А дочери все имеют мужей, и мне нет места в доме их... Мужа своего я давно потеряла, — еще при его жизни...

Сказала *четвертая*, — Фатъма, дочь востока:

— Когда я в первый раз увидела *его*, то тайный трепет прошел по моему телу, и я сказала себе в мыслях: вот тот, который даст тебе счастье... И с изобретательностью любящей женщины старалась завлечь его... Но он оставался холоден и равнодушен, как будто не замечал меня... Тогда обида стрелой пронзила сердце мое, и я сказала: «Ну, хорошо же!.. Все-таки я добьюсь того, что я хочу!..» Я пустила в ход все чары женской души, и толпы поклонников стали окружать меня... Тогда и он обратил ко мне свое лицо... Но я уже была зла на него, не прощала обиды и долго терзала его, наказывая за прошлую холодность. Наконец, сжалилась и склонилась к нему с душой, раскрытой для любви... Но уже он не хотел принимать меня.

Так попеременно мы мучили друг друга... Любим ли мы?.. Не знаю... Порою, кажется, я ненавижу его за жестокость и холодность, как никого не ненавидела в жизни... Порою же, кажется, готова стать его последней служанкой, чтоб быть вместе с ним... Так же и он... Любовь наша омрачена ненавистью, — и в ненависти пламенеет любовь... Когда мы далеко, то стремимся овладеть один другим, а когда приближаемся — то какая-то непонятная сила отталкивает нас. Не знаю, — есть ли это любовь, — но борьба наших страстей засасывает нас — как поглощающий омут, в котором нет спасения... Вот почему, женщины, я бежала сюда...

Сказала *пятая*, — Хлоя, дочь гор:

— Моя любовь была мимолетна, как дыхание ветерка на заре... Я встретила с ним у ручья, когда поила коз... Глаза его были — как звезды в ночном небе, и голос подобен пенью свирели. Мы ни о чем не спрашивали друг друга, и я не помню, как оба мы очутились под сенью старых священных олив.

И день, и два, и десять дней он выходил к ручью...

Кто он, — я даже не знаю имени его... И не все ли равно?.. На одиннадцатый день он уже не пришел... Я искала его и звала, но в горах было тихо, — и только бедные козы прижимались ласково ко мне...

А теперь в моей душе пусто, как будто кто выпил ее до дна...

Когда все окончили рассказывать, то Урания поднялась с возвышения и, оглядывая собравшихся, заговорила с вдохновенным видом. Голос ее был тверд и певуче звонок, как голос юноши:

— Женщины!.. О том, как я любила и люблю, я не стану пока рассказывать вам... Светлая сказка моей любви еще не кончена, и сладостный яд ее еще течет в крови... Вы видели избранника моего и слышали его, — и что я могу добавить к этому?..

Пять страдающих сердец исповедовались перед вами... Все они были несчастны в своей любви.

Первая хотела властвовать, желания ее были бескорыстны и возвышенны, но что принесли они?.. Ничего — кроме ненависти в душе «его»... И так бывает всегда, когда один человек хочет поглотить в себе другого. Потому что живая душа не выносит принуждения.

Вторая из говоривших была рабой своей любви... И что же?.. Привязала ли она к себе мужа?.. Нет!.. Ибо всякая покорность и раболепство развращают повелителей и умерщвляют любовь... Только свобода оживляет ее... О, как жалка эта женщина, — как безрассудна в слепоте своей, не видящей, что любовь — это равенство душ, и в ней нет ни господина, ни госпожи!..

Третья — принесла себя в жертву материнству своему... И если она не была счастлива, то, значит, была какая-нибудь ошибка в замкнутом круге жизни ее... В чем ошиблась она, вы сами узнаете, когда я буду говорить об истинной любви.

Четвертая поведала нам о мучительстве любви. Но можно ли назвать любовью это взаимоуничтожение, — взаимоистребление двух душ?.. Ведь любовь есть светлая гармония, в которой «он» и «она» поднимаются на высшие сту-

пени жизни... И да будет навсегда осуждена эта борьба двух разъяренных «я», из которых каждое поклоняется только себе!..

Пятая открыла нам тайну, — *откуда* зарождаются источники любви. Источники, — но не любовь... Вот всколыхнула душу девушки вспыхнувшая и потухшая, подобно милочетному огоньку, страсть. Насытилась ею душа, — и стало в ней пусто и темно... Не осталось в памяти даже имени того, кого любила... Разве это любовь? Не в любви ли раскрываются самые сокровенные извивы души?..

И пусть не удивляются все эти несчастные женщины тому, что они страдают... Они не познали истинной любви, — той — которая неугасимым солнцем зажигается перед немногими избранными.

Они ходят в слепом заблуждении, которое укрепили в них их философы, будто человечество должно быть разделено на два стана: мужчин и женщин... И извечно существуют два начала, — мужское и женское, — которые должны вести между собой борьбу...

А я говорю вам: нет, нет и нет!.. Человек един...

И только та любовь истинна и та дает радость и полноту жизни, становится союзом двух вдохновенных и ищущих душ, которая превыше всего ставит *человека*... Тогда нет ни раба, ни рабыни, тогда нет позорной вражды между *мужчиной и женщиной*. Тогда, женщины, может быть, и нам не пришлось бы — увы — переселяться на остров...

И не было бы того, что называется женской ложью, женским упрямством, кокетством, жестокостью... Женщина перестала бы быть игрушкой, источником грубых наслаждений, рабой — и вместе с тем деспотом, для которого создается роскошь, потому что прежде всего в ней видели бы человека...

И она сама видела бы в мужчине только *человека*...

Когда Урания кончила говорить, все были взволнованы ее речью... Она напомнила о тех возможностях счастья, которые женщины острова утратили навсегда, покинув землю.

Мессалина вздохнула и сказала:

— Ты сказала много истинного, прекрасная Урания... Но все это хорошо только в мечтах... И не от нас, женщин, зависит... Нужно пересоздать мужчин, чтобы они искали в нас прежде всего не женщину, а человека...

Кассандра приблизилась к месту, где находилась Урания и, выкинув вперед трясущиеся руки, воскликнула:

— Девушка!.. Ты приехала сюда, чтобы смущать нас своими речами... О, я недаром предвидела, что появление на острове Гермеса сулит нам неисчислимые бедствия!.. О, горе нам!.. Горе!..

Урании в знак особого почета отвели комнату в королевском дворце Мессалины.

Девушка покорила всех приветливостью нрава и острой гибкостью ума, напоминающего ум мужчины. Казалась немногостранной некоторая угловатость ее движений и крупная неженская походка, указывающая на твердость характера, но этому не придавали особого значения.

Весь следующий день после празднества Мессалина провела с гостями.

— Неужели тебе не жалко было, девушка, покинуть своего любимого жениха, и не хранится ли у тебя где-нибудь в уголке души желание когда-нибудь вернуться к нему?.. — спросила испытующе Мессалина, которой Урания представлялась загадкой...

— Королева, — я не могу ответить тебе на вопрос... Но могу уверить, что мной руководят только самые чистые, благородные желания...

Ответ этот не удовлетворил Мессалину. Она смотрела в задумчивые лучистые глаза девушки... И сама не знала, что в них было притягивающего, отчего вдруг сильнее начинало биться ее сердце...

— Как ты прекрасна!.. — сказала она, чувствуя — как кровь краской заливает ее лицо... — В жизни своей я не видала девушки совершеннее тебя...

— Ты преумаляешь свои достоинства, королева... — искренне ответила Урания. — Если бы мне было предоставлено право выбора, то я охотно уступила бы тебе свое место...

Похвала была приятна Мессалине именно потому, что она была сказана Уранией. Королева протянула свою руку. Девушка крепко пожала ее, и радостная теплота волной прошла по телу Мессалины.

— Какая в тебе скрыта тайна?.. Ты так умеешь волшеб-но очаровывать душу!..— спросила она, заглядывая в самую глубину глаз Урании...

Девушка промолчала, и только на губах ее мелькнула легкая, чуть заметная тень.

Королева сама повела Уранию, чтоб показать ей свое царство.

Позади в отдалении — как соглядатай — следовала Кас-сандра.

Осмотрев цветники и постройки, они уже перед вече-ром вошли в храм. Жертвенник посредине курился сине-ватым огнем, и благоухания змейками поднимались над ним и расползались вокруг. Веста в белом длинном одея-нии, с жезлом в руках, сидела, погруженная в свои молит-вы, подобная изваянию, и словно не заметила вошедших. Солнечные лучи, ударявшие в открытые сводчатые прохо-ды, розоватым налетом ложились на статую Ниобеи и, ка-залось, вливали в бездушный мрамор трепещущую жизнь.

— Богиня девственности Ниобея... — пояснила короле-ва. — То, чему мы поклоняемся здесь на острове.

Девушка стояла в раздумье. Долго она не сводила глаз со строгого, тонко очерченного лица богини и, наконец, ска-зала:

— Не кажется ли тебе, королева, что в лице богини есть что-то незаконченное?.. Как будто резец положил на него печать невыраженного страдания!.. Может быть, художник, создавший статую, и не хотел этого, но помимо его воли вышло так... Да, так...

— Нет, я ничего не вижу...— ответила Мессалина.

— И еще, королева... Я вернусь опять к тому, о чем го-ворила вчера на празднестве... Не находишь ли ты стран-

ным ваше поклонение девственности?.. Не основана ли ваша религия на заблуждении?.. Вы, значит, так же, как на земле, признаете два начала — мужское и женское... От этого все зло и все несчастья любви... Поклоняться можно только человеку, а не мужчине или женщине... От противоположения этих двух начал мужчины и женщины отдаляются друг от друга непониманием и враждой вместо того, чтоб сближаться в истинной любви...

— Единственный, кто смотрел на меня не как на женщину, а как на человека, был жалкий и уродливый горбун, Гойя, которого я жалела, но не могла бы любить... — раздумчиво заметила Мессалина, на которую слова Урании навеяли тихую грусть.

И, близко прижавшись к девушке, точно ища около нее спасения от поднявшихся беспокойных мыслей, сказала:

— Ну, а ты, девушка?.. Неужели ты нашла истинную любовь?..

Своим сердцем она ощущала, как под тонкой тканью быстро и неровно стучит сердце девушки, и непонятное волнение передалось ей.

— Да, королева!.. — ответила Урания. — Я почти нашла его...

Мессалина закрыла глаза. Внутри колыхались и звали к чему-то сладко-неизведанному новые проснувшиеся желания... И среди них закрадывалась мысль: может быть, — действительно, они сами виновны в том, что не сумели найти на земле счастья.

Выходя из храма, она крепко опиралась на твердую руку Урании — как бы прося поддержки, — и все время в ушах ее звенели смутные сладкие слова...

Видеть Уранию, наслаждаться игрой ее лица и глаз, слушать ее речи и не столько речи, сколько певучий ласкающий звук ее голоса, стало для Мессалины потребностью. С утра она уже посылала за Уранией. Девушка почему-то не-

охотно исполняла ее просьбы, обещая, что зайдет днем, и ссылаясь на то, что утро она посвящает работе — научному исследованию любви... Но королева настаивала. Урания являлась, — и у нее был смущенный вид.

— Что с тобою, дорогая девушка?.. — беспокоилась Мессалина, усаживая Уранию около своей постели... — Или что тебя расстроило?.. Почему утром ты не такая — как всегда?..

— О, нет, королева!.. — отвечала, оправляясь от смущения, Урания. — Просто — я слишком погружена в свои мысли, и мне трудно возвращаться к действительности...

— Ты ничего не скрываешь?.. Нет ли у тебя невысказанного горя?.. И почему ты предпочитаешь проводить дни в одиночестве, — не любишь ни танцев, ни тех увеселений, которыми развлекаются здесь другие?.. Что же ты молчишь?.. Или чем-нибудь я возмутила спокойствие твоей души?..

— Не волнуйся, королева... Только не ты!.. — спешила ответить девушка, с любовью, почти с мольбой глядя на Мессалину... — Твоя тревога болью входит в мое сердце...

Со стороны можно было подумать, что беседуют двое влюбленных — мужчина и женщина, — такими сменяющимися разнообразными гаммами чувств были полны они обе. Кассандра, подсматривавшая у дверей, таила против обеих в душе зло, и гневными стрелками сходились ее брови.

Иногда Мессалина крепко сжимала в своей руке руку девушки и обнимала ее... Но Урания взволнованно отстранялась от ласк. И это еще более повергало королеву в печаль...

— Что с тобою?.. Ты не любишь меня?..

— О, нет, королева!.. — Девушка краснела и потупляла в землю лучистые, горящие любовью глаза...

Однажды королева и Урания были вместе на площади ристалищ, где женщины упражнялись в беге, метании диска и стрельбе.

— Неужели ты и теперь откажешься от удовольствия принять участие в борьбе?.. — спросила Мессалина...

Настойчивые уговоры ее убедили девушку. Она взяла диск и метнула им вперед. Случайно, — или так хотела она,

— но диск с необыкновенной силой упал далеко за положенную черту...

Все любовались красотой и силой удара. Мессалина восхищенно смотрела на девушку и сказала:

— Почему же ты до сих пор скрывала свои необыкновенные таланты?..

Кассандра, находившаяся на ристалище, качала головой и, потемнев от неудовольствия, говорила опять:

— Быть беде!.. Быть беде!.. Когда и кто видел, чтобы женщины метали диски так, как не мечут их даже наиболее сильные из мужчин?

Был мирный благодатный вечер, напоенный томным трепетом зари и хмелем южных цветов. Мессалина и Урания сидели в королевских покоях в созерцании той извечной жизни, которую таила в себе вселенная.

— Дорогая девушка!.. — неожиданно прервала молчание Мессалина. — Скажи, почему я так люблю тебя... И почему ты непонятно волнуешь меня?.. Никогда ни один человек не входил в мою душу таким сладостным томлением!.. Вот мы сидим с тобою часы, а мне кажется — протекло одно мгновенье...

Она обхватила нежной розовой рукой Уранию, привлекла ее к себе на грудь и поцеловала...

Девушка жадным длительным поцелуем, захватывающим дух, отвечала ей.

Потом вдруг откинулась прочь. Мучительная борьба отпечатлелась на ее лице. Она протянула руки к Мессалине и сказала:

— Королева!.. Нет, я больше не в силах скрывать... Делай со мной, что хочешь, — предай казни, — но выслушай!..

— Что такое, девушка?.. — побелевшими губами спросила Мессалина, дрожа от ожидания ужасного...

— Прости, королева, но я не та, за кого ты принимаешь меня... Может быть, это дерзко, что я обманом вошел в ва-

ше царство... Я — юноша Ураний, из славной фамилии Софокла... Никакой девушки, посылавшей на остров своего жениха Гермеса, — на земле нет... Но мы, честные и искренне оплакивающие вас мужчины, соединились вместе, чтоб убедить вас в вашем заблуждении... И вот я и Гермес — исполнители этого заговора... А те пять женщин — сообщницы, разделяющие наши мысли...

Мессалина дрожала в бурном напряжении всех своих сил:

— Но как ты смел?.. Как посмел?..

— Я не раскаиваюсь, королева, — продолжал Ураний. — За то короткое время, которое я был здесь, я нашел сокровище любви, — встретил тебя, королева, — женщину, равной которой нет на земле... Что же?.. Возьми нож и убей меня!.. Ведь по вашим законам полагается за это смертная казнь!..

— О-о!.. — тихо простонала Мессалина.

— Убей же меня!.. — подавая ей нож, сказал Ураний. — И я умру с благословением тебе, — счастливый тем, что в последнюю минуту могу с любовью взглянуть на твое прекрасное лицо.

Мессалина закрыла лицо руками. И, когда вновь открыла его, буря страданий проносилась по нему:

— Нет!.. Я не убью тебя...

— Да?.. Почему же?..

— Потому что я полюбила тебя... И если бы тебе пришлось умереть, то мы умрем вместе... Лучше мы оба убьем себя!..

Радость надежды осветила лицо Урания.

— Мессалина!.. Моя дорогая, моя единственная Мессалина!.. Я готов умереть, если бы нужна была моя жизнь... Но зачем нам поддерживать заблуждение, которое все равно — рано или поздно — рассеется среди женщин?.. И когда я пришел к вам первый раз, не человека ли ты увидела во мне? И не человека ли полюбила прежде, чем я открылся тебе, как мужчина?.. Нет, пусть мы предстанем на суд всех женщин, и они решат, — жить нам, или быть преданными казни?..

Мессалина опустилась на колени около окна и просто-
нала:

— Что ты со мной сделал, юноша?.. Что сделал?..

— Пусть женщины поймут, что законы естества непреложны, только надо уметь ими пользоваться и любить в человеке прежде всего человека, а не мужчину или женщину... И пусть нас судят!..

— Да,— судят... — покорно — как во сне — повторила за ним Мессалина...

А за дверью прокравшаяся Кассандра с бессильной злобой ударяла себя в грудь и восклицала:

— Горе нам!.. Горе нам!.. Я всегда говорила, что появление Гермеса предвещает бедствия!.. О, я знаю женщин!.. Разве поднимется у них рука, чтобы предать их казни?.. И разве не захотят они сами подобного же счастья?.. О-о, горе, — царство женщин разрушилось!..

Владимир Тан-Богораз

**ИЗ РОМАНА
«ЗАВОЕВАНИЕ ВСЕЛЕННОЙ»**

ГЛАВА XII

Перед взрывом

Тридцатый день. Все готово для взрыва. Туннель уходит далеко вглубь. Он ровный, круглый, совершенно прямой, и когда я гляжу в его глубину, мне кажется, что это жила земли, вскрытая и опорожненная.

Машина разобрана. Только высокий двигатель стоит в углу пещеры. Но его стальные части не шевелятся. Он похож на огромную птицу, которая дремлет, распустив усталые крылья. Техники устанавливают спускную батарею для мины. Они принесли черный цилиндр, обмотанный проволокой. Это проторадей, — Молний, как его называют в просторечии.

Цилиндр небольшой и невзрачный, вроде тех, какие я видел в театре падающими на спину стальным броненосцам. Но этот цилиндр, конечно, еще сильнее. Странно подумать, что такая маленькая черная коробка может разрушить огромную землю.

Относительно туннеля на другой стороне земли я не знаю ничего определенного, но, вероятно, его тоже вырыли. Алексей часто спускается в наш туннель один и остается там подолгу. Кажется, он переговаривается со своими заморскими товарищами каким-то неизвестным мне способом. Наверное, и там все готово. В решительную минуту они пропустят ток неслышанной силы, разбудят радиоактивность материи по линиям наименьшего сопротивления, расколют ею землю пополам, как колют кусок дерева, и отбросят обе половины в разные стороны.

Заговорщики собрались все вместе и обсуждают вопрос, когда выйти из шахты. Конечно, им не придется долго мешкать. В железном доме Союза Космистов все готово, чтобы принять их. Когда из одной земли станет две и обе они упрутся спина в спину, собираясь отпрыгнуть, горе тому, кто в эту минуту попадет в промежуток между этими спинами.

Мне все это кажется каким-то диким и неправдоподобным сном. Космисты собрались кругом своего вождя. Лицо Алексея играет диким весельем.

— Подожди, старушка, — говорит он, — мы тебе загоним в брюхо такую занозу, что ты треснешь.

Он обращается с этой жестокой фамильярностью к земле, которая его окружает со всех сторон своими недрами.

Неожиданно до нашего слуха доносится знакомый скрип бурава, грызущего камень.

Довольно он надоедал нам в эти дни и, наконец, замолк. Зачем же он опять скрежещет своим стальным зубом по твердой скале?

— Кто там долбит, — говорит Алексей с неудовольствием, — позовите его.

Нет, это не там, в глубине туннеля, это гораздо ближе, почти на одном уровне с нами, с левой стороны.

— Кто там роется? — говорит Марк, — или еще другие есть, соперники наши?

Слышен стук в стену, частый и дробный с перерывами, похожий на стук телеграфа. Все они, по-видимому, читают его, как буквы азбуки. А я не умею читать и тщетно стараюсь и даже глаза закрываю от напряжения. Тогда в уме моем что-то мелькает и всплывает, и смысл слов вдруг встает в моем сознании, как перевод с неизвестного языка. Их сто человек, а я один. Они заряжают мой ум электричеством своего понимания.

— Тук, — тук, тук! Кто вы?

Алексей берет молоточек и стучит встречный вопрос:

— А вы кто?

— Тук, тук, тук! Инженеры центральной комиссии!..

Это правительственные инженеры. Мы открыты.

— Тук, тук, тук! Кто вы такие?

Они нам ответили. Теперь наша очередь дать ответ. Алексей яростно ударяет молотком по камню.

— Мы Космисты! — дерзко и громко выстукивает он.

— Зачем вы здесь?

— А вам какое дело?

— Идите отсюда прочь.

— Мы не уйдем.

— Так мы сейчас вытащим вас силой.

Бурав опять начинает свое мерное, скрипучее пение.

— Стойте! — стучит Алексей. — У нас все готово. Если вы не остановитесь, мы сейчас взорвем всю землю.

Бурав останавливается.

— Тук, тук, тук! — стучит невидимый собеседник. — Подождите, мы сейчас снесем с главной ученой комиссией.

Проходит час. Заговорщики не знают, что делать. Все готово для взрыва. Но ведь нас всех завалит.

Как выйти из шахты? Нас схватят снаружи. Странно, что они до сих пор еще не появляются в проходе. Надо поставить стражу.

Марк берет провода батареи и становится у подъема.

— Тук, тук, тук!

— Кто там?

— Я — Антей, президент главной ученой комиссии. А ты кто?

— Я — Алексей Скоропад, президент Союза Космистов.

— Я хочу поговорить с тобою. Мы пробьем стену.

— Не нужно, говори сквозь стену!

— Я хочу видеть твоё лицо.

Бурав опять скрипит.

— Не смейте! — яростно стучит Алексей, — у нас Молний.

— Это безумие! — громко возражает Аргон, — пусть он придет.

— Я приду один, — стучит собеседник.

— У нас Молний, — угрожает Алексей, — мы взорвемся.

— Пусть придет, — повторяет Аргон, — чего вы боитесь? Он старик.

— Мы не боимся, — гордо заявляет Алексей. — Пусть он явится.

Бурав снова скрипит. Слышно даже, как щебень сыплется в желоба. Внезапно в стене пред нами является широкое круглое отверстие. В отверстии показывается рука с электрическим фонарем, потом человеческая голова.

Это — голова седого старика. У него белая борода и волосы белые, длинные, вьющиеся, как сияние. Лицо совершенно спокойное, холодное и светлое. Оно особенно поражает рядом с бурными пылающими лицами Космистов.

— Здравствуйте, дети, — говорит старик и даже улыбается.

Дети молчат. Потом кто-то из задних рядов отвечает:

— Здравствуй, дед Антей!

— Здравствуй, здравствуй! — раздаются еще голоса.

Дед Антей — великий ученый. Имя его — одно из самых уважаемых в стране. Космисты тоже его уважают. Он одним из первых стал обсуждать вопрос о возможности переселения на другие планеты с научной и технической точки зрения. Это было почти полвека тому назад. В последние годы им был произведен ряд интересных опытов воздействия на планеты при помощи сосредоточенных лучей проторадия.

— Что вы здесь делаете, дети? — спрашивает Антей спокойным тоном.

— Мы хотим расколоть землю пополам, — вызывающе говорит Алексей.

— Расколоть землю, чем? — переспрашивает Антей, как ни в чем не бывало.

— Проторадием. Я открыл новую радиацию. Вот вычисления.

Антей берет бумагу, просматривает колонки знаков, наскоро набросанных, и слегка хмурится.

— Положим, — соглашается он. — А зачем?

— Затем, чтобы улететь!

Алексей бессознательно поднимается на носках и передергивает плечами. Станный жест. Нервный, широкий, птичий какой-то, трепет полета бескрылого. Как у орла, заколдованного и превращенного в пантеру.

— Лететь, лететь! — повторяют другие Космисты. Эта неукротимая жажда полета, туда, в пространство, кажется, живет в крови, гнездится в мозгу этих бешеных юношей,

— Пойдите! — старик машет рукой. — Я скажу: это несправедливо.

— Почему несправедливо? — задорно спрашивает Алексей.

— Вы забыли о нас. Мы не хотим лететь. И нас больше. Зачем вы хотите завладеть всей землей?

— А вы зачем завладели? — страстно спрашивает Алексей. — Вас больше. Да, к несчастью. Везде вы, некуда скрыться от вас. Пошлость ваша сытая, укороченное довольство. Мы спрятались под землю. Вы и тут нашли.

Старик пожимает плечами:

— Мы не можем вам позволить взрывать землю.

— У нас Молний, — напоминает Алексей. — Взорвем, когда захотим.

— И все погибнете, — говорит старик. — Что вам за выгода?

— Пусть погибнем, — страстно возражает Алексей. — И вы вместе. Все погибнем.

— Отчаянные, — шепчет старик. — Знаете ли: я предлагаю перемирие на два часа.

— Какое перемирие? — подозрительно спрашивает Алексей.

— Я созову совещание там наверху и через два часа принесу вам окончательный ответ.

Белая голова исчезает вместе с фонарем. И в шахте как будто стало темнее. Два часа тянутся убийственно медленно. Космисты стоят рядами и сурово молчат. Они сознают, что, во всяком случае, их отчаянное предприятие окончилось неудачей.

Два часа прошло. Дед Антей опять в отверстии с фонарем, как живой портрет в круглой рамке.

— Я принес вам компромисс, — говорит он, но лицо его теперь важно и сурово.

— Какой компромисс?

— Скажите, — спрашивает старик, — куда именно хотите вы лететь?

— Куда-нибудь, — раздаются голоса, — куда угодно. В пространство, к звездам.

— Оставьте в покое землю, — говорит Антей. — Если вы хотите лететь, мы отправим вас в пространство.

— Как, на чем?

— Вот наш план. Как глубоко прорыли вы ваш колодезь?

— 2.000 метров.

— Хорошо. Мы предлагаем вам следующее: ваш колодезь послужит нам, как стержень. Мы выроем вокруг него широкий туннель, обрвняем его, как пушку, и укрепим стены. Затем построим ядрообразные дома из пружинной стали. Дадим вам воздуха сгущенного и твердого, инструменты, приборы, запасы и все нужное. Кто хочет, пусть летит в этих ядрах.

— Как произойдет полет?

— Мы снарядим ваши ядра проторадием, как ракеты, и выстрелим ими из этой подземной пушки. Я применил ваше открытие и сделал расчет. От быстроты движения проторадий даст разряд и произведет новую силу. Эта сила выбросит ракеты за пределы тяготения. Кто хочет, пусть летит, — повторил старик.

По лицу Алексея пробежала тень колебания.

— Братья, — начал он, обращаясь назад и запнулся, и тон его голоса звучал невысказанным вопросом.

— Мы согласны, — сказал чей-то голос.

— Согласны, согласны, — загудела толпа.

— Согласны, летим! Ура! летим! Спасибо, Антей! Ура!

Мудрость старика Антея нашла выход, столь же безумный, как и все предприятие Космистов, но безобидный для обеих сторон.

— У нас будут свои планеты, — кричали юноши в восторге. — Мы дадим им имена. Веста, Астрея, юные дочери земли. Ура Антею! Мы будем летать сами, на воле, без соседей.

— Постойте, — сказал Алексей, что-то соображая. — Кто из вас хочет лететь в этих железных ракетах?

— Все хотим! — заревела толпа.

— Дает ли нам комиссия довольно ракет для полета? — спросил Алексей, обращаясь к старику.

Старик покачал головой.

— Комиссия может дать вам пять ракет.

— А каждая ракета на сколько человек?

— На десять человек.

— Значит, всего на пятьдесят, а нас больше ста.

— Больше нельзя! — решительно возразил Антей. — Я сделал вычисление. На шестом выстреле земля даст трещину и завалится на вылете ракеты.

— Пусть валится, — запальчиво крикнул Алексей.

Но старик остановил его жестом руки.

— Зачем ты кричишь? — сказал он спокойно. — Невозможное невозможно.

— Слышали, товарищи, — сказал Алексей мучительным тоном. — Что нам делать?

Космисты молчали.

— Пусть половина останется, — предложил Антей, — вот выход.

В рядах Космистов прокатился вздох, сжатый, почти похожий на свист, но никто ничего не сказал. Они не знали, что сказать.

— Я нашел выход, — вдруг раздался голос Марка, странный, тягучий, мечтательный. — Уйду, не дождавшись...

И в ту же минуту раздался звук взрыва, короткий и резкий, как удар кнута. Во все стороны брызнули струи крови, каких-то мелких и жирных частиц, раздробленных костей, и забрызгали соседей.

Марк взорвал себя особым снарядом страшной силы, который носил постоянно с собой, тайно от всех.

— Я тоже уйду! — раздался еще голос.

— И я тоже!.. И я!..

Один за другим последовали шесть взрывов и брызнули шесть фонтанов раздробленной человеческой плоти.

Во время недавней мании самоубийства это был один из самых распространенных способов. С ним соперничало только сожжение на большом костре. Оба были связаны с идеей полета после смерти.

Марк и его подражатели пришли на собрание со снарядами в кармане. Очевидно, самые страшные формы Космизма не угасли, но тлели глухо под пеплом.

Еще взрыв, другой, третий, четвертый. Я весь забрызган кровью. В моих волосах кусочки чего-то теплого, мягкого, еще трепещущего. Я не смею дотронуться рукой и узнать, что это.

— Пойдите, — раздается стон одного из заговорщиков.
— Перестаньте убивать себя. Я остаюсь.

— Ия остаюсь... И мы... И мы тоже...

— Слышите? — сказал Антей Алексею. — Они решили вопрос. Теперь вы можете подняться наверх.

Через четверть часа мы выходили из отверстия шахты наружу. Вид наш был ужасен. Мы были с ног до головы испачканы кровью и грязью. Глаза наши были воспалены от месячного пребывания под землей, бессонной работы и возбуждения. На земле был вечер. Заходящее солнце било нам в глаза и мы жмурились, как совы.

Теперь нас уже ожидала несметная толпа. Весть о нашем отчаянном предприятии разнеслась по всем окрестным городкам и достигла столицы. Со всех сторон являлись люди на аэропланах, на автомобилях и даже пешком. Иные были возмущены нашей дерзостью и показывали нам кулаки. Женщины плакали. Были голоса о том, чтобы истребить нас. Но большинство молчало. Оно уже знало о договоре с комиссией и нашем будущем полете и колебалось, как отнестись к нам, признать ли нас злодеями, героями или такими безумцами, каких не видел свет.

Алексей шел под руку с Аргоном. Лицо Аргона осталось чисто. Кровь как будто не хотела запятнать эти благородные черты. Он вел Алексея и тихо напевал «песню отлета» из своей известной поэмы:

Летим, товарищи, принять
Свое великое наследство.

Алексей был страшен, высокий, черноволосый, почти слепой, весь в крови. Он казался олицетворением ужаса, который подготавливался там внизу его нечеловеческой энергией. Толпа смотрела на него и видела в нем живой символ новой кровавой войны, которую она считала погасшей и

которая хотела опять возродиться. Он хотел перенести войну в небесное пространство и сделать ее еще шире и грандиознее, чем прежде. Это было как будто первое звено будущей великой борьбы миров, живое и кровавое.

И при виде этой страшной фигуры в рядах толпы стал рождаться глухой гул. Он рос и становился громче, как морской прибой под ветром.

Я ждал, когда из этого гула вырвется вихрь упреков и проклятий. Но я не понял этих людей и их истинной души.

Гул прорвался и разразился вместо проклятий рукоплесканиями.

— Ура! Алексей! Браво, Скоропад! Браво, Космисты!

Титаническая сила замысла заговорщиков увлекла толпу. Это странное человечество встретило рукоплесканиями шайку безумцев, только что изловленную с поличным в дерзкой попытке взорвать весь мир.

Дальше я не имел времени слушать. Женские руки крепко схватили меня за плечи. Цепкие пальцы стиснулись, как птичьи когти и будто впились в мое живое мясо.

— Ты жив, — прошипел над моим ухом почти неузнаваемый голос. Это была Катя, не та веселая прежняя Катя с задорным огнем в глазах и с улыбкой на устах, а иная, суровая, трагическая, как сама судьба.

— Ты жив, — повторила Катя. — Пойдем ко мне.

Она увела меня к себе, такого, как я был, ужасного, похожего на подземное чудовище. В доме никого не было. Эта ночь была для меня ночью любви, столь же безумной, как ночи ужаса в подземной мастерской.

Владимир Тан-Богораз

НОЧНОЙ ПОХОД

Фантазия

Братья Брылкины, Егор и Антон, были крестьяне Орловской губернии, Трубчевского уезда, села Сопачь. Егор был запасный солдат, у него была жена и двое детей. Антон был пастух и семьи у него не было. А всего имущества у него был кнут под мышкой и рожок через плечо. Был он человек робкий, неразговорчивый, к тому же хромой на одну ногу. Но за стадом бегал не хуже здорового, щелкал кнутом и кричал: гой, гой!

Когда в японской войне у нас стала выходить неустойка, солдата Егора забрали и послали против японцев. Однако Егор до японцев не доехал, а доехал до Иркутска. Потом вышел мир, и Егора повернули назад, в Россию, и началась забастовка. Ехал Егор долго, более двух месяцев, ругал забастовщиков, ругал и начальство. Но в конце концов добрался до Сопачи.

За все это время вышла в народе перемена. Прежде люди молчали, а теперь заговорили. Сперва стали говорить: «Жить нельзя. Через край дошло. Лучше вправду идти японца воевать. Кто завоюет японца и живой вернется, тому из казны будет надел, 12 десятин».

Потом стали рождаться слухи, темные, злые, тягучие, о японском золоте и русской измене и жидовском бунте.

В конце августа прошел новый слух: в трех губерниях грабят помещиков, выжигают до корня, чтобы не осталось на семена.

Осенью вышел спор с помещиком из-за аренды. Спор был небольшой, рублей в семьдесят. Мужики пришли к усадьбе, сняли шапки и встали у крыльца. Но когда помещик не уступил, они не ушли и так и остались перед усадьбой, хмурые, бесшумные, с шапками в руках. Помещик выглянул из окна, увидел мрачную толпу с открытыми головами и согласился на уступку.

В ту же ночь сгорел у помещика омет соломы. Солома была старая.

Ее разбирали сами крестьяне на подстилку скоту, но теперь кто-то поджег эту солому.

Егор приехал в Сопачь в пятницу после полудня. Жены его не было дома.

Она пошла за двадцать верст в село Кудино к земскому просить пособия.

Егор съел кусок хлеба и тоже пошел в Кудино. Там он нашел жену и еще целую толпу солдаток. Они плакали, ругались и требовали земского. Земский долго прятался, потом вышел и сказал, что ему не пришло денег. Потом не вытерпел и по старой привычке ругнул голодных баб.

Толпа загудела и стала наступать на крыльцо. Егор был впереди всех. Земский оробел и вынес солдаткам пятьдесят рублей. Когда стали делить, на Егорову долю досталось два с половиной.

Домой они пошли по-прежнему пешком. Егор всю дорогу ругался.

— Я кровь проливал, а мои дети должны с голоду помирать. Нет, погоди, я найду концы!..

Они вернулись в село поздно вечером, но в селе не спали. У ворот стояли люди и разговаривали:

— Манифест!.. Царь издал милосливый манифест, а начальство спрятали. Мишка Рубцов и Иван Босоногов привезли манифест из города и завтра будут вычитывать его народу.

— В манифесте прописана свобода всем людям: делайте, что хотите, что на душе лежит, — все дозволено.

На другое утро на площади перед церковью собралась толпа народу.

Иван Босоногов встал на телегу, достал из кармана бумагу и стал читать:

— Мы, Николай Второй, Божией милостью... даровать населению основы гражданской свободы... свободы совести, слова, собраний и союзов...

— А где же про землю? — галдели мужики.

Тогда Мишка Рубцов достал из-за пазухи красный платок и еще бумагу. Платок навязал на палку и поднял вверх, а бумагу отдал Ивану. Потом закричал.

— А ну, слушайте: чего хотят люди, которые ходят с красным флагом.

Егор подошел и тоже стал слушать.

— Земля не есть создание рук человеческих, — читал Иван.
— ...Хотят передачи всей земли всему трудящемуся народу.

— Правильно! — сказал Егор. — Теперь вся земля наша.

Иван читал дальше:

— Чиновники и полиция выжимают из народа сок... Они толкнули Россию в позорную японскую войну.

— Правда! — сказал Егор. — Мы кровь проливали, а они по-за камушками сидели...

Так мужикам эта бумага понравилась, что когда Иван кончил, они стали шапки снимать и креститься.

— Правильный манифест. Видно, пришла правда и на нашу сторону.

Но старосты сельский и церковный, два сторожа и сотский пошли к отцу Афанасию. Поп поднял их на смех.

— Это фальшивая бумага. Слыханное ли дело, чтобы вся земля мужикам отошла? А если кто купил на собственные, кровные? Или церковная земля. Каждый за свою землю зубами ухватится.

— А бумага печатная! — сказал сотский с сомнением в голосе. — Я сам видел.

— Крамольники печатали, — сказал отец Афанасий. — Отчаянные, потерянные люди, которые Бога не боятся и начальства не почитают. Нас святая церковь учит: «Бога бойся, и власть предержащую почитай, яко от Бога есть».

Старосты и сторожа пошли и пересказали народу:

— Поп говорит: «Не уверяйтесь на манифест. Я не дам своей земли».

Пошло в людях сомнение. Мишка и Иван стали присоглашать народ:

— Есть в Москве крестьянский союз. Они хотят поставить новый закон о земле и воле. Давайте, впишемся. Не то смотрите, не обошли бы нас землей.

Но мужики говорили:

— Обождем, чтоб не вышло чего неладно. Может, некрепкая бумага — милосливый манифест. Сулить сулит, а в руки не дает.

А Егор услышал о союзе и зубы оскалил.

— Вона союз, канитель заводить. Мы *им* и так головы сорвем.

Поповские слова жгли ему душу и не шли с ума.

«Отчаянные, потерянные, — повторял он про себя. — Правду поп говорит. Хоть бы меня взять. Я все потерял, кроме детей маленьких. Чего не увижу кругом себя, все чужое, да чужое. Поневоле отчаянность возьмет.

Чему, говорит, святая церковь учит: Бога бойся, начальства бойся, всего бойся. Да еще терпи! Бог терпел и нам велел. Так нет же, будет! Я вам покажу, как терпеть и кого бояться!..»

Через два воскресенья крестьяне собрали сход и прямо со схода пошли к усадьбе. Егор был впереди. А Антон взял кнут под мышку и пошел сзади. Помещики уехали в город, управляющий скрылся. Батраки вышли и присоединились к толпе. Через два часа в усадьбе не осталось ни одного целого стекла. Однако на этот раз ничего не жгли. Хлеб вывезли и разделили по душам. Землю решили распахать весной и помещику тоже выделить надел.

Еще через неделю приехал земский и привел солдат. Солдаты стреляли и убили двоих, в том числе Егора Брылкина. Урядник толкнул его ногой и сказал:

— Собаке собачья смерть.

Потом молодых парней пороли, а стариков земский барин за бороду таскал и приговаривал:

— Чужой земли захотели. Я вас выучу.

После того отделили двадцать два человека, чтоб везти в город. Вместе с другими взяли и Антона Брылкина.

— Это солдатский брат! — сказал урядник. — Егор-солдат весь народ взбунтовал.

В городе Антону учинили краткий допрос.

— Ты кто?

— Пастух Антон.

— Ты для чего бунтовал?

— Для земли! — неустрашимо ответил Антон. — Земля надлежит всему народу!..

— Да тебе, дураку, на что земля? — сказал начальник в синем мундире.

— Мне не земля нужна, а правда! — ответил Антон.

Антон просидел в тюрьме четыре месяца, ел, пил, спал, скучал мало, все больше думал. Временем про брата вспоминал и хмурился: «Убили Егора!»

И мысли, которые думал Егор в последние дни перед смертью и никому не успел даже рассказать о них, как будто перескочили в Антонову голову, и он додумывал их и доводил до конца.

Душа его расширилась и страх соскочил с нее. Теперь он тоже никого не боялся, ни Бога, ни начальства.

Смолоду Антон любил молиться Богу. Летом ему некогда было ходить в церковь и он молился в лесу. Встанет на полянке под деревом и молится:

— Господи помилуй, Господи помилуй!

Потом поднимет голову и посмотрит на небо, как будто ищет кого. Небо синее, глубокое. В синеве ничего нет, кроме круглого, красного солнца. Антон пробовал смотреть на солнце. Глаза его мигали и заплывали слезами. Широкие красные кружки прыгали по небу и догоняли друг друга.

— Господи помилуй! — повторял Антон и ему чудилось, что в светлых лучах является кто-то высокий, с ярким лицом, в пламенной ризе и протягивает руки к нему, Антону.

— Пошто Бога бояться, — думал Антон, — он людей милует.

Зимой у Антона было больше времени и он ходил по праздникам в церковь, но в церкви ему меньше нравилось. В церкви не было неба, а быть странный, волнистый, раскрашенный потолок, а рядом с Антоном стояли старухи и вздыхали и тоже повторяли: «Господи, помилуй!», но ему казалось, будто они просят милостыню.

Наутро Антон возьмет топор и уйдет в лес. Но в лесу снег, а солнца нет.

Антон вернется в избу и сядет на лавку. В избе темно и пасмурно. Стены избы трещат от мороза, выюга пролетает мимо и стучит в окно.

— Господи помилуй! — говорит Антон и чувствует, что этот зимний Бог людей не милует и Его подлинно следует бояться.

Но теперь Антон и о Боге думал по-иному.

— Кто ж его знает, — говорил он сам себе. — Может, и нету ничего. Так попы зря выдумывают.

«Ничего нету путного, — думал Антон, — ни Бога, ни начальства. Только земля и на земле мужик...»

Щелкал замок и дверь камеры запиралась.

«Теперь я вольная птица, — думал Антон. — У меня руки развязаны. В Сибирь погонят меня — и Сибирь не удержит».

В мае Антона вместе с другими повезли в Сибирь. Сперва его везли по железной дороге, Антон смотрел из окна и запоминал путь. На одной станции ему показали столб. На столбе были две доски, а на досках черные надписи.

— Здесь Сибирь начинается, — сказали Антону. — Эта надпись налево: Европа, а значит Россия. А эта направо Азия, значит, Сибирь.

«Придется назад идти!» — подумал Антон.

После чугунки повезли его на пароходе по реке. Река была широкая, как море. Берегов не было видно.

«Экая земля просторная, — подумал Антон, — благодать. А тоже, должно быть, меряют широко, а жить тесно».

Пароход подходит к берегу. Антон видит леса и луга и простирает к ним руки. Широкая земля, а порядка на ней не заведено. Взять бы ее за шиворот, повернуть ее по-своему!..

На третий день пароход высадил его в селе Аксанове и уехал дальше. Аксаново было село большое и разбросанное. На самом берегу группа людей с песнями пилила доски. Антон подошел и стал смотреть. Над козлами на тонком шесте веял красный флаг, вроде того, какой был поднят в Сопачи, когда читали манифест. Это были ссыльные, тоже почти все крестьяне, которых прислали сюда раньше Анто-на.

Антон переночевал в селе, а на другое утро взял свою котомку и пошел назад.

Денег у него в кармане было два рубля с копейками, паспорта у него не было и ни одного адреса в городах, лежавших по дороге. Впрочем, он даже не думал, что нужно иметь адреса или деньги. А просто потянул назад, как тя-

нут перелетные птицы или кочевые звери. Сначала он шел вдоль берега реки от села к селу. По реке ходили пароходы, но у него не было денег на билет. Время было ясное, погожее, в деревнях по дороге можно было кормиться. А ночевал он в поле под стогом или в лесу на траве.

Недели через три Антон добрался до Томска и пошел вдоль рельсов, как раньше шел вдоль пароходной линии. Трудно сказать, почему его нигде не задержали. Вероятно, никому не нужен был этот хромой и оборванный странник. Антон двигался на запад правильно, как машина. Сорок верст в день, потом ночлег. Иногда садился в товарный поезд и проезжал станцию или две, но потом снова слезал и шел пешком. Через два месяца он пришел на то место, где Сибирь отделяется от России, подошел к столбу, посмотрел на доски. Они по-прежнему тянулись в разные стороны и надписи чернели по белому, как клейма казенные.

Был поздний вечер. Антон поел хлеба из котомки, напился воды из ручья и решил заночевать в поле вблизи столба.

* * *

Лежит Антон на сырой земле и спит. Котомка в головах, шапка нахлобучена на уши. Спит он чутко, весь начеку, как подобает странникам. И снится Антону сон среди чистого поля под открытым небом. Снится ему, будто он лежит дома в степи под бугром. Время вечернее, позднее. Давно пора стадо в село гнать, а стада нет. Гришка-подпасок угнал его на водопой, да так и пропал. Не слышно его и не видно. Беспокойно на сердце у Антона, а встать не может, ноги как будто чужие, тело свинцом налитое. Только хватает у него силы, чтоб набок повернуться. Он припадает ухом к земле и тихо слушает.

Вот вдали слышен какой-то шорох или дрожь земная. Ветер ли то шуршит в хлебе, или кровь в висках переливает, или, может, это топот подходящего стада; или это

ручьи журчат, тысячи крыльев звенят далеко в вышине. Все ближе и ближе подходят неисчислимые шаги, дробные и легкие, как шелест палых листьев на окраине леса.

Антон поднимает голову и смотрит кругом. Под ним земля, над землею небо. И время темное, не вечер, а ночь. Зато на небе луна, и тучи тихо ползут, закроют ее, потом опять откроют. Как будто белая овчина тянется по небу, старая, в дырках.

Низко ползут тучи. Вдали совсем до земли осели и по самой земле переливаются, как дым. И шаги чьи-то вправду слышатся. Дробные, легкие, неисчислимые, как будто идет толпа несметная, идти идет, а ногами до земли не достает.

«Что это, стадо? — думает Антон, — Как оно сюда забралось? Да это не наша степь. Это поле сибирское. На поле столб. На столбе две белые доски, а на досках написано черным по белому: Россия, Сибирь».

А шаги все ближе, не шумят, а как будто снятся или в ухе сами рождаются, а на дороге их нет.

Антон смотрит вдаль на дикое поле. Белые клочья ночного облака дробятся на части, рвутся на полосы, ветвятся и делятся, как лунная рябь на быстро текущей реке. Какие странные фигуры, будто люди и кони, и повозки, и всадники. А шаги все ближе, без числа, как будто сами в ухе рождаются, наплывают мерно и плавно: «Раз-два, раз-два!»

Это совсем не стадо, это людская толпа, несчетное войско, отряд за отрядом, с восточной стороны, с Сибирской границы идет прямо на Антона. Антон глядит во все глаза. Вот они уже совсем близко. Господи, это русское войско! серые шинели, папахи косматые. Ноги тряпками замотаны. Боже, какие оборванные, еще хуже сибирского беглеца, хромого пастуха Антона.

Антон глядит и думает. Это манджурская армия не дождалась казенных поездов и пустилась пешедралом, торопясь на родину.

Опять дыра в белой овчине. Луна смотрит с неба сквозь эту дыру. Хорошо видно Антону подходящее войско.

Господи, да что же это, да какое это войско? Щеки у всех впалые, кожа и кости, как будто неделю не ели; у одних лица белые, как мел, у других темные, землистые, а у третьих на щеках и на лбу бурые пятна, как будто кровь.

Вот у того лицо разрублено, искривилось на сторону, а у соседа и совсем головы нет, а не падает, идет, от других не отстает.

«Турки падают, как чурки, — вспоминает Антон, — а наши без головы стоят, да табачок покуривают».

Тут есть все разряды, все воинские части. Вот казаки едут, лошади черные, шапки круглые набекрень. Господи, у одного рук нет, поводья на шее намотаны, как аркан, а сабля в зубах. Конец у сабли сломан и запачкан в красное, не то это ржавчина, не то кровь, а чья кровь, неведомо, чужая или собственная. И все оружие, которое несут с собой эти странные воины, сломано, испорчено, проржавело, как будто и оружие у них раненое, негодное в битву, побежденное врагом.

За казаками снова пехота. В китайских куртках, в женских кофтах, закутанные одеялами, хуже француза под Москвой в 12-м году. У иных бороды всклооченные. «Это запасные, — думает Антон, — а моего брата нет, убили, видно».

Что это за воины идут, растерзанные, израненные, хромые, на костылях, с руками на повязках? Должно быть, из госпиталей ушли и потянулись за другими. Тошно кости оставить на чужой стороне, дома и умирать легче.

Их все больше, они идут, им нет счета. Как овцы, побитые бурей, они проходят мимо Антона и смотрят ему в лицо так жалобно-жалобно...

«А моего брата нет», — думает Антон, и кажется ему, что все это его братья. Щемит сердце у Антона.

— Голубчики, — шепчет он засохшими губами. — Русская кровь. За что побили вас?..

Жалко Антону солдатиков.

— За что побили вас? — шепчет он и слезы льются из его глаз.

Новые и новые отряды проходят друг за другом. Вон артиллерия едет, пушки без замков, подбиты чужими ядра-

ми, надтреснутые пулеметы. А прислуга тоже побитая, лежат, где кого захватило, кто на передке припал, кто оружие руками обхватил, да так и замер, кто распластался по колесу, будто колесуют его.

А везут эти пушки белые лошадиные скелеты, по двое в ряд.

Остовы сухие выступают ровно, как на параде, только жесткие кости чуть гремят друг об друга.

А вот не люди идут, а какие то обрывки, как только они держатся вместе! Один еще лопату па плече несет, а вся середина у него вырвана, даже луна насквозь светится, верно, ядром ударило. Вон другой, весь в клочьях, и проволокой обвит. Проволока щетинистая, в зубьях ее, должно быть, и держится. А этот обгорел и тело у него в черных трещинах, как головня. Эти ползут на карачках и широко переставляют руки. У них челюсть отвисла и рот зияет, как дыра, и в дыре ни одного зуба, — цинготные, должно быть.

Есть тут люди всякого племени и всякой веры, какие живут на русской земле: русские, поляки, и немцы, и татары, и евреи, и горцы кавказские. У одних волосы прямые, русые, у других черные, в кудрях, большие, темные глаза, носы с горбинкой. Но только все они в мундирах. Хотя лохмотья, а на одну стать; идут одинаковым шагом и повадка одинаковая, ибо воистину все это братья, дети одной русской земли.

А там сзади всех идут еще другие, в синих рубахах, с синими лицами, мокрые, вода с них течет, пальцы скрючены. У одного на руке краб висит, на клешне качается, как камень на веревке, и волосы перевиты бледно-зеленой водорослью. А другой весь раздулся и голова назад откинулась, как будто крикнуть хочет.

Это матросы подводного флота. Нудно им, непереносно лежать на дне морском и они увязались идти домой вслед за другими.

Без счета, без конца идет мертвое воинство прямо на Антона.

Труба трубит медным голосом, будто зовет на Страшный Суд.

И воины спешат. Идут и едут, и ползут, и тащатся. Солдаты идут и матросы. Кой-где мелькнут офицерские погоны и золотые пуговицы.

А где же генералы? Все давно вперед уехали на скорых поездах. Только один генерал едет впереди, черный скелет на черном высоком коне. Это Смерть. В ее руке черное знамя. Тень от знамени упала на поле и покрыла все бессчетное войско, идущее домой.

Едет Смерть прямо на Антона, машет знаменем. Жутко Антону глядеть черному скелету в пустые глазные впадины. Он закрывает глаза и опускает лицо на землю.

И снова приникает его ухо к сырой земле, и снова слышит он шум и топот и шорох в другой стороне, в той, куда указывает черная надпись: Россия.

Трубят труба медноголосая, поет и плачет, и будто грозит и за сердце хватает.

Мы жертвою пали в борьбе роковой
Любви безграничной к народу...

Новое полчище идеи с русской стороны. Много их, скользят, как тени, ногами до земли не достают. Те идут с войны, а этим все мало. Они идут на восток, на новую войну.

Тут тоже есть люди всякого рода и племени и веры, всех званий и всех городов, разного пола и всякого возраста, рабочие, студенты, крестьяне, старики, молодые, подростки, девушки. Они без мундиров, в своих парадных одеждах, но и со всеми различиями все это братья и дети одной русской земли.

Вот идут рабочие из Петербурга густой колонной. Они несут иконы и хоругви. Впереди поп с крестом. Иконы забрызганы грязью из-под конских копыт, хоругви прострелены и также прострелены их головы и груди.

Кронштадтские матросы идут развернутым строем. Руки у них связаны за спиной. Головы в черных мешках повисли на грудь. На шее петля и обрывок веревки болтается.

Балтийские пленники бегут друг за другом, понутив лицо в землю. Они заколоты штыком в спину. Их лица разбиты прикладами, разможжены от выстрелов в упор.

Одесские евреи идут огромным отрядом, ужасным и окровавленным. На них длинные кафтаны, ермолки на головах. Животы у них распороты, глаза их пробиты гвоздями, и те гвозди покрыты ржавой кровью. Есть между ними старики. Их шеи в крови, нож обагренный вытирали им о бороду. Женщины, нагие и растерзанные, юноши, забитые дубиной, как бешеные собаки.

А детские отряды собрались и идут особо. Вот петербургские мальчики, состреленные с деревьев, как куропатки; вот другие, обгорелые, их бросали в огонь; вот поднятые на копья, у них брюхо проколото и кишки волочатся. Этих разорвали пополам, как сушеную рыбу. Этим разбили голову с размаху об стену. Молчат детишки, как будто сейчас замолчали, и крик оборвался, и эхо еще несется над темною землей.

Земля молчит и слушает, и ловит эхо.

Вот молодая девушка, почти ребенок, с веревкой на шее; другая и третья. У этой лицо красивое и грозное, как лицо судьбы. Она сняла с шеи веревку и протянула вперед, как будто предлагает ее кому-то незримому.

Идут поляки и армяне, и грузины, и вотяки, и чуваша. Застреленные, повешенные, убитые палками, изрубленные шашками, исполосованные нагайками. За ними плетутся их жены и дети, замученные тоскою и бесхлебным голодом.

Но больше всего идут русские мужики. Как туча идут они, сизая туча, дождливая, в лаптях, в зипунах, в овчинных шубах. У них лица злые, а руки безоружные. Одежда в лохмотьях, у других шкура висит лохмотьями. Полтавцы идут с полтавцами, а москвичи с москвичами, и саратовские и воронежские, каждая губерния идет своим отрядом.

Набрались они, как сила несосветимая. Есть меж ними старые, и молодые, и запасные солдаты. У них на груди медаль порт-артурская, а рука сложена, как будто просит милостыню.

«А где мой брат? — думает Антон. — Вон землячки орловские и он с ними. У него сердитое лицо. Вместо медали на груди его дырочка. Ее пуля пробила, не японская, а домашняя».

— Кто вас убил, братцы? — спрашивает Антон по-прежнему.

— Враги-палачи совершили свой суд! —

— поет труба.

— Куда идете, братцы? — спрашивает Антон.

Труба поет медным голосом. Легко и дружно идет в ногу все огромное полчище и выходит навстречу тому, другому, сибирскому...

Впереди полчища едет белый вестник на белой лошади. В руке у него труба. Это она поет звучным медным голосом. А лицо вестника горит слабым отблеском, видно, на востоке рассвет рождается. Над едущим впереди знамя широкое, алое, как кровь, яркое, как луч зари.

— Кто вас убил? — пристает Антон. И не знает он, кого спрашивать.

Две рати убитые, и красная, и черная.

Ближайшие мужики что-то шепчут. Брат Егор проходит близко и злобно шипит:

— Нешто не знаешь? Вот этикие!..

И он протягивает руку к войску сибирскому.

И все мужики протягивают руки и жуют губами и шипят:

— Этикие, вот этикие!..

В рядах черного войска пробегает, как ропот ветра:

— Не мы, это не мы! Нас самих убили. Мы ваши братья. Нас тоже убили...

— И нас убили! — несется с русской стороны. — Нас тоже, братья!

Раз-два, раз-два! Две армии великих вышли и встали друг против друга.

Вожатые съехались вместе. Белый конь закрыл дорогу черному. Они одинакового роста и походят друг на друга, как день и ночь, два родные брата.

— Братики! — шепчет Антон, — русская кровь.

Оба знамени веют с одной высоты. Антон быстро прикидывает.

Под каким знаменем больше убитых, под красным или под черным?

Ряды мешаются. Больше нельзя считать и различать, кто на какой стороне.

Павел Шкарин

ОДИНОЧЕСТВО

Илл. С. Лодыгина



I

В царстве вечного света, в заоблачных чертогах, скрытых от взоров смертных, задумчив сидел Великий Сива. Смущенные и неподвижные стояли перед ним посланцы-исполнители его воли. Один из них особенно низко склонил голову, и глубокой скорбью, как траурным флером, было подернуто его юное лицо.

Он ждал решения своей участи.

Великий Сива приказал ему разрушить город нечестивых, забывших о раскаянии. Но дрогнуло сердце у посланца, жаль ему стало обреченных на смерть. «Слишком рано закатывается солнце для них, и не успевают они переправляться на другой берег божественной премудрости. Чем виноваты они, если Создавший их вдохнул в них слабую волю — мать пороков?» И не выполнил воли Великого.

Коротко было раздумье Сивы. Подолгу задумываются над мыслями лишь смертные. Только смертные напряженно хмурят чело от трудной работы своих слабых мозгов.

Властный жест сделал Сива в сторону виновного. Заволновался вокруг слоистый эфир, вихревым движением коснулся всех стоявших перед Сивой. И громовым голосом воскликнул Сива:

— Восставший дух! Порочные слабости смертных пленили твой ум, и ты преступил мою волю. Так будь же отныне простым смертным и живи среди возлюбленных тобою детей земли. Но знай, что без волн моей смерть не коснется тебя. Оставь же нас, перевоплощенный!

И сразу потускнел и потемнел лучезарный облик виновного духа. Почувствовал он на себе тяжелую ношу нового бытия и в ужасе и смятении покинул царство вечного света и легкого эфира.

Смущенные и неподвижные стояли перед Сивой посланцы-исполнители его воли. «Великий позор для бесплотного и вечного стать жалким и смертным рабом. Но разве достойно наказал Судья дерзкого ослушника? Он останется жить, будет видеть солнце, станет пользоваться среди смертных всеми дарами Творца. Добр и милостив Судья!»

Так думали смущенные духи.

Сива — великий сердцевед. Разгадал он тайные думы посланцев. Но ничего не сказал. Только короткой улыбкой, загадочной, как жизнь богов, улыбнулся он.

II

Законам времени подчинено все живущее на земле. Дожил Перевоплощенный до тех лет, когда яркие краски жизни теряют первоначальную опьяняющую власть, а влекущая сила мимолетных радостей оказывается поздно сознаваемой отравой для слепца.

Он покинул людей и отшельником поселился в угрюмых и скалистых отрогах Гималаев. Здесь было тихо, и ни один звук не доносился из воинственного муравейника, кипевшего мятежными человеческими страстями.

Покорно и терпеливо стал ожидать Перевоплощенный, когда Сива сжалится над ним и растворит его душу в эфире вечности. Дни и ночи посвящал он пламенной молитве, изнурял себя постом и самобичеванием и с просящей надеждой смотрел полуослепшими глазами на недоступную вер-

шину, где царствовал Великий Сива.

Проходили дни, месяцы, годы. Перевоплощенный превратился в человеческую руину. Сива, казалось, забыл о нем.

И вот однажды он пришел к мысли, что не может так дальше жить. Если Сива забыл о нем, то он сам прибегнет к самоуничтожению.

Но прежде, чем призвать спасительную смерть, захотел Перевоплощенный вспомнить всю свою прожитую жизнь, чтобы установить: все ли страсти смертных пережил он?

В виде большого пестрого клубка, сплетенного из разных нитей, представилась ему вся его прожитая жизнь. Нить за нитью стал он распутывать этот клубок, и все то, что так далеко осталось позади Перевоплощенного, заставило его вновь пережить себя.

Вот первый день его на земле. Первый день ужаса и страха, когда все страсти смертных жадно потянулись к его свободной душе и стали заковывать ее в прочные цепи; когда неведомые и прихотливые желания вдруг поработили мозг его; наконец, когда начали обрываться последние нити, связывавшие его с царством легкого эфира. И ничего уже не оставалось в нем прежнего: мучительная тревога, беспокойные помыслы и властные требования животных инстинктов завладели всем существом его.

Прежде всего, узнал он неудовлетворенный голод, неутоленную жажду и скорбь скитаний бесприютного бродяги. Потом узнал, как относительно счастье, когда случайно набрел на рудники, где люди сжалились над ним, дали ему работу, хлеб и приют.

И вот он — раб среди рабов. Здесь вся человеческая ценность измеряется достоинствами грубой мускульной силы. Как крот, роется он в глубоких недрах земли. Сюда никогда не заглядывает луч солнца. Здесь царство вечного мрака. Подземные люди-кроты потеряли человеческий образ, и душа их так же темна, как те пласты, которые с таким трудом приходится дробить кирками и ломami.

Не мог Перевоплощенный долго выносить такую мрачную и безотрадную жизнь. Он бежал к солнцу, чтобы не отрывать восхищенных глаз от зрелища волшебной сказки не-

увядаемой красавицы-природы.

Но умирает волшебная сказка, когда прикасается к ней человек.

Он вновь во власти голода и нужды. Доведенный до отчаяния, он совершает преступление: пробирается в дом к богачу и производит кражу. Но он неопытный вор. Его ловят на месте преступления и сажают в тюрьму. Он полон презрения к самому себе, и ему так хочется умереть в тюрьме. Но он не умирает, а только понимает, почему люди так жадно цепляются за жизнь.

Он бежал из тюрьмы.

Вот он в чужой стране. Здесь он умиротворился и честной трудовой жизнью смыл с себя позор падения. Но не Сива ли сказал ему, что он будет жить всеми страстями смертных?

Наверно, потому в нем пробудилось такое жадное стремление к богатству. Он понял, что если с выгодной перепродажей товаров успешно торговать совестью, то это лучший путь к богатству. Он стал торговцем. Научился обманывать других и с цинизмом смеялся в глаза одураченным, когда его называли вором.

Через несколько лет он стал колоссально богат. Он бросил ремесло, ставшее лишним, и зажил праздной жизнью. Теперь у него была только одна забота: как бы удовлетворить свои капризы и чем бы новым развлечь себя? Но в этом ему успешно помогали многочисленные друзья. Те друзья, которые неизвестно откуда взялись и облепили его со всех сторон. Они угодливо льстили ему, преклонялись перед его несуществующими душевными качествами и всю его новую жизнь опутали сплошной паутиной, сотканной из лжи и лицемерия.

Красавицы, среди которых были чужие жены, охотно отдавались ему и с хорошо замаскированными корыстью и вероломством клялись ему в любви. У него закружилась голова от успехов, от могущества своей власти. Он сам готов был фетишизировать себя.

Но, когда им овладела пресыщенность и вновь вернулась способность различать цвета, он убедился, что все то,

что он считал за высшее счастье — грубый и сплошной самообман. Это стало очевидным, когда вместе с его глазами открылись уши, и он отчетливо услышал за своей спиной настоящие голоса. Он узнал, что его считают за ничтожество, за случайного баловня судьбы. И в этом хоре голосов ясно различались угрозы и проклятия. Он окончательно отрезвел и решил бежать из того ада, который он создал сам.

Опять прошли года. Но скитанья не помогли Перевоплощенному. Ему не удалось убежать от самого себя.

В одной стране он встретил девушку и полюбил первой искренней и туманящей рассудок любовью. И вновь открылся перед ним мир чудесных грез и неизведанных переживаний. В охватившем его экстазе он восклицал тогда: «Любовь — вот единственная и лучшая радость у людей. Пусть ее называют рабством. Но это опьяняющее и красивое рабство благословляют все народы».

В полном самозабвении он стал покорным рабом своего кумира. Он дал этой одухотворенной жемчужине драгоценную оправу, окружил ее существование сказочной роскошью.

Но умирает волшебная сказка, когда прикасается к ней человек.

Красавице скоро наскучило постоянное пресмыкание раба с покорным взглядом преданной собаки. Ее воображением завладел образ сильного, властного и гордого полубога. Она покинула жалкого раба, как покинул его и рассудок.

Иначе мог ли Перевоплощенный в здравом уме так приносить в себе человеческое достоинство, чтобы продолжать пресмыкаться у ее ног, когда все уже было кончено?

Но настал момент, когда оскорбительное презрение к нему пробудило в нем природную гордость. Тогда, в порыве иступления, он убил оскорбительницу и ее любовника.

Он скрылся от правосудия не потому, что боялся наказания, но затем, чтобы самому достойнее покарать себя. Он осознал, что самый презренный враг свободы тот, кто решается насиловать свободу других. Он проклял себя за насилие и обрек на скитания, полные намеренных опасностей и лишений, в уверенности встретить достойный конец.

Он дерзко хохотал в лицо смерти, когда бросался в морские пучины спасать тонувших; со смехом кидался в бушующее пламя пожаров, извлекая горевших; с беззаботной улыбкой таскал на себе чумных и прокаженных. Но смерть неизменно отворачивалась от него. О нем стали говорить, как о легендарном герое, его имя окружили ореолом сверхъестественного самоотвержения, наконец, жадно пытались ловить его, чтобы выразить свое восхищение. Но он умел так же внезапно исчезать из толпы, как и появляться в ней. Он убегал все дальше и дальше, проклиная тень свою и укрепляясь в сознании, что одинок человек среди людей.

Так прошли годы. Он — глубокий старик, удалившийся от жизни, полной предательских самообманов и человеческого неустроения.

Вот она, эта последняя нить в клубке его догорающей жизни. Завтра оборвется эта нить.

III

Настал день самоуничтожения. Первые лучи утреннего солнца розоватым золотом покрыли далекие и остроконечные вершины отрогов Гималаев.

До самой высокой из вершин решил добраться Перевоплощенный. Это был трудный и опасный путь. Перевоплощенный обрывался, падал, вновь подымался, превратил свои руки в окровавленные куски мяса. Но сознание скорого избавления от всех страданий придавало ему новые силы.

Он добрался до вершины. Перед ним зияет бездонная пропасть. Где то там трусливо прячется смерть. Но теперь Перевоплощенный заставит ее подчиниться своей воле.

В последний раз обращается он к Сиве:

— Слышишь ли ты меня, о Сива?

Но тихо и безмолвно кругом, и бесплодными звуками растворяется его призыв.

Только на мгновение задумался Перевоплощенный. Потом отступил на несколько шагов от края утеса, разбежался и, закрыв глаза, низвергнулся в бездну...

— О, Сива, великий покровитель грешников! Благодарю тебя, что ты дал отвергнутому легкий и безболезненный конец. Ты сохранил моему духу сознание и дал осязать себя.

Так говорил Перевоплощенный, распростертый на дне бездны. И диким и жутким казался ему собственный голос среди окружающего мрачного безмолвия.

— Слепой безумец! Не Сива ли сказал, что без его воли смерть не коснется тебя? — вдруг услышал Перевоплощенный над собою чей-то негодующий и грозный возглас.

В ужасе открыл он глаза. Перед ним стоял высокий старик с величественной и гордой осанкой. Строго и укоризненно сверкали его глаза из-под нависших густых бровей.

— Кто ты, что знаешь волю Сивы? Разве еще не умер я, когда камень, упавший вместе со мною, превратился в мельчайшую пыль? — в мистическом страхе спросил Перевоплощенный.

— Встань и следуй за мной! — властно произнес величественный старик, делая движение вперед.

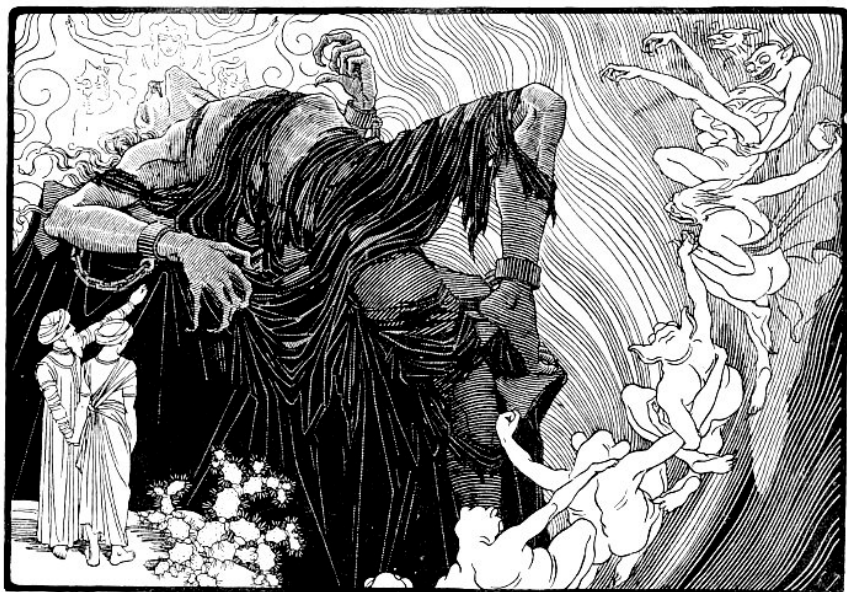
И удивился Перевоплощенный, что мог так легко подняться и последовать за стариком. Но он шел за ним, как автомат, без чувств, без цели, утратив представление о времени и пространстве. Наконец, остановились они.

— Повернись сюда и смотри на эту скалу! — услышал Перевоплощенный повелительный голос своего спутника.

И убедился он, что вновь вернулись к нему все чувства и разум. Вот что увидел он.

На каменной скале, отмеченной следами тысячелетий, был распростерт какой-то великан. Нельзя было рассмотреть его лица, потому что голова великана была откинута за край утеса и судорожно билась о камни. И все большое тело великана, темное и высохшее, как мумия, сплошь изъеденное язвами, также трепетало и извивалось в судорожных мучениях. Громко и зловеще гремели от сотрясения тя-

желые цепи, которыми великан был по рукам и по ногам прикован к скале.



Не в силах был Перевоплощенный долго выносить зрелища таких мучений и в страхе перевел свой взгляд к подножию скалы: там в бешеной и шумной вакханалии кружились какие-то странные существа. Ужасен и отвратителен был их вид. Их упитанные тела, лоснящиеся от выступавшего жира, глаза навыкате, выражающие ненасытную злобу и алчность, наконец, длинные цепкие руки, как щупальца у спрута — все это заставляло предполагать в них истинных детей ада.

Несмотря на свои грузные тела, они проявляли необычайную подвижность. Время от времени они со злорадным хохотом и диким воем бросали камнями в прикованного великана и забавлялись, когда их жертва корчилась и извивалась от мучительной боли.

Оторвал Перевоплощенный и от них свой встревоженный взгляд и перенес его на другие существа, которые стояли у изголовья великана.

В противоположность первым, они были стройны, прекрасны и излучали от себя какой-то бодрящий и неизъяснимо-ласкающий свет. Судя по их поведению, было очевидно, что великан находился под их защитой. Одни из них травами врачевали его раны, другие водой утоляли его жажду, наконец, третьи вступали в борьбу со злыми существами и препятствовали им истязать их жертву. Но их было слишком мало, и злые все время одерживали над ними верх.

Странные и необъяснимые чувства переживал Перевоплощенный. Не хватало у него воли, чтобы заклеить презрением злых и послать благословение добрым. Точно какое-то родство одинаково привязывало его как к тем, так и к другим. Жуткая и страшная борьба происходила в нем, и почувствовал он, что близок его рассудок к помутнению. В смятении обратился он к своему спутнику:

— Скажи, знающий волю Сивы, кто этот прикованный к скале, и что за существа окружают его?

— К скале прикована мировая душа человека. Она была чиста, как снег на вершинах Гималаев, свободна, как ветер в мировом пространстве, и не знала ни зла, ни добра. Ей чужды были страсти людей. Но, когда стало двое людей, — родились страсти. Они стали множиться и расти вместе с размножением рода человеческого. Люди перестали быть братьями и забыли человека. Страсти сковали свободную душу, и она стала рабой.

— Но что за существа окружают мировую душу?

— Это — родные дети человечества. Вот тучные и упитанные. С особенной старательностью питают и поддерживают их жизнь слабые и слепые люди. Я назову тебе их некоторые имена: Зависть, Ложь, Душегубство, Воровство, Вероломство, Жадность, Предательство, Распутство и Себялюбие. Мировая душа погибла бы, а вместе с нею погибло бы и человечество, если бы ее не поддерживали вот те немногие прекрасные дети смертных. Зовут их: Правда, Добро-

желательность, Совесть, Самоотверженность и Всепрощение. Вся тяжесть жизни лежит у них на плечах. Но слепы смертные в своем неустроении.

Замолк таинственный старик. Укоризненно и с грустью стал смотреть на Перевоплощенного. И вдруг точно дымкой начал заволакиваться весь просветлевший образ его.

Открылись у Перевоплощенного глаза бессмертных, узнал он Великого Сиву.

— О, Сива, ты ли это пред преступившим волю твою? — с радостью и страхом произнес он, простираясь ниц.

— Перевоплощенный! Разве не сказал я тебе, что без воли моей смерть не коснется тебя? Ты дважды нарушил мою волю, и нет тебе места со мной. Мировая душа человека — святое создание Творца. Вместе со смертными ты оскорбил ее святость, умножил ее муки. Оставайся же среди смертных до тех пор, пока люди не найдут Человека, и Истина не станет общей для всех. Тогда я вновь призову тебя.

Сказал Сива, и в виде легкого облака стал расплываться образ его в воздушном пространстве.

— О, Сива! Какое же имя я буду носить среди смертных? — с невыразимой грустью воскликнул Перевоплощенный.

— Одиночество... — тихо и замирая протянулся прощальный голос Сивы.

И осталось Одиночество жить на земле, пока люди не найдут Человека, и Истина не станет общей для всех...

Николай Олигер

ПУТЕШЕСТВИЕ НАРАДЫ

(Из мудрых сказаний Йоги)

Не спрашивай меня, как давно это было, возлюбленный сын мой. Вечный Брама опустит вежды и вновь поднимет, — и в божественное мгновение на бренной земле находится великое царство, процветет и погибнет. Мы — только ничтожная пыль под колесом вечности.

Солнце всходит и заходит, цветут деревья и наливаются плоды и холодное дыхание горных высот нисходит в долины. Но все те же цветы распускаются каждый год и все так же прохладно дыхание гор. Существует ли время для человека, жизнь которого подобна мотыльку, опалившему крылья об огонь светильника?

Не спрашивай меня, как давно это было.

Жил некий мудрец, по имени Нарада, человек чистый, возвышенный, блаженный. Душа его была подобна саду, наполненному благоуханиями. И только с его мудростью могла сравняться его совершенная кротость.

Бессмертные боги, без усмотрения которых не погибнет ничтожный муравей, переходящий песчаную дорогу, отличили праведного Нараду на пути смертных, возвеличили его и возвысили. И Нараде, смертному, дали вкусить божественную сому, так что тленные глаза его могли без трепета взирать на вечность и тленная нога его без телесного повреждения могла попирать созданный из солнечного огня престол божества.

Нарада, праведный и блаженный, приходил, когда хотел, к бессмертным богам и наслаждался беседой; и, когда хотел, возвращался на землю, которая, о возлюбленный сын мой, есть брение у подошв твоих. Но не спрашивай меня, когда это было.

Был день, один из дней вечности, и в этот день шел праведный Нарада на небо, чтобы беседовать с богами. И путь его пролегал через лес. Деревья роняли свои листья, чтобы устлать мягким ковром путь мудреца, и яд кобры высох в зубах ее, и крокодил невинным вынес на берег младенца, которого мать обронила в мутную речную струю. И одинокий слон, в жилах которого воспламенился яд любовного бешенства, преклонил жесткие колени, чтобы почтить праведного.

Так проходил Нарада через лес на пути к небу, где пребывают бессмертные, и в густой чаще, недоступной солнечному лучу, проникновенные глаза его усмотрели человека. Человек этот был наг, как серая ящерица на камне развалин, и длинные седые волосы покрыли его иссохшие плечи и спину, как ветхая кора. Натянута была и блестела темная кожа на его суставах, заострившихся в неподвижности. Стоял он под деревом и отдавался созерцанию, и муравьи, трудолюбивые работники, воздвигли у его ног гнездо свое от ступней вплоть до колен.

Проходил своей дорогой Нарада, предвкушая радость беседы бессмертных, но человек позвал праведного, и голос этого человека был подобен шуршанию змеи, потому что горло его иссохло от жажды:

— Остановись, молю тебя! Куда ты идешь?

Праведный Нарада ответил:

— Я иду на небо.

И опять зашуршала иссохшая гортань человека:

— О, праведный, которому открыты все пути! Узнай, долго ли еще буду я ждать свободу. Ты видишь иссохшее тело мое и мое великое рвение. Узнай, скоро ли я приобщусь к бессмертным, освобожденный от страстей жизни.

Нарада ответил человеку, тело которого иссохло, как колос после летнего зноя:

— Хорошо, я узнаю.

И пошел дальше, а трудолюбивые муравьи воздвигали гнездо свое у колен погруженного в созерцание.

Миновал Нарада великий лес. Миновал и остановился на окраине круглой поляны, свободной от травы и твердой, как ток, на котором тяжелые буйволы вытаптывают из колосьев полновесные зерна.

И другого человека увидал на этой поляне Нарада, чистый, возвышенный и блаженный. Человек этот пел и плясал, восхваляя бессмертных в простоте цветущей души, и подошвами ног своих выравнивал поляну, похожую на хлебный ток.

Закричал громко этот человек, когда приблизился Нарада:

— Остановись ты, путник с кроткими глазами и мудрой душой! Остановись! Куда ты идешь?

Праведный Нарада ответил, как и первому:

— Я иду на небо.

Человек воскликнул:

— Благословен путь твой, ведущий к бессмертным. Спроси и узнай, когда я буду свободен? Спроси и узнай, когда я выйду из колеса.

И Нарада ответил:

— Хорошо, я узнаю.

Слабы уста мои, о возлюбленный сын мой, и нет речений на языке моем, чтобы я мог изобразить тебе все пути Нарады, чистого, возвышенного и блаженного. И потому скажу я тебе так: он был на небе и, насладившись, возвращался обратно.

Возвращаясь, увидел он отшельника, стоявшего под деревом, ноги которого были скрыты в гнезде трудолюбивых муравьев. Человек этот поднял отяжелевшие веки, когда приблизился праведный, и, взглянув на него, с надеждою спросил, — и голос его шуршал, как сброшенная кожа змеи:

— Привет идущему по путям вечности! Узнал ли ты, сколько времени должен я страдать?

Ответил Нарада мудрый и добрый:

— Да, я узнал это. Ум твой воспитан созерцанием и тело твое свободно от страстей, затемняющих лик вечного. Итак, приготовься услышать. Еще четыре раза ты родишься, и четыре раза ты пройдешь по долине плача и страданий, которую называют жизнью, — и четыре раза умрешь. И только после четырех воплощений получишь ты совершенную свободу.

Человек заплакал и слезы, которые могли бы растопить вечные льды гор, потекли неудержимо по его иссохшим щекам. Он плакал и прошептал голосом, похожим на ночной шелест листьев:

— Так долго еще я должен ждать освобождения!

Нарада, просветленный обращением с бессмертными, пошел дальше и дошел до поляны, похожей на хлебный ток, чисто прибранный перед молотьбой. На этой поляне

нашел он другого отшельника, — и остановился, ожидая вопроса.

Человек спросил, радуясь и прославляя дыхание Браммы:

— Был ли ты на небе, о, праведный? Узнал ли ты, как долго должен я еще ждать?

Праведный ответил:

— Да, я был. Да, я узнал. Приготовься услышать. Видишь ли ты это тамариндовое дерево, которое своими могучими ветвями покрыло всю поляну и зелень которого подобна изумруду, омытому в морской пене? Сколько листьев на этом дереве, столько раз ты родишься и столько раз пройдешь по пути жизни, и столько раз твое брненное тело познает смерть. И только после всех этих воплощений познаешь ты совершенную свободу!

Человек взглянул на тамариндовое дерево, раскинувшее над ним свой покров — и поблагодарил праведного вестника и воскликнул:

— Как милостивы боги! Так скоро, так скоро получу я свободу!

Так он воскликнул, и пел, и плясал, восхваляя бессмертных. Но голос, не принадлежащий тлению и пыли, запечатлевшийся на скрижалях неба, возвестил человеку:

— Дитя мое, ты будешь свободен теперь же.

Человек пал ниц, и вошел в обитель свободы, и брненное тело его рассыпалось в прах.

Нарада, чистый, пошел своим путем, размышляя о вечности.

Вот что я знаю из записанного мудрыми о путешествии Нарады, возлюбленный сын мой. Слушай и поднимайся по ступеням познания.

Hyacinthus

ЖИЗНЬ ИЛИ СОН?

Как-то, проходя по одной из бойких улиц Петербурга, я нечаянно обратил внимание на только что открывшуюся антикварную лавочку. Более по привычке, чем по необходимости, я вошел в темноватое помещение, сплошь наполненное всякой всячиной, и стал рассматривать все, что попадалось на глаза. Пробыв в лавке почти четверть часа, я собирался было уходить, как молодой рыжий приказчик сказал мне:

— А не подойдет ли вам вот эта фигурка? дешево продам.

И он стал проворно разворачивать красную шелковую тряпку, в которую была завернута какая-то небольшая черная деревянная коробка.

Я открыл ее и с изумлением увидел в ней маленькую статуэтку из бронзы, изображающую сидящего Будду. На дне ящика лежали четыре свечи темно-коричневого цвета.

— Это мы купили после смерти одного китайца, — объяснял мне торговец.

Мне почему-то захотелось иметь этого божка, и я, сторговавшись, забрал ящичек и унес его домой.

Был седьмой час вечера. На улице моросил непрерывный дождь. Я благополучно добрался до дома, зажег лампу в кабинете и стал рассматривать свою покупку. Статуэтка оказалась очень древней, настолько древней, что бронза покрылась зеленоватой патиной. Я вымыл и отчистил от грязи статуэтку и поставил на угловой стол, и мне вдруг пришла странная идея — зажечь перед Буддой свечи, лежащие в ящичке. Вокруг Будды я зажег четыре коричневые свечи и стал вдобавок окуривать его оказавшейся у меня ароматной смолой. Свечи, к моему удивлению, не горели, а как-то странно тлели, распространяя тонкий и ароматный дым. Очень скоро вся комната наполнилась как бы голубовато-белым туманом...

На меня нашло какое-то странное состояние покоя и полной отрешенности от всего окружающего. Я хотел встать, чтобы освежить комнату, но почувствовал себя не в силах сдвинуться с места. Дым или туман стал медленно колебаться, образовались как бы длинные нити, которые медленно, но непрерывно двигались, образуя кольца и спирали.

В комнате по временам раздавался характерный треск. Блестящие искорки, то загораясь, то исчезая, с необычайной быстротой кружились в воздухе...

Мне стало жутко, и я, собравшись с силами, привстал и громко прочитал магическую молитву. Но собственный голос мой показался мне таким глухим и чужим, что я с трудом ее окончил.

И вдруг я не столько увидел, сколько почувствовал присутствие в комнате *кого-то*. Между мною и столиком, на котором стоял Будда, медленно стала обрисовываться человеческая фигура. Контуры тела как-то странно колебались. Прошло еще некоторое время, и я совершенно ясно стал различать фигуру человека, высокого, стройного, с темным выразительным лицом и блестящими черными глазами.

Я был так поражен видением, что не мог сообразить, вижу ли все это наяву или галлюцинирую. Неожиданный гость, стоя, поклонился мне и сказал:

— Привет тебе, хранитель Будды. Ты поражен моим присутствием здесь. Но почему это тебя удивляет, и разве тебе не знакомы некоторые вещи, скрытые от многих?

— Конечно, я знаю, — ответил я, — что появляются духи и происходят материализации. Но прости, дорогой гость, я удивлен, что ты явился безо всякой магической операции, безо всякого с моей стороны ожидания. Я лично, конечно, очень рад видеть тебя и беседовать с тобой, но не знаю, сон это или явь?

— О, мой дорогой хозяин! — воскликнул необычайный гость. — Вы, земные люди, странные люди. Впрочем, и я когда-то, очень давно, тоже был «человеком». Вы разделяете существование на жизнь-явь и смерть, или не-явь. Ведь это просто смешно; вся разница лишь в том, что в первом случае вы живете пятью и самое большее шестью чувствами, а в другом случае — очень многими и более утонченными. Впрочем, человечество мало-помалу все же движется вперед, и многие посвященные идут по верному пути познания потустороннего мира. Ты удивляешься, почему я явился сюда? Охотно объясню. Вы, земные люди, изучаете Магию, кото-

рая основана, главным образом, на познании и развитии соотношений между вами и природой. Чем более найдете точек соприкосновения с природой, чем более уловите соответствий и соотношений, тем легче вам оперировать. В сущности, весь секрет Магии заключается в познании наиболее благоприятных комбинаций... Конечно, Магия — громадная, сложная наука, требующая не только глубокого проникновения в тайны природы, но и высокого нравственного совершенства. Но бывают случаи, правда, редкие, когда, как например сегодня, благоприятное стечение обстоятельств дало мне возможность материализоваться и говорить с тобой.

— Какие же это благоприятные обстоятельства, дорогой гость, создали столь удобную обстановку? — спросил я.

— Я говорю! Это священное изображение Будды в течение 700 лет украшало великий храм. Миллионы верных детей великого Бога молились перед ним. Миллионы чистейших молитвенных флюидов окружали и насыщали это изображение. Для тебя это кусок металла, я же вижу мощное сгущение флюидов веры, любви и страдания. И вот, уже около 100 земных лет, это изображение волею рока попало на Север к белым людям. Уж много лет не возжигались священные свечи Яка, и фимиам не курился перед ним, великим. Я, верный жрец Яхита, всю свою жизнь провел при великом храме и вот уже более трех столетий как разволотился. Моею мечтою было опять служить в великом храме. Иногда мне удавалось материализоваться настолько, что я опять видел земное. Но это случалось очень и очень редко. Сегодня все сложилось так благоприятно; флюиды так гармонично двигались, что облегчили мне материализацию. Изображение Будды эманировало столько энергии, что мне осталось лишь воспользоваться удачным случаем.

— Яхита, — спросил я, — ты говоришь, что тебе редко удается видеть земное. Разве существа в твоём положении не обладают теми же чувствами, что и земные люди?

— Конечно, мы обладаем очень многими и более совершенными чувствами, но мы воспринимаем иначе. Мы ведь лишены материального тела; мы живем только мыслями и

чувствами. Вы, земные люди, не видите и не осязаете нас. Мы тоже, не будучи материализованы, не видим вас. Мы вас лишь чувствуем. Так как мы лишены материального тела, то мы вне времени и пространства. Переносясь со страшной быстротой, мы не видим и не можем измерять предметы, мы их лишь чувствуем. Например, приближаясь к земной планете, мы узнаем о ее близости по той массе флюидов и токов всякого рода, которые проникают и окружают земную поверхность. И чем менее материальное тело астрально развито, как например, некоторые металлы и минералы, тем нам труднее их воспринять. И наоборот, чем существо более развито астрально и ментально, тем легче оно нами воспринимается и познается. Вас, людей, мы не видим, но ваши мысли, чувства, желания для нас видимы и понятны. Ваше тело мы не видим, но формы его мы воспринимаем благодаря ауре, окружающей тело. Как курьез, могу сообщить, что некоторые драгоценные, хорошо шлифованные камни нами очень любимы благодаря их «игре», которая производит приятные вибрации и притягивает нас..

— Дорогой гость, — перебил я, — все это так интересно и поучительно, что я, право, не могу прийти в себя. Если мы беседуем уже более получаса, то объясни мне, ради Бога, каким образом ты знаешь так хорошо современный русский язык?

— С удовольствием отвечаю тебе: мы не говорим, мы воспринимаем образы. Ты хотя и не спишь и не галлюцинируешь, но ты находишься в том состоянии, когда образы и представления заменяют речь. Спрашивай меня, если хочешь, еще о чем-либо, ибо я чувствую, что скоро мое материализованное тело начнет рассеиваться.

— О, чудный посетитель, позволь задать тебе еще один вопрос. Ты пришел сюда *оттуда*... Удалось ли тебе, хотя бы немного, приблизиться к тому Великому и Единому, к Кому миллионы душ и сердец стремятся от века? Видел ли ты хотя бы сияние Его?..

— О, земной человек, вы, которые считаете себя мудрейшими из мудрейших! Вы, которые создали религии, фило-

софские системы и науки, вы, воистину, наивные дети. Ваш мозг, ваши чувства столь, в общем, несовершенны, что все гениальнейшие, по вашему мнению, теории и проблемы, — лишь слабейшие отражения истины. Вы хотите познать сущность Божества, а не можете составить себе даже приблизительное представление о мире. А мир огромен. Все ваши знания ограничиваются лишь этой солнечной системой, к которой БЫ приурочиваете и вашу религию. А между тем, эта солнечная система лишь песчинка в океане других систем. Можно нестись с быстротой луча неисчислимые времена и быть так же далеко от конца, как близко от места отправления. Ты спрашиваешь, приблизился ли я хотя сколько-нибудь к источнику мировой жизни? Нет и нет! Не только мы, существа, но даже целые планетные системы находятся еще в периоде эволюции и совершенствования. Пройдут времена, исчезнут миллионы планет, создадутся новые, народится новое, более совершенное человечество, и тогда, быть может, откроется возможность к такому высокому совершенству, что можно будет приблизиться к Непостижимому. Теперь же идет какая-то грандиозная мировая работа, постичь которую наши слабые силы не могут. Преклонимся перед величием вселенной и облегчим себе и нашим братьям возможность совершенствоваться. Прощай!..

Фигура жреца стала медленно расплываться и через несколько минут совсем исчезла.

Сквозь опущенную штору проникал утренний мерцающий свет. Был 6-й час утра. Моросил дождик. Свечи догорели, легкие струйки дыма носились еще по комнате. Один лишь Будда по-прежнему неподвижно сидел и улыбался загадочной таинственной улыбкой.

Сар-Диноил

ИЗИДА

Два часа ночи. Кругом все тихо. Небольшая комната, в которой я нахожусь, настолько удалена от городского шума, что мне кажется, будто все человечество более не существует.

Мой взор рассеянно бродит по стенам комнаты, останавливаясь на развешанных на них изображениях и предметах.

Вот богиня — символ тайн Природы вечно юной и вечно прекрасной, Изида с лицом, покрытым вуалью, лицом, которого не видел еще ни один смертный! Какой тайный смысл скрывается для нас, оккультистов, в этом Великом Символе?

Вот четверорукий Брама индусов, вот Будда на фоне листа лотоса, вот лампочка, пролежавшая в земле много веков и освещавшая чье-то жилище в древней Пантикапее. Далее, пентаграмма, священный слог «Ом», знаки Зодиака, пентакли.

Я закрываю глаза, и мысль моя невольно уносится вдаль и в прошлое, к тому времени, когда моя нога впервые ступила на Священную Землю Хеми. омываемую плодородным Нилом.

Перед моим духовным взором рисуются процессии жриц, залитые лунным светом, пирамиды, могучий силуэт сфинкса, полузасыпанный песками пустыни.

Усилием волн я стараюсь вызвать перед собой образ Изиды.

Я вижу фигуру легкую, воздушную, прекрасную и величественную.

Сквозь покрывающий ее тройной вуаль мне чудится чарующая улыбка.

Я узнаю эту улыбку. Так улыбается умирающему сестра милосердия, так улыбается возлюбленная любящему человеку, так улыбается невинное дитя.

Этот образ — воплощение вечно-женственного. От него исходит дивное сияние, свет, который не только светит, но и греет. Это свет Истины, Добра и Красоты.

Тысячи мыслей и вопросов теснились в моей голове, и мне казалось, что я без слов понял немой ответ Богини.

Она как бы говорила мне:

«Ты живешь в век, когда техника и материальный прогресс достигли предела своего развития. Но почему люди несчастны, почему они ежедневно массами лишают себя жизни, почему они не верят более ни во что и кричат о банкротстве даже самой науки?

Сумела ли эта наука разгадать тайну жизни и смерти, проникла ли она в сущность вещей, заполнила ли она брешь между собою и религией, и философией? Отчего половина человечества изнывает в непосильном труде и рабство экономическое стало тяжелее бывшего рабства личного древних времен?

Ваш новый нарождающийся век должен быть веком духовного пробуждения, веком развития дремлющих сил души.

Иди за мной, я приподниму перед тобой завесу тайн, но буду приподнимать ее постепенно, чтобы свет истины не ослепил тебя.

Но не скрывай ревниво этот свет для себя одного.

Научи людей, что мир есть великое, стройное целое, часть которого — все они, научи их, что ничто не мертво, но все существующее, вплоть до камня, живет и проникнуто одним и тем же духовным началом.

Научи их, что все они братья, и что низшие существа — их меньшие братья.

Научи людей, что земля лишь ничтожная песчинка в космическом пространстве, и что звезды и планеты одной с ней солнечной системы таинственно влияют на ее обитателей.

Научи их превращению веществ одно в другое, изготовлению исцеляющих недугов лекарств.

Пусть все узнают, что перед нами вечность, как вечность позади нас, и что теперешнее наше существование — лишь миг в этой вечности, что ничто не умирает.

Убеди твоих ближних в том, что великие силы таятся в глубине их души, и что им стоит только прислушаться к их голосу, заглушенному заботами обыденной жизни, чтобы новый мир открылся перед ними.

Учи читать великую книгу Природы. Буди бьющуюся в
оковах тела душу, сущность которой тождественна с вели-
кой душой вселенной.

Если ты научишь этому, убедишь в этом хоть одного
человека — ты жил не даром.

И народится новая раса, изменятся условия жизни на
земле, откроются Великие Тайны, приподнимется темная
завеса, скрывающая будущее.

Человек делается истинным царем Природы. Ум и серд-
це его прояснятся... Жизнь станет светлой и радостной».

В экстазе я протянул руки к видению... Таинственный
покров на мгновение приподнялся с лица Изида, но преж-
де, чем я успел рассмотреть его божественные черты, виде-
ние исчезло.

Сар-Диноил

ФЕЯ ВОД

(Оккультная фантазия)

Была одна из тех чудных ночей, которые наблюдаются только на юге.

«В такую ночь печальная Дидона с веткой ивы стояла на пустынном берегу и милого той веткой манила вернуться в Карфаген».

Реверо сидел на песчаном берегу моря, облитом лунным светом. Кругом не было ни души. Несколько лодок лежало на берегу.

Реверо не мог заснуть в эту ночь. Блеск луны, теплый прозрачный воздух, тихий плеск моря — все это возбуждало его, гнало от него сон.

И хотя днем тоска охватывала его сильнее обыкновенного, но теперь он не скучал. Сотни мыслей теснились в его голове.

Он находил странное удовольствие в том, что не останавливал своего внимания ни на одной из них, давая каждой свободно заменяться новой, подобно причудливым фигурам калейдоскопа.

Это своеобразное парение мыслей можно назвать сном наяву: оно имеет все свойства сна. Образы, возникающие при этом в фантазии, так ярки, так свежи и легки, что заставляют забыть о внешнем мире. Ощущение необыкновенной, почти сказочной непринужденности и легкости мышления дополняет прелести этого занятия. Понятие о времени при этом совершенно теряется*.

Так случилось и с Реверо. Когда он очнулся, рассвет был уже недалек.

— Черт возьми, — вскричал молодой человек. — Луна уже вступила в последнюю треть своего пути по небу; я опять замечтался. Все равно, теперь мне уже не заснуть.

Сказав это, он встал и решительно направился к одной из лодок.

* Это именно то состояние, которое Мори назвал гипнагогическим, то есть промежуточным между сном и бодрствованием. Легче всего оно получается, если дремать, сидя в неудобной позе, чтобы не заснуть окончательно (*Прим. авт.*).

— Мегмет-Али, — закричал он, толкая ногой нечто завернутое в парус и имевшее форму человека. — Помоги мне спустить лодку.

Турок зашевелился и поднялся, не выражая удивления, не произнеся ни слова. Видимо, он уже привык к ночным прогулкам своего господина.

Общими усилиями лодка была спущена. Турок хотел вскочить в нее, но Реверо остановил его.

— Не надо, — сказал он, — я поеду один.

Произнеся эти слова, он вскочил в лодку и, оттолкнувшись от берега, стал поднимать парус. Ветер был довольно силен; парус надулся, и лодка скоро приобрела достаточный ход.

Мегмет-Али снова завернулся в свою парусину и растянулся на песке. Все было тихо.

Реверо был молод, но, несмотря на это, утомлен жизнью. Говорили, что у него расстроены нервы; однако, правильное было бы сказать, что его не интересовала обыденная серая жизнь, что он стремился к необыкновенному.

Жизнь большого города, где он находился, опротивела ему, ее однообразие тяготило его.

Лишенные всякой оригинальности физиономии с отпечатком утомления, пошлые, банальные разговоры, лихорадочная погоня за деньгами, пустое тщеславие, мелкие гадости и скука — вот черты этой жизни.

Оставались лишь мечты и природа, составляющая неисчерпаемый запас очаровательных впечатлений.

И вот, когда весна своим теплым дыханием оживила землю, Реверо потянуло на юг, туда, где можно найти место, еще не обезображенное людьми, где можно жить, не сообразуясь с их предрассудками.

Но, к сожалению, жизнь в среде современных цивилизованных людей так притупляет впечатлительность, что даже и сама природа со всеми ее красотами становится для нас иногда скучной.

Порой и Реверо скучал на месте своего уединенного пребывания, как это мы видели. Тогда он погружался в область фантазии и мечты.

Мы оставили его плывущим по морю. Ветер дул по направлению наискось от берега; поэтому волнения не было почти вовсе, и лодка быстро скользнула по слегка лишь неровной поверхности моря.

Отплыв несколько сажен от берега, молодой человек изменил курс и направил лодку вдоль берега. Куда он плыл? Он и сам не знал этого.

Ему доставляли удовольствие и соленые испарения моря, и мягкий свет месяца, колебавшийся в зеленых волнах, и то жуткое ощущение, которое являлось в моменты, когда накренившаяся лодка касалась бортом поверхности воды.

Лодка быстро плыла мимо берегов, которые из песчаных и низменных скоро превратились в скалистые; мелкий кустарник покрывал их. Скалы становились все выше и выше, громоздясь одна на другую. В одном месте они далеко выступали в море, образуя род мыса. Масса предательских подводных камней скрывалась под водой против этого мыса. Реверо хорошо знал это место, где его лодка однажды чуть не была пробита.

— Мыс Русалки, — вскричал он, бросая удивленный взгляд на скалы, спускавшиеся уступами к морю. — Однако, я далеко заехал.

Проплыв еще немного, Реверо направил лодку к берегу. Ветер внезапно ослабел, и парус беспомощно болтался на мачте. Спустив его, юноша взялся за весла и лодка вскоре ударилась носом о песок немого далее мыса, где можно было безопасно пристать. Реверо выскочил на берег и, наполовину втащив на него лодку, оставил ее в таком положении.

Местность, где высадился молодой человек, была весьма живописна. С запада далеко в море врезался скалистый мыс Русалки. Против места, где пристала лодка, скалы отступали от берега, образуя как бы зубчатую стену с причудливыми изгибами. К востоку скалы мало-помалу понижались неправильными уступами и наконец исчезали в туманной дали.

Ночь уже кончалась. Луна была близка к точке запада. Реверо сидел на песке у самой воды.

Тоска снова охватила его. Он думал о своей молодости, бесцельно проходившей среди обстановки, вызывавшей в нем лишь скуку и презрение. Ведь он не вечно будет молод. Теперь или никогда он должен испытать счастье, о котором каждый, если есть в его душе хоть ничтожная искра поэзии, мечтает хотя бы раз к жизни. Это счастье — блаженство разделенной любви. Все те, в кругу которых он губил свою юность, все эти «милые обманщицы» не могли заставить его полюбить их.

СКОЛЬКО раз со вздохом сожаления он спрашивал себя, не любит ли он; сколько раз он искренне верил, что действительно любил, — напрасно: он обманывался.

Мир со своей пошлостью и обыденностью налагал печать прозы на всех женщин, встречавшихся Реверо, лишая их женственности, и он не мог любить их.

Так думал молодой человек, склонив голову на грудь. Луна заходила, рассвет был близок.

Реверо поднял голову и бросил рассеянный взгляд на окружающие его скалы. Вид их заставил его вспомнить о легенде, передававшейся из уст в уста в народе относительно этих мест.

«Однажды молодой рыбак высадился на берег близ мыса и развел костер, чтобы согреть свои промокшие члены. Свет костра проник в морские глубины и потревожил покой русалки, обитавшей в них. Окруженная своими подругами, она выплыла на поверхность моря, и рыбак, очарованный чудным видением, поддался ее коварству и хитрости. Она манила его, сулила ему счастье; он безрассудно последовал за ней и погиб в море, увлеченный в пучину».

«Какое наивное сказание, — подумал Реверо, — и, однако, сколько в нем поэзии! А что, если бы русалка могла действительно явиться со дна морского? Я думаю, что я мог бы полюбить ее, и за эту любовь стоило бы пожертвовать жизнью. Разве не платили жизнью за одну ночь Клеопатры?»

Этот берег пуст теперь, он подобен островку Калипсо без нимфы. О, фея вод, явись же! Я жду тебя с таким же нетерпением, с каким Язон ждал Медею с ее волшебной мазью».

Что мне все женщины, которых и встречал: лучшие из них не стоят даже подошвы одной из твоих сандалий!»

Так он говорил, полушутя, полусерьезно.

Но что это? Не грезил ли он? Ему показалось, будто поверхность моря внезапно вспенилась невдалеке от берега, Он протер себе глаза. Нет, он не спал.

Между тем, волнение усилилось, и вот из глубины воды, окруженная пеной, явилась целая вереница фигур, нежных и стройных. Странные звуки поразили ухо Реверо. То было пение сирен, полное чарующей мелодии и гармонии.

Они пели: «Мы свободны, как морская волна, пробегающая наше царство. Наша жизнь привольна; в ней нет ни тревог, ни забот. Мы вольны любить, кого желаем, и наша страсть не знает стеснений.

Днем блеск солнца проникает на дно сквозь толщу воды; его лучи жгут наше нежное тело, и мы прячемся, чтобы отдохнуть на ложе из мягкого песка и водорослей. Когда же кроткая Селена, богиня ночи, заронит свой луч в наши пределы, мы выплываем на поверхность, чтобы порезвиться и насладиться ее нежным сиянием».

Так пели сирены при последних лучах заходившей луны и снова погружались в море одна за другою.

Реверо хотел броситься за ними, удержать их, но одна из них не уплыла — то была самая прекрасная из всех. Она медленно приближалась к берегу.

Как очарованный, следил за ней Реверо. Вот она подплыла совсем близко. Ее ноги уже касаются прибрежного песка.

Чудное неземное существо! Она была так стройна, как прибрежный тростник; так бела и прозрачна, точно состояла из пены волнующегося моря.

Черты ее лица были тонки и правильны, но в них было что-то странное, вполне чуждое нам.

Густые косы с зеленоватым отливом струились по плечам обитательницы моря.

И, странное дело, несмотря на привычку к более плотной среде, она непринужденно и легко шла по песку, едва оставляя на его поверхности следы своих ножек, обутых в

легкие сандалии.

Сеть из морских водорослей живописно облегла стройное тело ундины, не похищая от взоров ее красоты. Диадема из кораллов и пояс из морских раковин дополняли костюм.

Реверо бросился к ней.

— Кто ты, — вскричал он, — о, чудное существо, чей прелестный образ так не похож на все виденные мною?

— Я Дельфида, русалка, — отвечала она с прелестной улыбкой, протягивая руки к юноше. — Ты звал меня, изнывая от тоски, и я явилась на твой призыв.

— Ты не замучаешь меня, не увлечешь с собою в море? Впрочем, я не дорожу жизнью: она презренна; мир опротивел мне. За один миг любви такой женщины, как ты, я готов умереть. Разве любовь не величайшее наслаждение, доступное человеку?

— Успокойся, — сказала Дельфида со смехом, — я не причиню тебе вреда. Я знаю очень хорошо, что среда, в которой мы живем, губительно действует на вас, людей, тогда как мы можем безнаказанно выходить на землю.

За мою любовь я не возьму у тебя жизни. Ты самый прекрасный из всех, виденных мною смертных. Я люблю тебя со всею страстью русалки, не знающей ни притворства, ни условных приличий.

— Русалки, — прервал Реверо. — Но ведь вы, живущие в холодной стихии, должны быть так же холодны, как она.

— Глупый мальчик! Как ты жестоко ошибаешься!

Ваши женщины камень в сравнении с нами. Их любовь подобна тлеющему углю, никогда не загорающемуся ярко, наша же страсть вспыхивает, как зарево все пожирающего пожара.

— Так это правда, — вскричал Реверо, бросаясь к ней. — Ты меня любишь, а я думал, что ундины всегда желают только мучить людей, что их сердцу недоступна не только любовь, но и жалость

Я смотрел равнодушно на всех скучных и пошлых женщин, окружавших меня. Но ты, дивное создание, ты пробудила во мне пылкую любовь. В ней отражается все мое

стремление к необычайному, все презрение к обыденному миру. О, будь же моей!

С этими словами Реверо страстно обхватил руками упругое тело ундины и бешено сжал ее в своих объятиях; его губы жадно прильнули к ее устам; близость этой женщины, теплота ее тела опьяняли его, голова его кружилась; способность рассуждать покинула и все силы его организма слились в одном стремлении обладать очаровательным существом, трепетавшим у него на груди.

Дельфида, с полужакрытыми зелеными глазами, едва видными из-под длинных шелковистых ресниц, с распустившимися волосами, одевавшими ее подобно мантии, в какой-то сладостной истоме склонила голову на грудь Реверо.

Но вдруг она, как змея, выскользнула из объятий молодого человека и насмешливо закричала:

— Куда спешишь ты, безумный юноша?

Вне себя он бросился за нею, но ундины устремилась к морю.

— Дельфида, — простонал Реверо в отчаянии, — ты обманула меня!

— Нет, но ты должен меня поймать, — отвечала она со смехом, обдавая его пеной.

Завязалась борьба. Реверо был ловок и силен, но русалка была недосыгаема, когда находилась в своей стихии. Наконец, юноше удалось схватить ее.

— Ты не убежишь от меня больше; теперь ты моя, коварное создание!

Говоря так, Реверо вынес ее на берег.

— О, нет, не здесь, — прошептала русалка в изнеможении. — Неси меня в пещеру, вход в которую чернеет за этой скалой.

Дельфида была прелестна в своем изнеможении и страсти. Непрочная одежда из морских водорослей распалась во время борьбы; ничто более не скрывало от глаз стройного тела ундины.

.

Наступило уже утро, когда Дельфида и Реверо вышли из пещеры.

— Милая Дельфида, — сказал юноша, садясь на один из прибрежных камней рядом с своей подругой, — я люблю тебя так сильно, как нельзя любить ни одну земную женщину.

Посмотри, моя фея, как светлеет восток и как догорает блеск звезд Ориона. Один только Сириус еще ярко блестит, посылая к нам свои синеватые лучи. Но и он, наиболее яркая из звезд, скоро скроется в лучах солнца. Заря уже появляется.

— Да, — задумчиво отвечала сирена, — день близок; нам надо расстаться.

Не горюй же обо мне, бедный мой мальчик: ведь и я скоро стала бы для тебя обыкновенной, прискучила бы тебе, если б даже ты не разочаровался во мне преждевременно. Пусть же покой и забвение сойдут в твою встревоженную и израненную душу.

Говоря так, Дельфида нежно прильнула к Реверо и запела тихую грустную песню. Мотив ее был трогателен и нежен, слова полны поэзии и изящества. Странной тоской и успокоением веяло от этой песни; ее звуки очаровывали Реверо, веки его отяжелели, сознание его покидало...

Смутно, точно в тумане, видел он, как первые лучи восходившего солнца скользили по зелено-синей поверхности моря, затем все смешалось и спуталось в каком-то беспорядочном хаосе...

Когда Реверо очнулся, солнце стояло уже высоко над горизонтом. Он едва был в силах подняться и сделать несколько шагов к лежавшей на берегу лодке. Кругом было пусто.

Что же было с ним? Грезил ли он? Реверо не мог ответить на этот вопрос. Он знал только одно — что в его душе было отчаяние.

Аркадий Пресс

ФЕИ СОЛНЕЧНОГО ЛУЧА

Фантазия

Утомленный работой, я откинулся на спинку кресла. Книга выпала у меня из рук, и я задумался.

«К чему создан человек? Чего он ждет, на что надеется? К чему страдает он и мыслит?»

Полоса солнечного света упала к моим ногам. Целый мир тонких пылинок двигался в струйках воздуха. Одни — как ракеты взвивались вверх, другие — кружились попарно, как бабочки в аромате полевых цветов, третьи — тихо опускались, словно сонные рыбки на дно реки.

Мне в этих пылинках мерещились чудные женщины, летающие в пространстве. Они то кутались в прозрачные порывала, то подбрасывали их над головой в виде паруса, обнажая свои пластичные формы, и эти феи солнечного луча с золотыми волосами и крыльями играли пылинками, бросая и ловя их.

Я вгляделся в одну из них, и мое воображение нарисовало мне целую картину.

Я увидел мраморную террасу на берегу моря. Голубоватые волны ласкали ее ступени, и тень пальм защищала террасу от солнца. У перил стояла стройная женщина и, сверкала золотыми запястьями, перебирала струны арфы. Она читала стихи... Юные девушки внимали ей, глядя задумчивым взором, и даже птицы перестали петь, очарованные ее песней... Потом я увидел комнату... Среди колонн на возвышении сидел старец. Вокруг него на скамьях расположились отроки и записывали на навощенных таблицах его речи. Я прочитал: «Законы Солона»... Я видел пышный парк с ютившимися в зелени статуями богов. Мягкий вечер сошел на землю и серебряный серп луны уже блистал на небе. Толпа юношей окружала высокого мужа. Очи его сверкали вдохновением и он, видимо, поверял ученикам сокровенные тайны своей души и мира...

Вдруг пылинка исчезла.

Я вгляделся в другую.

Я видел поле. Солнце на закате освещало пахаря с его волами. Он мирно ступал за плугом, когда подошли к нему одетые в тоги люди со свитой, вооруженной секирами. Они, по-видимому, просили его пойти за ними, так как он, зай-

дя в избушку и попрощавшись с женою, ушел в город, а свита ликторов последовала за ним... Я видел этого пахаря во главе громадного войска, возвращавшимся победителем после битвы. Я снова видел поле и снова пахаря с волами. Он сложил с себя власть и вернулся к своему плугу... Я видел улицу в Риме. Рано утром народ толпится у дверей небольшого дома. Все шумят и размахивают руками, а хозяин в тоге, спокойно слушая, дает советы каждому. Это — знаменитый юрист, решения которого имеют чуть не силу закона... Я видел осаду города. Вдали, в пустыне, боевые слоны поднимают облако пыли. С моря матросы кораблей осыпают войска тучами стрел. Со стен льют горячую воду и бросают камни, поджигают деревянные башни. Но войска стойко пробираются вперед, выбивая таранами стену, и вскоре на разрушенных площадках африканской крепости блещут значки с надписью: **SPQR**.

Но и эта пылинка мелькнула, как падучая звездочка.

Я взгляделся в третью.

Я видел арену, окруженную стеной, на которой рыцари и дамы любят на поединок закованных в железо воинов. Пыль вьется из-под копыт их боевых коней. Перья на шлемах развеваются по ветру и оружие блещет на солнце. Едва кончился турнир, победитель, склонив щит с гордым девизом, получает цветок от дамы сердца... Я видел пир в зубчатом замке, где за королевским столом менестрель воспевал храбрость героев и король, поднося ему кубок вина, дарил его кубком и лаской... Я видел монаха в келии с пыльными книгами. Он сидел над старинною рукописью, и мерцающий огонек лампы отбрасывал тень на голую стену... Монах думал... и тихо было вокруг — даже тополя монастырского парка как будто застыли среди ночного безмолвия, словно боялись нарушить думу монаха...

Исчезла и эта пылинка.

Когда я взгляделся в другую, я увидел мастерскую художника. Молодые итальянцы, с палитрами в руках, работали по углам, среди обнаженных натурщиц, улыбавшихся лукавой улыбкой.. Я видел их ослепительные зубы, и — мне чудилось — я слышал их здоровый смех, волновавший чувст-

ва... Я видел сад, залитый лунным светом. На балконе замка, усыпанного розами, стояла женщина в пышном белом платье. Она прижимала к груди свою тонкую руку с кружевным платком, словно желала остановить биение сердца. Она ждала своего возлюбленного. А юноша, в голубом берете, шел по аллеям сада и пел сонеты Петрарки. Я видел океан с зеленоватой далью. На корабле у мачты стоит моряк с неподвижным взором, а вокруг него толпа матросов подступает с угрозами. «Где земля?» — казалось, кричат они. Моряк бесстрашно указывает вперед: «Земля там!» И вокруг корабля уже виднеются плывущие стволы деревьев, растения... появились птицы, показалась земля...

И эта пылинка умчалась, как в вихре.

Я видел еще собрание, на котором читалась декларация прав человека; я видел офицера без шляпы, со знаменем в руке, увлекавшего за собой войско на узкий мост под выстрелы неприятеля, я видел этого офицера на верблюде под пирамидами, я видел его на троне, окруженном королями, — я видел еще много пылинок, но они пропадали одна за другою...

«Неужели наша жизнь, — думалось мне, — один прах и пыль? Но почему я вижу эти пылинки? Почему я помню и думаю о них? Почему я волнуюсь их страстями, и сердце мое любит и страдает с ними?»

Едва произнес я эти слова, как одна из фей, игравших пылинками, опустилась к моему уху и, витая в воздухе, как золотая бабочка, таинственно шепнула мне:

— Поэзия.

Фея взглянула на меня глубоким, нежным взором, и этот взор наполнил мою душу светом и любовью.

Ольга Форш

ПЕРЕД ВРАТАМИ

Илл. А. Яцкевича

К Сидящему на престоле два лучезарных подвели человека, а архангел, указывая огненным мечом на его сердце, произнес:

— Вот еще одни принесший в целости Печать Твою.

— Уготовь ему место, — сказал Сидящий на престоле архангелу с мечом, а прочим лучезарным сделал знак подойти, и они, окружив человека своими белыми крыльями, отделили его от мрака, из которого он пришел.

Человек, разбитый последними усилиями освобождения, стоял, опустив голову.

Говори, как жил и почему не затемнил Печати Отца? — спросил Ангел.

— В этом нет моей заслуги, — проговорил человек. — Я не затемнил твоей Печати, Отец, только потому, что совершеннее знака не встретил па пути своем, ничего ярче, чем мог бы ее заменить. И стереть ее я не пытался: ведь только благодаря ей — царской Печати — я помнил, что я твой сын, сын Царя, так как наследства Твоего на земле я был лишен на всю свою жизнь.

— Что говорит он, мы не понимаем?! — сказали лучезарные.

— Вы, от века чистые, знающие любовь, — слушайте о страдании, — сказал лучезарным Сидящий на престоле и, взяв человека за руку, поставил его прямо перед собой.

— Говори все, — тихо произнес Он.

— Я был еще очень маленьким ребенком, — начал человек, — когда на всем и везде увидал только одну дивную Печать Твою. Зло было чуждо мне, и даже цветка я не мог сорвать, потому что он был прекрасен.

Со светлой улыбкой доверия подошел я к саду радостного детства, где были матери с нежными руками.

Твоя Печать горела на ограде, и ровные утренние лучи Твоего солнца ласкали зеленые лужайки с цветами, где дети весело играли в мяч и спускали кораблики в смеющиеся ручьи.

Я сверил Печать на ограде с Печатью в сердце моем, линии все совпали, и, не сомневаясь в своем праве, я рукой сына взялся за дверь в сад Отца моего.

Но сторож сада радостного детства, Твой слуга, подошел ко мне со свитком и сказал: тебе здесь нет места, ты не записан.

— Но ведь это сад моего Отца, где же мне быть, как не у него? — удивился я. — И почему сад полон не Его детьми, а чужими... Я не вижу у них в сердце моей Печати. Смотри, они рвут цветы и убивают птиц для забавы. Отец, верно, не знает об этом, а то бы он выгнал их из сада.

— Поверь, Отец твой знает, для чего он назвал полный сад гостей, так что тебе, родному сыну, пришлось остаться у ограды. Но ты помнишь обязанности любящего сына? С радостью должен ты уступить свое место приглашенным.

— Да будет воля Отца,— покорно сказал я, ребенок, и остался все мое детство стоять за оградой сада безмятежной радости.

Скоро одежда, в которой я пришел, износилась, и не было руки, чтобы соткать мне новую. Не защищенный ничем от холода, я скоро промерз до самой глубины моего детского сердца.

Прижавшись к оградке, я жадно следил за всем, что происходило в саду. Когда рука нежной матери ласкала равнодушного сына, я мысленно подставлял свою щеку, и так сильно было мое желание тепла, что ветер приносил мне теплоту руки чужой матери.

Часто, лишенный игрушек, голодный, одной силой своего воображения я все имел через отверстие ограды; я имел даже больше, чем дети, позванные в сад.

Руку матери, которую они докучливо отталкивали, чтобы бежать к играм, я чувствовал весь день на своей щеке, что бы я ни делал вместе с ними...

Но иной раз, Отец, я забывал обязанности любящего сына... Когда холод за оградой бывал так нестерпим, что морозил даже мое воображение, когда мои детские ноги ныли от жесткого камня и мне хотелось хоть какой-нибудь норы, чтобы укрыться, я начинал ненавидеть гостей, занявших мое место.

Я завидовал им, которые имели все и ничего не ценили.

И я падал у ограды на холодные камни, и был, как маленький больной зверь...

Тогда, вызванные моим отчаянием, приходили темные, злые духи; они шептали мне в уши странные слова:

«Отец твой не добрый, — говорили они, — если он так обидел тебя: для последнего из гостей нашел место, а ты за оградой.

Разломай ограду, ворвись насильно, мы поможем тебе».

И у меня были соблазны, Отец.

— Что надо сделать для этого? — спросил я.

— Сорви Печать с сердца, растопчи ее своими ногами и скажи: у меня больше нет Отца.

— Что же будет в сердце моем вместо Печати?

— Ничего... — смеялись они. — Но зато ты войдешь в сад и оборвешь все цветы, на которые любовались чужие, а их ты с позором выгонишь вон. Подумай, какое торжество...

— Нет, нет, я не хочу быть заодно с ворами и разбойниками, я царский сын! — кричал я в ужасе. — И ты помнишь, Отец, как я, став на колени, в эти минуты соблазна просил Тебя лишь о том, чтобы не сорвать мне Печати твоей, не остаться с пустым сердцем...

— Дайте ему покрывало вечной детской радости, — сказал Сидящий на престоле, и лучезарные облекли человека в одежды, равные их одежам.

— Продолжай дальше о своей жизни, — приказал Ангел.

— Настала для меня юность, и неясное томление и слезы... и, повинаясь неодолимому влечению, пошел я от сада безмятежного детства к саду чистой любви, на котором тоже была Печать Твоя. Я посмотрел на нее и, сравнив с Печатью своего сердца, нашел и в нем те же чистые, прекрасные линии.

В священном трепете я понял тайну соединения двух в одно, я услышал совершеннейший аккорд земной музыки. Горячая волна радостного ожидания наполнила мою душу, растопила весь лед на замерзшем сердце моего детства, и оно, большое и сильное, забилося так, что я ничего не

слышал из того, что говорил мне лучезарный сторож.

Я увидел ее. Ее, до времен от меня отделенную и до времен мне принадлежащую, единственную, дополняющую меня форму, с которой я буду не дробь, а целое, полное число.

Она только что выбежала из темной аллеи на залитую солнцем лужайку и остановилась... Ее детски раскрытые, незатемненные глаза заблестели первыми слезами восторга. Она внезапно поняла всю красоту созданного Тобой и, прижав руки к сердцу, воскликнула:

— Господи, как хорошо!

— Как хорошо, — ответил ей я, и, встретясь глазами, мы оба разом двинулись друг к другу с протянутыми руками, с первой улыбкой юности, с нетронутым сердцем, полным аромата любви, полным бесконечного богатства чувств.

Два чистых звука понеслись друг другу навстречу.

Две души раскрылись сами собой, от одной полноты своей, свободно, прекрасно, как все, что находится под законом совершенной гармонии.

Отец, отчего не дано им было слиться в одну общую, большую душу? Тебе ведь нужны числа законченные, одним было бы больше.

Простите, лучезарные, что место Света омрачаю стоном земной муки, но подумайте, что почувствовал я, когда мои восторженные руки больно ударились о чугунную ограду, а сторож сада чистой любви, Твой бесстрастный слуга, заслонил ту, которую я только что увидел.

— Сад полон гостей, и тебе, родному сыну, надлежит уступить им свое место.

— Она моя от века, — закричал я. — У нее в сердце та же Печать, что у меня.

— Да, ты не ошибся, — ответил сторож, — но ей надлежит на этот раз при свете своей Печати восстановить искаженные знаки в другом сердце.

— Зачем же мы встретились и узнали друг друга, если это напрасно? — с горечью возразил я.

— Таков закон любви на земле, — отвечал бесстрастный Ангел. — Всегда искать и, найдя, не получить. Но уйди



от ворот, я уже сказал, что не должен впускать тебя.

И мой совет: не следи за ней из-за ограды; поверь, кроме большого страдания, ты ничего не получишь.

Но в жестоких словах Ангела заключалась надежда увидеть ее, а страдания больше того, которое я испытал мгновение назад, уже не могло быть.

Ведь для того, в чьем сердце не искажена Печать, нет времени. Постигание его мгновенно.

Когда весь свет моей души потянулся к ее свету и между нами опустилась железная рука Судьбы, я сразу пережил всю глубину моего страдания, и теперь мне оставалось лишь выпить его в назначенных мне днях.

Я втиснулся с такой силой в узкий промежуток, что железные прутья глубоко врезались в мое тело и голову сдавило мне, как в тисках.

Я не помещался весь, и мне пришлось низко нагнуть голову и скорчить тело, как в судороге, а сердце свое я сдавил обеими руками, а то оно так громко стучало, что сторож сада опять подошел ко мне и сказал:

— Если упорствуешь на своем и хочешь быть у ограды — уйми свое сердце. Здесь его не должно быть слышно.

И вот, искалеченный, лишенный последней свободы раба и нищего — возможности двигаться и дышать, задерживающий биение своего сердца и быстроту крови в своих жилах, следил я за той, которая была предвечно моя, к которой тянулся весь свет моей души.

Я видел недоумение и первое страдание на ее лице, когда сторож сада подвел к ней другого, чем был я. Но она покорно взяла его за руку, а я с новой силой сжал свое сердце и уже не выпускал его из помертвевших рук.

Сторож сада был прав. Я не должен был следить за ней из-за ограды. В неудовлетворенной любви нет мгновения, где бы страдание не наполняло сердце до последних краев.

Но уйти я не был в силах. Я следил за каждым шагом той, к которой тянулся весь свет моей души. Я слышал все ее слова, угадывал все ее мысли, и каждую минуту я знал, что нужно сказать ей в ответ.

Она чувствовала это и часто с ожиданием поворачивалась к шедшему с ней за руку, ожидая чуда, что он окажется мною. Но он никогда не говорил нужного слова, и я видел, как ее милое лицо все больше обволакивалось грустью.

Но самое ужасное все-таки наступало, когда она исчезала надолго в темной аллее и последнее пятно ее белого покрывала тонуло во мраке.

Тогда на меня со всех сторон накидывались голодные страсти, хищные звери любви.

Ни одной звезды не сияло для меня в темном небе, а весь свет моей души она уносила с собой. Какой же силой было мне сопротивляться врагам?!

И я падал, лучезарные...

Но в прочный союз с темными страстями я не вступал, так как для этого надлежало стереть Печать Твою, а я знал, что не вынесет этого душа моя. Я знал это по разъедающим сердце слезам, которыми я мучительно смывал грязь даже минутного падения.

Человек умолк и ниже опустил голову, а Сидящий на престоле встал и, взяв лилию совершенной чистоты, равную лилиям ангелов, не знавших позора падения, вложил ее Сам в руку человека.

— Что же дальше в твоей жизни? — спросил Ангел.

— Дальше уже нет страдания, лишь одно горькое недоумение, — сказал человек.

После того, как однажды она скрылась в темной аллее, чтобы больше никогда не появляться на зеленом луту, освещенная солнцем, мое сердце так устало от тщетного ожидания, что почти перестало биться.

Мне уже нечего было бояться, что его безумный стук ворвется в чужие жизни, и я выпустил его на волю.

Освобожденными теперь руками я оторвался от ограды чистой любви, оставляя на железных прутьях ей мою окривевшую юность, и всем телом отвернулся от нее в иную сторону.

И вдруг я впервые заметил идущих издали, от сада детской радости к саду чистой любви, моих родных братьев, Твоих детей, с такой же царской Печатью, что была на мне.

Но они были настолько слабее меня и настолько уже устали, стоя за оградой радостного детства, где они, как и я, должны были уступить свое место гостям, что я понял: если их не поддержать, они уступят темным силам и откажутся от Печати Твоей.

Тут в первый раз пожалел я, что не послушался ангела и не ушел от ограды, полюбив свое бесполезное страдание.

Я не мог, с искалеченными ногами, бежать навстречу моим слабеющим братьям.

Я хотел кричать им, но я так привык сдерживать даже дыхание, чтобы сторож сада чистой любви не прогнал меня от ограды, что ни одного звука не вылетело из моего горла.

Жалость, чувство сильнее всех испытанных мною мук, охватила меня. Душа моя наполнилась одним стремлением прояснить зрение моих слабеющих братьев, которые уже остановились, очарованные радугой соблазнов.

Я чувствовал: они сомневаются, точно ли простые линии Царской Печати совершеннее ее увлекательной сложности.

Тогда я вырвал один из железных прутьев ограды, на которой осталась моя окровавленная юность, и торопился писать на камнях, чтобы слабеющие братья успели прочесть, пока совсем не упадут.

Я все смиренно рассказал им про себя. Я не укрыл ни одной своей слабости, ни одного падения, потому что иначе они могли подумать, что я не знал соблазнов, и не поверили бы тому, что я им говорил о Твоей Печати.

А я нашел слова, Отец, чтобы прославить ее достойно...

Я чувствовал это потому, что из моей души, по мере того, как я писал, уходил весь яд сомнений и сожаление о том, что я не послушался темных сил и не ворвался за ограду сада.

Наконец я кончил и, думая теперь только о них, моих слабеющих братьях, я испугался, что они в глубоком мраке, который царит везде за оградой, не заметят написанного мною.

Вне себя от грызущего беспокойства за их участь, не отдавая себе отчета в том, что я делаю, я вынул Твою Печать из своего сердца и закрепил ею написанное на камне...

Слабеющие братья увидели во тьме камень с моей Печатью и устремились к нему.

Дивная радость охватила меня: я сейчас увижу, как новая сила будет вливаться в их потускневшие души, как невыразимой благодарностью засветятся их глаза, обращенные ко мне.

Я ожидал увидеть плоды моей борьбы с темными силами, я должен был понять, наконец, смысл моих страданий...

Отец, я уже благословлял умиляющую красоту Твоих слов:

«Если пшеничное зерно, падши на землю, не умрет, то останется одно, а если умрет, то принесет много плода».

Зачем Твой ангел смерти взял меня за руку и привел сюда?

Зачем взял он меня за руку слишком рано?!..

Сердце мое Опять полно неосушенных слез.

Губы мои горят от неотданных поцелуев.

А сознание мое помрачилось ужасом бессмысленной жертвы: камням, одним камням отдал я сокровище моей души...

К чему мне покрывало вечной детской радости, на что лилии совершенной чистоты?

Укажи мне, взамен небесных благ, только смысл моих страданий!

— Как это ты так мало веришь Отцу? — с укором произнес Ангел.

— Не знающий страдания, можешь ли ты судить Человека... — остановил Ангела Сидящий на престоле.

— Откройте врата, — приказал Он.

Лучезарные открыли врата к вечному свету, столь ослепительному, что одни облаченные в одежды из рук самого Царя Духа могли в нем пребывать.

— Войди, возлюбленный сын мой, — сказал Царь, взяв человека за руку.

Человек не двигался.

— Где они, мои слабеющие братья? — прошептал он. — Без них я не приму блаженства.

— Кто он, что не повинуется Отцу? — заговорили ангелы и в страхе закрылись белыми крыльями.

— Он из тех, которые до конца доводят один подвиг любви. Все остальное приложится ему. Вы, приведенные сюда его любовью, помогите его неверию, — сказал Царь.

Из вечного света появились братья, за которых человек положил свою душу.

Он рванулся им навстречу и незаметно перешел в вечность.

Ольга Форш

ИНДИЙСКИЙ МУДРЕЦ

Илл. А. Яцкевича



В дремучем лесу, сквозь изумрудные сети лиан, луна чуть серебрит корни огромных деревьев.

Спят, напрыгавшись, обезьяны. Перестали порхать, как живые цветы, попугаи, подвернули зеленые головы под красные крылья — утомонились.

Слон давно уж направил тяжелые шаги к своему дому.

Полосатый тигренок похрапывает, как сытый домашний кот.

На больших серых камнях, близко одни от другого, сидят люди, скрестивши поджатые ноги.

Они так исхудали, что, кажется, темная кожа прикрывает одни заостренные кости. Уже много лет сидят они неподвижно, воздев к небу руки, выкликая бескровными губами: «Брама, о Брама, великий...»

Десять тысяч раз в день положили они себе называть имя главного бога и только однажды, рано утром, опускать помертвевшие руки, чтобы проглотить тридцать зерен варе-

ного риса и сделать глоток из долбленной маленькой тыквы.

Шаловливые обезьянки то и дело укатывали желтые тыквы, но люди соседней деревни, почитая отшельников за святых, наперерыв приносили им новые.

Птицы не пугались поднятых рук и, случалось, свивали гнездо в сведенной, как чаша, ладони. И тот, кто сменял воду, клал уже сам тридцать зерен пустынноку в рот.

Все заботы о старцах жители поделили между собой и, как дети, нередко ссорились, чей отшельник сидит дольше на камне, кто вывел больше птенцов на иссохших ладонях...

Но как ни чтили в деревне худых старцев, никому не пришло бы на мысль бежать к ним со своим горем, смущать их покой.

Старцы сидели так неподвижно, что люди забыли считать их живыми.

И только одна, обезумевшая Суджита, посмела покрыть диким криком мерный шепот молитв.

Но ведь с ней приключилось такое, что она уже не видела блеска прекрасного солнца, а всех уверяла, будто небо сплошь заткано черной, густой паутиной.

Суджита на зеленом дворе около дома погружала в жбаны с горячею синею краской ею же тканное полотно, а единственный мальчик ее играл у забора под цветущим кустом.

Обернувшись с ответной улыбкой на веселый смех сына, Суджита вдруг увидела, как, словно живая, вытянулась одна из темных ветвей, чуть коснулась, поцеловала мальчика в лоб, и он, еще улыбаясь, упал без движения.

— Он ужален кустарной змеей, а ее яд страшней яда кобры, — шептали соседи, сбежавшись на крики Суджиты.

Долго мать согревала горячими губами синие губки ребенка: не хотело понять ее сердце то, что видели глаза.

— Я пойду к старцам, — прояснилась надеждой Суджита, — они ведь святые, святые все могут...

Они мне разбудят малютку!

— Безумная! — закричали соседи, — к старцам близок сам Брама, их тревожить нельзя!

Но Суджита, как дикая серпа, побежала к священному месту с окоченелым малюткой в руках.

Она не спугнула в своем легком беге даже чутких, словно драгоценные камни, сверкающих бабочек.

Только маленькие обезьянки закрылись морщинистыми, как у старых женщин, руками, защищаясь от холодного ветра ее покрывала.

Но вот и большие деревья... Кольцами удава извиваются черные корни...

Луна уже совсем пробралась сквозь лианы, и дрожат серебром листья манговых пальм.

Зелеными изваяниями выделяются старцы в трепетном свете луны.

Все до последнего видны ребра, чуть раздуваются и редком дыханье.

— Брами... О Брама! Великий... — шевелятся блеклые губы.

— Отцы, помогите! — зарыдала Суджита.

Ни один не прервал свой размеренный шепот, ни один не поднял век, прозрачных, как перепонки летучих мышей.

— Вы только взгляните, как прекрасен мой спящий малютка! Отцы, опустите воздетые руки на черные кудри уснувшего, попросите великого Браму его разбудить!

Но не дрогнули воздетые к небу, как черные сучья, сведенные руки.

— Отцы! Вы не люди! — закричала Суджита. — Вы даже не звери... И тигр пожалел бы меня, растерзав... освободил бы от страдания. Вы хуже деревьев: деревья хлестали меня по плечам, отвлекали от мысли, съедающей сердце... А вы! Даже не подняли век...

Вы просто камни, как те, на которых сидите.

И, уже не надеясь на чудо, Суджита вернулась в деревню и сложила погребальный костер для малютки.

С последними струйками синего дыма навсегда вышла она из опустелого дома.

Шла она долго, шла она много дней, а от своего горя уйти не могла.

Оно шло с ней рядом, не отставало.

Изнемогла Суджита, села у пыльной дороги, закрыв глаза, не хотела вовсе смотреть. Все ей делало больно. Лучи восходящего солнца разбегались по небу, словно сверлящие душу мечи.

Она вся дрожала, как заблудившийся путник во время дождей: весь холод из тела малютки перешел в ее сердце.

.

— Женщина, зачем так скорбеть? — сказал голос нежный, как звон тетивы.

— Женщина, разве уже все перестали петь птицы?!

— Разве все губы детей без улыбки?!

Пред Суджитой стоял человек в желтой одежде странствующего монаха — биншу.

Его глаза посмотрели ей прямо в сердце с такой теплой лаской, что распалась на нем ледяная кора и росой подступила к глазам.

Прорываясь, уносились слезами черная паутина, заткавшая небо, и, словно умытое, улыбнулось вновь солнце.

— Дорогая сестра, я могу облегчить твое горе, — продолжал незнакомец, — обойди двадцать дворов в той деревне, что видна за зеленой горой, и спрашивай везде только одно:

«Дайте мне несколько зерен горчицы!» И если найдешь такой дом, где никого не коснулся мечом бог смерти Шива, то принеси мне сюда эти зерна.

Быстро, забыв утомленье, вскочила женщина, побежала в деревню, еще быстрее вернулась.

— Такого двора не нашлось, — сказала она, — горчицу давали охотно, но горьких утрат у всех было больше, чем маленьких зерен на моей ладони.

— Заметила ль ты, сестра, как одинаково у всех людей дрожат губы, когда они вспоминают о горе, как одинаково, словно незрячие, потухают живые зрачки?

— Я думала только о том, чтобы облегчить свое горе, зачем мне было смотреть на чужих? — удивилась Суджита.

Человек в желтой одежде с тихой грустью поник головой и, помолчав, промолвил:

— Женщина, ты очень плохо искала, пойди еще раз.

— На ногах моих чуть держатся сандалии, посмотри, как распухли... — сказала Суджита; но, так как сердце ее все-таки болело больше, чем тело, она снова пошла, но, вернувшись, без слов повалилась на землю.

— Много ль обошла ты домов? — нагнулся над ней человек.

— О, я не вынесла больше пяти, — простила женщина. — Опять везде охотно давали горчицу, но как только я спрашивала: «Не умер ли кто, близкий сердцу?» — они столько боли вплетали в слова, их слезы так выедали мне душу, что мне показалось — они говорили о моей же утрате. Ах, господин, зачем научил ты меня смотреть на лица людей?!

— Сестра моя милая, — еще раз повторил он, — сейчас ты искала гораздо лучше, собери свои силы для третьего раза, поверь мне — уже близко зерно, что поглотит навек твое горе.

Безмолвно, как бегущие тени деревьев, вновь скрылась Суджита за зеленой горой.

Вот уж солнце пошло умыться в священную реку, утомившись само своим жаром.

Вот уж остыл накалившийся за день песок, и человек в желтой одежде порадовался, что женщина снимет сандалии и ей будет легче ступать по земле. Но Суджита не шла.

И только когда выбежали па небо первые, самые любопытные звезды, она показалась, вся светлая, из-за зеленой горы.

Незнакомец поднялся и сам, лучезарный, пошел ей навстречу.

— Я не пошла дальше первого дома, — быстро заговорила Суджита. — Там, на полу, я увидела калеку-ребенка, отец его пьяный валялся на улице, а мать несколько дней как сожгли. Я все время возилась с ребенком. О, если б ты

видел, как он был грязен.

— А зерно горчицы ты, конечно, спросила? — улыбнулся, как добрый отец, незнакомец.

— Подожди... ребенка надо было мыть... но вода не согрета, корыто одно, в нем едят свиньи... я побежала к соседям...

— Ты, конечно, спросила о зернах?

— Представь, я забыла... Я прибежала просить у тебя, не дашь ли ты что для ребенка? В деревне все так бедны, не нашлось даже тряпки, а ты такой добрый.

Блаженный Будда, так как это был он, самый мудрый из всех мудрецов, снял с себя верхнюю желтую одежду, отдал ее женщине, а сам остался в одной длинной полотняной рубаше.

— О, женщина, только забыв о себе, ты нашла для себя утешенье.

Малая капля, отделившись от моря, тотчас усыхает. Так и сердце, сестра, бьется жизнью лишь в общем, а в своем — оно умирает.

.

И, подняв благословляющие руки над всею землей, улыбаясь распутившимся лотосам, тихий мудрец пошел дальше.

Ольга Форш

ПАССИФЛОРА

Илл. А. Яцкевича



Знаменитый художник, еще юноша, прервав пиршество, вышел из города и поднялся на высокую гору.

Здесь, один, храня трепет незавершившихся поцелуев и уже готовый принять вдохновение утра, он не выдержал полноты мига и дерзко воскликнул: «Кто другой, кто источник?»

Я сам, я — творящий».

— Ошибаешься, ты исполнитель, — чуть насмешливо сказал старец, и на плечо положил ему руку, и в глаза глянул древними, как пирамиды, глазами.

— Старик, ты не здешний, — гордо вспыхнул художник, — и ты, верно, не знаешь, что это я написал Красоту. До сих пор толковали о ней наугад; я один вызвал все ее краски, я один навсегда отделил от нее безобразие. Люди плачут от радости, что одним бременем у них стало меньше, закрепленная тайна не мучит... Это ль не творчество, назвать людям тайну?

— Да, я ошибся, — чуть дрогнул старец улыбкой. — Ты не исполнитель. Исполнитель должен быть мудрым, чтобы не исказить начертаний Творца. А мудрость, художник, не

знает различия: подобно оку, она равно видит все, что вмещает. Я ошибся, ты просто наемник.

Старец скрылся, а юноша, с досадой решив, что это был странный безумец, спустился в родную долину.

— Божественный, нарисуй нам скорее Добро! — окружили его почитатели. — Собери его вместе, как собрал Красоту; мы тогда твердо узнаем, где зло, и опять будем невинны, как были в раю.

Вот безобразия... теперь его всякий видит.

— Ах, вы не так меня поняли... — вдруг смутился художник. — Все дело в том, как падут лучи солнца. Безобразия нет.

— Не верьте ему, — закричали толпе почитатели, — художнику не полагается знать, что он творит; это даже в учебниках...

— Мы не хотим больше выбора, мы устали, — заволновались в толпе, — пусть называет все тайны, пусть даст нам готовую жизнь, ведь на то он избранник.

Но художник не скоро написал им Добро. После того, как он поговорил с древним старцем, глаза его стали видеть во много раз больше, чем могли сказать краски. Пред пустым полотном с незапачканною кистью сидел он напрасно, подыскивая цвет и форму.

Лишь только он мысленно делал выбор, память сей час, как докучное эхо, кричала: «Мудрость не знает различий», и, бесконечно раздвигаясь, утрачивал образ силу и, как мыльный пузырь, не вмещая в себя бесконечность, падал на душу утомительной бисерной пылью.

Наконец, перед самой выставкой художник с равной любовью сверху донизу покрыл необъятное полотно всеми красками, какие только были на свете.

— Он больше не может учить нас; посмотрите, он стал безумцем, — с раздражением заговорили на площади, и вчерашние почитатели разбежались по городу искать новых избранников, искать тех, кто захочет с ними вместе давать имена безымянному...

— Я теперь не наемник, я уже исполнитель, — про себя усмехнулся художник.

— Милый брат, они правы на своих площадях — ты безумец, — протянул ему руку пишущий книги, которых никто не читал. — Человек, как бы ни был велик его гений, чтобы быть понятым, должен опираться на мир. В мире же все разграничено. Войди, друг, в берега или, как я, погрузись в созерцание.

— Мое начертание — безумие бега, — сказал тихо художник, и, забрав свои краски, не обернувшись ни разу на город, он ушел на высокую гору.

Дикий боярышник стал колоть ему руки, и каждый камень, обрываясь под нетерпеливой ногой, казалось, тянул его снова обратно.

Но художник не выпустил ящика красок, не вздохнул, не присел, не отер со лба пот, пока не пробился до самой вершины.

На камнях сидел древний старец в такой тихой думе, что цветы и деревья, потянувшись к нему, как бы замерли, и сам воздух, недвижимый, держал золото последних лучей.

— Отец, ты ограбил мне душу, — сказал гордый юноша. — Художнику незачем было слышать о мудрости. Расплескивать свою силу равно на весь мир — это значит никогда ничего не создать. Одна жажда творчества жжет меня, и прошу тебя, старец: возьми обратно мою новую зоркость и верни мне былое пристрастное око или проводи меня скорее в область, где я снова найду сам себя.

— Дитя, — сказал с грустью старец, — назад уж тебе невозможно: гора, падая, разрушается, и змея, сменив кожу, не вползет вновь в иссохшую.

— Отец, я не знаю, зачем я ушел с пиршества, но не мудрости я искал... я слишком любил хмель мгновений, я любил даже хрупкие чаши, вместилища хмеля. Я огонь. Где же гореть мне? Где гореть мне вне мира, учитель...

— Я укажу тебе место... — как бы в восторге вымолвил старец и, пригнувшись к художнику, глубоко пронзил его душу очами. В них больше не виделось знания веков, только любовь, мировая любовь отца к сыну.

— Возьми с собой все, что имеешь заветного, — сказал старец, и художник, указав ему молча на палитру и краски,

охваченный странной дремотой, склонился на землю. Старец на миг простер над ним руки и на самое сердце затихшего возложил цветок Пассифлору, цветок страстей Господа.

— В нем, раскрытом, найдешь себя снова.

.

Когда художник очнулся, он был уже один среди серой бесформенной мглы. Краски на палитре от прикосновения старца горели дорогами огнями, сама жизнь трепетала в них.

— Скорее полотно!

Но полотна не было, а вместо кистей в руке дивный цветок Пассифлоры.

— Ничего твоего, кроме твоего страдания, не остается при тебе,— чуть донеслись слова старца, а из густой серой мглы стали выявляться образы, бледные намеки на людей с большими пустыми глазами, с искаженными лицами. Они густой толпой окружили художника.

— Отдай твои краски, почему они у тебя?

— Прочь, — сказал властно художник, плащом укрыв сокровище и поднял высоко нераспустившийся цветок Пассифлоры.

Искаженные трусливой стаей отхлынули прочь, а новой волной серой мглы принесло новые образы, иные бледные намеки на людей. Лукавые, с гибкими пальцами, чуть шурша, проползли они под плащом к самому уху. Улещали, томили, брали волю, и тихонько, незаметно хотели отнять его краски.

Но художник зорко держался на страже, он лживых откинул могучей рукой и над ними поднял Пассифлору. Но они не видали цветка.

И вот подошли к нему третьи: то были глухие, немые, но кроткие. Они потянулись к горящим краскам, улыбаясь улыбкой детей, заключенных в подвалах, и цветок Пасси-

флоры увидели они, склонив низко головы, водянистые тыквы на мягких стеблях, и, как для молитвы, сложили бледные, бескровные руки.

Художник похолодел от предчувствия жертвы, с головой он накрыл себя черным плащом. Но кроткие, как плющ, обвили его члены, приникли к горячему телу и самой страшной, бессловесной мольбой умоляли отдать его жизнь.

Но богатый боялся отдать, он боялся, что ничего не получит взамен, и всю ночь до зари простоял без ответа, холодный и жестокий.

Настало утро. На высоких горах чуть дрогнул свет, чуть долетел звон проснувшихся колоколен.

— Скорей в родной город... — подумал художник. — Пусть опять хмель мгновений, пусть опять грош наемника, только бы снова, еще раз отдохнуть в огражденном!

— Ни минуты отдыха, сын мой, а то отверзнется бездна и назад уже поздно: гора — падая — разрушается... — неизгладимый припомнился старец.

— Поистине, мертв Искушитель мой! — простонал человек и, стряхнув в бешенстве слабых, сжал сталью мускулы и вспрыгнул на высокий уступ, чтобы свергнуться в бездну.

Но кроткие поняли, что он их хочет покинуть, они испугались и стали цепляться прозрачными членами за холодный гранит. И опять обрывались и плакали.

Художник обернулся и, прижав к сердцу цветок Пасифлоры, опустил свои гордые веки. В мгновение, которое длилось вечность, он познал, что отдавать лучше, чем брать и, сойдя тихо с горы, сбросил плащ, отдал краски и в беспросветную мглу он простер свои покорные руки.

И они все, бледные лики, вошли в него.

Они взяли всю кровь жил его.

Силу мышц.

Самое дорогое взяли они — дивное зрение его очей.

— Нарисуй нам Солнце, — умоляли они, — ты ведь художник.

— Вы отняли у меня все, — прошептал он. — Без красок, без силы, незрячий, какой дам вам свет?

Но они, безрассудные, плакали и не переставали просить.

— Но мне больше нечего...— и, как ребенок, как самый маленький, он упал на землю, поднял к небу опустошенные очи. Пред собою положил цветок Пассифлоры

— Они так сильно просят, да будет, да будет! — как безумный, шептал он, забыв и вес, и меру, и очертания. — Они сильно просят, им значит надо...

И распустился сомкнутый цветок. Брызнуло пламя из розы креста, всеобъемлющим кругом стала малая точка.

— Это я... — изумился художник.

Но последнее слово было сказано не на земле, и в ответ этому слову созвездия дрогнули: «Слава»; а жизнью вызванный к жизни новоявленный мир тихо двинулся вокруг нового солнца.

Ольга Форш

МЕДВЕДЬ ПАНФАМИЛ

Когда Панфамил убежал от своего хозяина, шестилетний Фомка сидел у него на плечах и визжал во все горло от радости. Вышло все совсем так, как он думал. Давно обвыкший, добрый медведь, как всегда при встрече, облизал его щеки красным пламенным языком, и все время, пока Фома, насупив брови и сопя во всю мочь, прилаживал к замку медвежьей цепи украденный ключик, Панфамил на всю комнату чмокал сахар. Потом мальчик вскарабкался медведю на шею, обнял за щеки двумя руками, пришпорил бока крепко пятками и поехал.

Сначала, словно генерал на смотре, важным, медленным шагом по комнатам, потом мелкой, опасливой рысью в ворота и неудержным галопом в неоглядную чашу Чернокутного темного бора. Там Панфамил осторожно стряхнул обомлевшего Фомку, облизал его сверху донизу и стал считать своим собственным медвежонком.

Научил Панфамил Фому лазить на дерево до самого неба. Научил, как выискивать сладкие корни, как выбирать обратно в берлогу по разным приметам из непролазного лесного малинника. Только одно: на двух ногах очень долго стоять не позволял, обижался. То и дело опрокидывал лапой, чтобы, как правильный медвежонок, больше двигался четырьмя.

Хорошо провел Фома лето, куда веселей человеческого: пищи — ешь, сколько хочешь, и все на подбор самой вкусной. Землянику с черникой будто кто-то на всех базарах скупил и в Чернокутный бор разом высыпал. От черники хоть рот и делался черный, как печная труба, а барыни такой нигде в лесу не видать, чтоб приставала к Фоме зубы чистить. И меду на выбор: темный, удушливый, цветов гречихи, или липовый, как густая смола.

Любопытно, что медведь не по книжке, а сам собой, наизусть обо всем ведал.

А поспели орехи — пошла потеха. Стали белки притаскивать их в огромнейших лопухах. Старая ежиха поскреп-

ляла их ежовыми иглами. Только и дела в ореховый сбор Панфамилу: шустрых белок на мохнатой ноге на березу подкидывать, а они к нему сверху обратно на другую ступню нависают. Он их снова... и так разов до ста, все смотря по тому, кто сколько орехов поставит.

Фомка живо нагнал типунов полон рот, — так нащелкался. А медведь испугался, стал язык ему медвежьим салом скорей смазывать. Из своей лапы надавливал.

И вот к осени Фома омедведился. Стал жить с зверями — звериной жизнью. День они все начинали по солнцу, какое бы оно ни влезало на небо из-за дальних пригорков: кутаясь в белые ватные простыни, как из ванны, или ярко-желтое, будто яичный неразбитый желток от неслыханно крупной курицы. С появлением его зоркого глаза на небе каждый зверь наострял уши и слушал.

В тростниках, по макушкам деревьев, по глубоким норам, по подземным пластам шел для всех неуклонный приказ Управителя, Доброго Зверя, что кому нужно делать.

Крот-седохвост, который обо всем под землею разведывал, давал честное слово, что Управитель живет в срединном земном огне. Уверял, — чуть было совсем до него не дорылся, да животу так вдруг сделалось жарко, что своего паленого волоса стерпеть не был в силах.

Птицы слышали Управителя сверху и считали, что он свил гнездо себе в облаках.

Звери думали: Управитель говорит из своей неприметной мудреной берлоги.

Но, самое главное, все одинаково понимали: если исполнить приказ Управителя — становится очень весело. О завтрашнем заботиться нечего, он опять утром скажет: значит, остальное время играй.

Панфамил с Фомой вечером шли на большую поляну. Медведь, опрокинувшись на спину, задира кверху лапы, зайчики на них становились все четверо, а пятый — уж посреди живота. Фома кричал громко: «скок в четыре угла». Зайцы, как барышни косами, хлестали свои спины ушами, летели стремглав с медвежьей ноги на другую, сшибались мордами, путались в Панфамиловых космах. Жуки-олени,

выбрав песчаное место, бодались до последней возможности, пока один другого на рога не вздымал. Червеедка-ежиха всю шестерню еженят за собой на луг волочила, дома покормить удосужиться никак не могла.

В последние сумерки перед темной ночью выходили из цветов хорошие запахи, все в зеленых чулках, и водили Фома по туманам. Запахи научали ни о чем ровно не думать, а быть как семечко одуванчика. Фома любил веселиться, а потому легко всему верил... взявшись за руки с хорошими запахами, он, как по спинам волнистых баранов, карабкался по воздушным лестницам. С тяжелых болотных туманов на легкие, надполянные. С надполянных в надлесные.

Если аист еще стоял на ноге, пока аистиха лягушками кормила аистят, он приветливо щелкал Фома: «Просим милости, загляните в гнездо». Фома ловко прыгал с туманов на верхушку сосны, и по-турецки, под себя вобрав ноги, усаживался в круг прожорливых аистят. Аистиха из любезности и ему предлагала лягушку, но Фома неизменно уступал ее младшему, чем старый аист был очень доволен.

Когда Фома хотел спать, аист выщелкивал сигнал Панфамилу. И где бы ни был медведь, он непременно слышал. Лез на дерево, вызволял своего омедведыша. На себе приносил загулянку домой, пихал мордой в угол, притыкался к нему мягким боком и спали.

Так и прожили: от ягод к орехам. От орехов к огородному сбору. Дождались гороха, морковок и полосатых арбузов. На пустопорожном куске за селом чего-чего мужики ни насеяли.

Все бы шло, как по маслу, если бы не зима. Как ударили холода, закручинился Панфамил. У него к зиме сама собой шуба густела, а мальчишка хоть бы пухом оброс. Все по-летнему, как яйцо гладкий, одна кожа пупырится с холоду. В штанишки дует, от них за целое лето одни ключья мотаются... Первая выпала Панфамилу задача, как от холода Фому защитить. Несколько дней беспокоился, терся лбом о березу, припоминал, как одеваются люди. И однажды, уставясь в свою мохнатую шкуру — припомнил. Такая-то

ободранная висела у хозяина на стене. Когда за окном наметало сугробы, хозяин снимал с гвоздя шкуру и, обернув на себя мехом внутрь, шел на улицу.

«И все-то у них с обманом, — презрительно думал медведь, — со зверя сдерут, сверху гладким обтянут, и как будто своя...»

Тяжело, медленно ворочал мозгами старик Панфамил, но зато, что поймет, непременно уж сделает. Так и тут: разослал белок за полевыми мышами. Зоркому копчику дал склевать двух глубоко ушедших в заднюю ногу клещей. Даром, что знал — норовит копчик с мясом выхватить. На все решительно шел Панфамил ради мальчика.

В один миг рассмотрел на окраине копчик подходящую пушистую пададь. Волчонка охотники пристрелили. Языками пошли воробьи стрекотать, по приказу медвежьему мышей на работу сгоняли. Мыши огрызли ожерельем вокрут волчью шею, и от глотки до самого низа протянули аккуратно по шкуре дорожку, чтобы медведю сподручнее было ее обдирать. Как только Фома надел шкурку, червеедка-ежиха вмиг ее посередине скрепила молодыми неломкими иглами, что надергала из провинившихся малых ежей.

Теперь от Фомы пошел дух хороший, совершенно лесной, и все звери от малого до великого с ним побратались...

Но чем труднее Панфамилу было разлучаться с Фомой, тем настойчивее торопили его приказания Доброго Зверя: «Нельзя мальчику человечьи слова забывать, отведи его на зиму к людям».

Опустит голову, закручинится старый медведь и пойдет усердней Фому зализывать.

Наконец, с первым снегом, скрепя сердце, решился. Раным-рано, чуть запахи, утомившись ночными гуляньями, вновь полезли в цветы, Панфамил растолкал Фому теплой мордой. Сам нащелкал орехов, чуть не удушил, столько сразу за зубы упихивал. Накормил лучшим медом, а сам не поел. Открыл было рот, чтобы хорошенько куснуть, да из рук соты выронил. И завыл очень жалобно...

И в ответ его вою земля как-то екнула. Добрый Зверь повторил строго-настрого приказание.

Как все звери, понимал и Фома, что Управителя совсем невозможно не слушать. И хоть сразу оно тяжело, а что же поделаешь? Если Управителя не послушать, он говорить каждый день перестанет. А без него узнать очень трудно, что главное всего надо сделать. Начнешь перебирать: то или это, а играть будет некогда. И видя, как тяжело Панфамилу, Фома первым взял за лапы медведя, поцеловал его крепко-накрепко и повел из берлоги...

Как дошли до последних овсов, примыкающих к самой усадьбе, медведь сунул мальчику в руку преобладающую морковку и, тихонечко воя, будто в каждой лапе он носил по занозе, повернул к Чернокутному бору. И побежал восвояси, не озираясь на мальчика.

II

В большом белом доме с колоннами проживала помещица Помидора. Было у нее имя, была и фамилия. Но как прозвал один шутник: Помидора, так и осталось. Очень уж подошло: румяная, всегда веселая, то и дело варенье варит, грибы маринует, или еще что-нибудь. Без дела никогда не сидит. Любит, чтобы все у нее было на месте и под своим названием.

Вот когда шкаф большой для провизии заказывала, то день-деньской на бумаге ящики перегородками решетила, чтобы ни один из припасов без своей собственной клеточки не оставался. Есть такой один вроде апельсиновых зерен: кардамоном его называют. Это из-за него Выборгский крендель так вкусно пахнет. И хоть этого кардамона на весь год меньше фунта выходит, Помидора и ему уделила квадратик.

Она не любила, чтобы зимой была оттепель, или в мае хватал зелены лихой утренник. И не только потому, что убыточно, а не по календарю. Детей у Помидоры вовсе не было, и, когда стала старая, она очень соскучилась.

Вот почему, когда старичок-повар притащил к ней волчонка с человеческим лицом, иначе говоря, Фому в волчьем мехе, Помидора обрадовалась и сказала: «Волчью шубу сдери да в помойницу, самого в бане выпари, и пусть живет в комнатах».

Сразу Фоме даже очень понравилось. В бане вытерли докрасна. Кушать дали и после лесных сладостей все по-старому вкусные вещи: свиные уши хрящами, да жиром насквозь прошедшие, и вареники со сметаной. И когда теплый суп полился по душе, так вдруг стало приятно, как бывает от радости. Душа у Фомы помещалась по самой середине. Она темечком упиралась в его темя, а ноги свои, как в чулки, вставила всей пятерней в его ноги.

Вечером Фома очень скоро понял, как ему Помидора приказывала, стоя перед ней на коленях, раскорячивать руки, чтобы ей удобнее было сматывать шерсть. Теперь уж нельзя было не видеть, как сильно он в лесу омедведился. Разговоры хотя скоро стал понимать, но самому говорить было лень да и скучно. Привык, что звери и без слов понимают и как раз то, что нужно, а люди под одним словом каждый свое разумеет.

— Как держишь руки, как? — высоким голосом кричит Помидора, распирая его ладони, пока шерстяные качели не станут тугой, ровной полоской, как проволока на телеграфном столбе.

— Так, так, — прибавляет она одобрительно густым, успокоенным голосом.

А Фоме сейчас видится, что слово «как» — это высокий, тоненький гриб на выжженном солнцем пригорке, а «так» — такой вкусный крепыш боровик, сидит в ямке, зеленым мхом обложен, а над ним переспелая земляника.

И очень долго совсем дураком он пришептывал: «Как так, так как...»

Но к весне Фома сильно соскучился у людей. Научился всему, что кругом него делали, и опять его в лес потянуло. В лесу Добрый Зверь, Управитель, на каждый день самое главное выбирал — только выполни. А тут люди сами себе дело придумывали, и так много, одно за другим, а играть

уже некогда. Помидора никогда не играла. Утром с ключами она бегала по кладовым, ворочала припасы с места на место, потом холсты мерила, а шить из них ничего вовсе не шила. Так большими тюками все опять назад девки стаскивали. А больше всего без конца целыми вечерами мотки мотала. Как разноцветные апельсины, они в просторных комодах давили друг друга. А для вязанья, хорошо если моток на день приходится.

Перезимовал Фома у помещицы туда-сюда, ни хорошо, ни худо, а как в форточку весной потянуло, стал опять по-немногу медведиться. Шерсть мотать не идет, под диван лезет. Со всех сторон подоткнется, чтобы сделалось темно, как у Панфамила в берлоге, пальцы в рот себе вставит и ревя ревет. Очень в лес ему хочется. Много раз бежать ночью надумывал, да к окну подойдет и раздумает. Белым-бело еще от снегов, чуть только стаяли. Ни звезды, ни луны, небо — дикого коленкору. А в случае синее и от звезд глазастое, не все ли равно? Где пути, где тропинки, где заметки жилия Панфамилова?

Белка не выскочит, кроту-седохвосту на двор еще слишком холодно, даже дятел примет не сдолбит. Мертвым сном до весны отдыхают лесные, пока Добрый Зверь не разбудит. Это у людей, без порядка, круглый год неугомон все идет.

Затосковал как-то особенно раз Фома и пошел по всем комнатам: не услышит ли Доброго Зверя. Пригибал ухо к темным углам, животом приникал к половицам, оттянул тихонько веревочку душника — ничего, кроме черных, слежавшихся хлопьев.

Наконец, расшарившись, носом ткнулся в огромную пятнистую раковину. Прижал ее невзначай к уху и услышал. Шум и гудение, как от далекой воды. Правда, сразу слов разобрать невозможно, но и то сказать: ведь давно он уж Зверя не слушал.

Омедведыш себе не поверил: целовал раковину в гладкую выгнутую спину, пробовал пальцами и языком к ней пробраться в средину, но разворачиваться она не хотела, только язык ему чуточку нарезками розоватых краев придержала.

Фома пошел спать вместе с раковиной и все время, пока не заснул, слушал в ней лесной шум, а к утру ему приснилось, что Помидора вышла замуж за Панфамила.

«Все бы вместе и жили, — проснувшись, размышлялся Фома, — зимой в большом доме, а летом в лесу. Только Панфамилу одежду приискать очень нужно. Как в лесу, здесь ему ходить голым совсем неприлично».

Между тем, время близилось к Пасхе, и особенно сильно несло с кухни поджаренным постным маслом.

Помидора пошла с Фомой в последний раз приложиться к выставленной плащанице.

Хотя на дворе еще можно было играть в орла и решетки, в приземистой сельской церкви было совершенно темно. В узком окошке под Николай-Чудотворцем продернулись в небе две ярко-красных дорожки зари.

И, взглянув после них в темный угол, Фома чуть что не вскрикнул. Ему почудился вставший на ноги Панфамил. Но, вослед Помидоры подойдя к старику с восковыми свечами, он рассмотрел, что огромный в углу был не кто иной, как великан-управляющий графским имением. Он приехал встречать заутреню и, как всегда, собирался переночевать у помещицы в доме.

Управляющий опустил земным поклоном и выставил на Фому две аршинных подошвы.

Вот с кого одежда подойдет Панфамилу, — вмиг прикинул Фома и задумался. Вечером, когда управляющий пошел в отведенную ему комнату ночевать и за дверь вынес платье для чистки, Фома живо стянул его брюки, меховую курточку и башлык.

Помидора со всеми прислужниками, по первому звону, подоткнув свои юбки, отправилась в церковь, а Фома проскользнул с украденным тюком к большому дуплу, упибал туда вещи и во весь дух пустился к медвежьей берлоге.

По оттаявшим черным кустам, по знакомым камням и другим, теперь видным приметам, он без запинки пробрался к Чернокутному бору.

III

Зимний сон Панфамила удался как нельзя быть. Добрый Зверь его принял в самое теплое место срединного земного огня, угощал на подбор чистыми сотами, без единой мертвой пчелы. Заслуженные вороны ему чистили шубу. И так успокоенно ему было, как будто бы в детстве, под матерью-медведихой. И чудилось: омедвеженный мальчик тут рядом и совсем никуда уже больше не рвется, знай себе наедается земляникой...

Но вот пошли таять снега, поползли ручьями, мелкой сетью разузорили землю, прозмеились к Панфамилу в берлогу. Захлодало у него в ушах, зацекотало в носу, пошел он чихать и прочихиваться. От частого чиха прикусил лапу, как пчелой ужаленный, вспрянул и вдруг пробудился.

Сейчас пошел шарить своего Омедведыша, нет его: ни меж лапами, ни по темным углам, ни в кладовой, где до последнего все как есть корни целы. Вспомнил все Панфамил и завыл.

Истомился, весне не рад. Тут ему выходить, себе жену-медведиху присматривать, а свое звериное больше не нравится. И медвежат заводить неохота: чему звери раз научились, то уж всегда одинаково делают. А мальчуган норовит все по-разному, и хотя иной раз за ним мудрено усмотреть, а забавно.

И понятно, что когда вдруг нежданно-негаданно в пасхальный вечер в берлогу просунулась человечья калоша, а за ней сам Фома, Панфамил зарычал на весь лес в сильной радости и так крепко подпрыгнул, что головой проскочил сквозь кротоми налаженный потолок.

— Больше с тобой не хочу разлучаться, — целовал Омедведыш медведя. — Панфамилушка, золотой мой, женись на помещице, тогда будем все летом медведиться, а зимой жить в хоромах!

Панфамил терся мордой об мальчика и, хотя не умел думать четко, как люди, понимал все не хуже иного.

— Панфамилушка, выходи, сейчас служба. Ночью станешь около Помидоры, ночью в церкви, должно быть, темнее, чем днем, батюшка не рассмотрит и как раз тебя обвенчает.

Медведь улыбался и, как маленький, шел послушно за мальчиком. Был небольшой морозец, но совсем добрый, даже за щеки не щипал. На прощанье в последний раз он сковал тонким льдом придорожные лужи. И Панфамил с каждым шагом похрустывал, будто шел по яичным скорлупкам. Небо будто бы отдыхало. Без труда лили звезды свой свет. Из облаков уже никто не сновал больше без толку. Луны вовсе не было видно, она суетилась, отправляя последние куличи для святых прямо в солнце.

Под землей слышно было, как громоздились друг на друга пожилые кроты, вознося крест из молодой, только что зародившейся спаржи над подземным пасхальным столом. Озорники помоложе дрались земляными червями у срединного земного огня. Каждому лестно скорее было вынуть испеченные муравьиные яйца. Шепнет Добрый Зверь: «Христос Воскресе», ответить с пустыми руками и под землей не совсем-то прилично.

От лесных проталин, с большой дороги тянуло праздничным духом, слышно было, как готовятся к заутрене птицы. Как заяц с зайчихой, послунив лапки, помадят друг дружке вихры. Ждали, что скоро, совсем скоро выдохнет Добрый Зверь свое слово, лучшее слово за целый год.

Панфамил так вдруг растрогался, что застыдился себя самого. Застыдился, что грузный, что столько ему необходимо сожрать, чтобы быть сытым... он устави́л в небо свои добрые карие глаза и, боясь задавить кого-либо из самых маленьких, пошел вдруг на цыпочках.

Как зачарованный, подходил Панфамил с Омедведышем к освещенному храму.

Далеко выкинуты были лари. Бабы, все до одной, в красных новых платочках, стерегли куличи, у которых в середине была проделана выемка для принятия святости.

Фома задержал Панфамила в кустах. Из дупла с трудом вытянул тайный узел, натянул медведю шаровары, закру-

тил в башлык голову и просительно зашептал:

— Вскинься на ноги, Панфамилушка, крестный ход.

Крестный ход двигался медленно, мужики страшно вскидывали волосами, усердные бабы молились сразу несколькими богородицам:

— Мать Божия Иверская, Казанская, Козельщанская.

Осторожно протискивались к певчим, выставляли вперед узелки с разноцветными яйцами. Мальчики, отмытые в бане так, что носы их казались покрытыми лаком, вдруг смолкли и с радостным перепугом воззрились на регента. Учитель Аким Иванович всеми легкими вобрал в себя дух, удержал его сколько мог и, внезапно плеснув руками, густым звоном грянул: «Христос Воскресе!»

«Христос Воскресе...» — залились колокольцами чистые мальчики и громко, с облегчением, забыв считать богородиц, вздохнули бабы: «Воистину».

Добрый Зверь для зверей прогудел свое лучшее слово, и в один миг пошла земля кое-где набухать, как живая. Это на задние лапы вздыбились кроты, чтобы в ответ старшине-седохвосту, высоко вознесшему спаржевый крест, обменяться муравьиными яйцами. Невозбранно промеж них зарезвились червяки, а луна, улыбнувшись на общую радость: у святых, у людей, у зверей — не стерпела, и хоть маленькой скромной девочкой, а пошла гулять по небу.

В это самое время перед крестным ходом произошло чрезвычайное. Батюшка в светлой ризе, с расчесанной бородой, приняв медведя за управляющего графским имением, поклонился ему на особицу. Дьякон следом за батюшкой подбросил кадило прямо в нос Панфамилу. Панфамил до того вдруг растрогался, увидав, что люди его не пугаются, не отличают совсем от своих, что он больше не выдержал, опустился на четыре ноги и завыл умилительно...

Меховая куртка, не вдетая в рукава, соскользнула, суконные шаровары как ни были добротны, а лопнули, и перед крестным ходом обозначился явственно пушистый коротенький хвост.

— Авоиньки, нечистая силушка, — заголосили бабы и покрылись подолами. Разметали разноцветные яйца. Крест-

ный ход весь шарахнулся по кустам. Дьякон выронил в лужу кадило, угли, вспыхнув огнем, почернели, и кто-то, первым опомнившись, кинулся с криком:

— Ой, воры, держи!

Фома, ровно белка, взвился на медведя, дернул за ухо и шепнул:

— Выноси, Панфамилушка.

Панфамил встрепенулся. Вдруг припомнил железо в губе, холод, проголодь и, смахнув одним махом башлык, полетел, как мохнатая бомба, в берлогу.

По дороге он с удовольствием потерял и куртку и штаны управляющего и раз навсегда порешил: вместо того, чтобы самому человечиться, лучше брать к себе в отпуск Фому.

Пусть медведится!

Александра Унковская

**КАК Я УВИДЕЛА ДОМ
СВОЕГО СНА**

Первый жуткий сон, который я видела, был в самом раннем детстве моем, когда мне было всего года четыре: я видела во сне два греческих храма с колонами, один направо, другой налево (я уже гораздо позднее поняла, что это были греческие храмы). Первый был заперт, а у самого входа второго зиял глубокий темный спуск в черное подземелье. Жутко было то, что крутом них была неподвижная тишина; я упала и покатилась прямо к черной пропасти; тогда я услышала голос Бога: «Смотри, не упади в яму», сказал Он, и я проснулась в испуге. Первое же сознательное чувство мистического страха я могу отнести к периоду своего детства, когда мне было лет пять. Я рассматривала книжку с картинками, на одной из них были изображены сумерки в комнате с окном, рама которого была из мелких переплетов; в окне были видны высокие деревья, из-за которых поднималась полная луна. В этой комнате находились отец с сыном; мальчик стоял лицом к окну и смотрел в него, а отец, нагнувшись к нему, говорил: «*Regarde, mon fils, la lune se lève derrière les saules pleureurs et les bouleaux*». Картинка была однотонная, розовато-сероватая и пахла новой печатью, и мне вдруг стало ужасно страшно от окна с мелким переплетом. И с тех пор я стала бояться и луны и слов: «*saules pleureurs*» и «*bouleaux*». Они мне напоминали страшное окно и я плакала. После этого я начала часто видеть сон, который меня преследовал почти каждую ночь, так что я начала бояться ложиться спать. Мне снился дом, невысокий, старинный, но не такой, как дома в России, и также он был не в деревне (города я еще не знала, т. к. родилась и росла в деревне). Я видела его во сне, то снаружи, то изнутри. Видеть его снаружи было не так страшно, но видеть его внутри было до того жутко, что я просыпалась, дрожа, как в лихорадке. Там был длинный коридор, по которому я проходила; в него выходили двери, которые всегда были заперты, и за ними слышался глухой гул голосов моих предков (я тогда знала это слово и по-французски говорила «*les ayeux*»). Что было в конце коридора, я никогда не могла узнать, потому что просыпалась в ужасе. Этот сон меня пре-

следовал и в детстве и в юности и тогда, когда я была замужем и у меня уже были дети.

Он прекратился после смерти одной дамы, с которой мы очень подружились, так что два года жили с ней душа в душу в одном городе, из которого потом мы уехали.

Она вскоре умерла и после ее смерти мне опять приснился страшный дом и я опять шла по длинному коридору, двери также были заперты, но за ними было тихо и потому я не проснулась от страха, а дошла до конца и, поднявшись по маленькой лестнице, вошла в просторную комнату, посреди которой бил небольшой фонтан, окруженный низенькой балюстрадой с пузатыми точеными колонками; там стояла моя знакомая дама и радостно улыбалась, и я проснулась.

С тех пор кончился мой сон, но чувство страха при виде окон с мелким переплетом не прекращается и до сих пор. С тех пор, как я помню себя, одно из самых ярких моих чувств было — обожание готики, томление по средневековым домам, по старым готическим церквям.

Это томление я положительно могу назвать «Исканием». В детстве любимые игрушки мои были вырезные средневековые дома и люди в старинных одеждах, — ярко представлялась мне жизнь их, полная драм. Самой же себе я представлялась не иначе, как юношей, тонким и стройным, в средневековой одежде (венецианской, как поле узнала я) и я его в себе любила; позднее я связывала это чувство с представлением об инквизиции и муках за любовь к прекрасной молодой женщине.

Раз, когда мне было лет 10, я увидела в магазине эстампов небольшую картинку, поясное изображение белокурой, кудрявой девушки в голубом платье; она нежной рукой прижимала к груди нежную розу и чистая улыбка ее была ласкова и печальна. Эта картинка была моя первая и самая сильная в жизни личная любовь. Она стоила один рубль и я долго копила эти деньги из своих детских сбережений и наконец приобрела ее.

Нельзя передать того чувства поклонения и обожания, которое я испытывала к ней, и за это она ласково улыба-

лась мне и прижимала к груди свою нежную розу. Не припомню, сколько времени продолжалась эта счастливая пора и куда потом исчезла она. Я училась дома и бабушка давала мне сама уроки французского языка. Мне было позволено отвечать грамматику, сидя на ковре у ее ног. Я очень любила этот ковер, потому что на нем были вытканы розы и можно было воображать себя в саду, на берегу реки (это был блестящий пол).

Иногда же этот ковер представлялся мне плиточным полом средневековой комнаты, а складной камышовый стул — огромным пылающим камином, около которого я греюсь; тогда я совершенно забывала про бабушку и про урок, начинала как бы дремать и воображением уносилась в средние века. Язык мой отвечал урок сам по себе, а я, смелый и ловкий юноша, мчался в лесах на охоте на белом коне...

«*Qu'est ce que c'est la grammaire française?*» — спрашивает бабушка; я слышу, как мой язык отвечает: «*La grammaire est l'art de parler et d'ecrire correctement*», а сама скачу в лесу на белом коне, на руке моей сокол, и я догоняю кавалькаду рыцарей и дам в средневековых костюмах и я удивляюсь, что мне надо отвечать бабушке, и она кажется мне докучным привидением. «*Assez, —* говорит она, *— tu as très bien repondu ta leçon*», — я просыпаюсь около складного стула, который был камином в средние века, мне делается неизъяснимо грустно, я прижимаюсь к нему лицом и тоскую о старине, на глазах появляются слезы...

С годами изменилась жизнь моя и средние века стали отдаленнее; стройный юноша стал стройной девушкой, которая усердно училась музыке и выезжала в свет, потом она вышла замуж... С тех пор прошел длинный период жизни, полной самых сильных и разнообразных впечатлений, и готика была забыта... Мы были в Будапеште на конгрессе, это было прошлым летом. Интерес конгресса был так велик, что не приходило мысли осматривать город и его достопримечательности, и только когда соотечественники наши рассказали про интересный старый город и удивительную старинную церковь, я решилась пожертвовать несколькими часами, чтобы осмотреть их. Мы вдвоем с другом моим от-

правились туда и, перейдя длинный мост, поднялись в гору на подъемной жел. дороге и пошли направо к церкви Св. Матиаса. Мы шли по широкой дороге; вправо под нами был Дунай и за ним великолепный новый город, влево над остатками старой стены были дома и сады. «Позвольте мне взглянуть на эту старую дверь в стене», — сказала я моей спутнице. Меня охватило волнение при виде этой маленькой двери, закрытой ржавой решеткой; полуразвалившаяся узенькая лестница, поворачиваясь, уходила в толщину и темноту стены, уводя туда с собой мои тревожно-смутные мысли, и мне было трудно оторваться от них. Когда мы поднялись в гору по великолепным ступеням и галереям, я сказала: «Все это красиво, но ново». Почему я это знаю? — подумала я. Великолепный вид Дуная и дали за городом глубоко умиляли меня. Мы пошли к церкви мимо памятника Святого Короля. В церковь пришлось войти боковым входом, главная дверь ремонтировалась. Мы прошли мимо винтовой лестницы, которая вела на хоры и в подвал, и вошли в маленькую *sacristie*, где сильно пахло ладаном, и оттуда прошли в храм. Чувство благоговения охватило меня раньше, чем я успела его рассмотреть, и я опустилась на дубовую скамью. Тайнственно светились окна великолепными цветными стеклами своими и тихо пели о старине. Мне стало трудно говорить и я пошла в самую глубь церкви, куда влекло меня неясное чувство; я подошла к старинной часовне, — она была заперта железной решеткой, там было полутемно, и тусклый свет едва проникал через старинные цветные стекла бледных оттенков... Все мне казалось родным и близко знакомым в этой часовне, кроме статуи мадонны, которая казалась мне совсем чужой. Видя, как мне хочется здесь остаться, моя спутница пошла вперед, чтобы нанять экипаж, и, когда я вышла из церкви, полная глубокого, непонятного мне волнения, она стояла на маленькой площади на перекрестке четырех улиц и знаком звала меня. Добродушный извозчик садился на козлы, ребяташки играли на солнце, которое освещало прозу улицы; я оглядывала местность и меня все больше и больше охватывало волнение. «Знаете, — сказала я, — если я пойду на-

право в эту улицу, — я найду дом моего сна!..» Было поздно, надо было спешить на лекцию и, когда мы ехали, я рассказывала про свой странный назойливый сон...

На другой день, рано утром, я опять была здесь. Я решилась отнестись совершенно хладнокровно к своим переживаниям. Осмотрев улицы, я сначала пошла по одной из тех, которая была ближе к церкви, — это было не то. Я вернулась на перекресток и пошла по той улице, которая влекла меня вчера, и невольно стала смотреть вправо и через несколько домов я увидела «дом своего сна». Печальный стоял он с закрытыми глазами (там еще спали и ставни изнутри были закрыты). Старое, знакомое чувство страха и тоски охватило меня при виде наяву «моего дома». Если бы я вошла в него, что бы я почувствовала, проходя по коридору! Полукруглые старинные ворота были открыты, я пошла туда, — налево знакомая галерея, прямо напротив старинный приземистый домик-сторожка; жутко глядит он на меня своими темными окошечками. Направо, в углу дома дверь, ее загораживает толстая кухарка и вопросительно смотрит на меня и мне делается больно, что я не могу подняться по лестнице и войти в дом. «Извините меня, — говорю я, — я иностранка, — как называется эта улица?». — Она отвечает, я благодарю и ухожу, чувствуя лихорадочную дрожь и пошатываясь от волнения. Иду по переулкам, узнавая их и некоторые дома, вижу старую башню, — как жаль, что стена уничтожена и что так много новых зданий, — представляю себе ясно и ярко, как здесь было «тогда», но чувствую себя теперь привидением. Несколько времени походила я по ближайшим от «моего» дома улицам и вышла на площадь около Матиаскирхе. На углах ее были старые дома, в одном из них была молочная лавка и во 2-м этаже выступал балкон-фонарь с остроконечной крышей. Я пошла туда и спросила стакан молока. «Это очень старый дом, не правда ли?» — сказала я молодой продавщице. «О да, сударыня, ему более шестисот лет». — «А церковь?» — «Церковь еще гораздо, гораздо старше», — ответила она, отрезая кусок сыра для солдата. «Здесь, под этими самыми сводами, — вспоминала я, оглядывая их, — *тогда* продава-

ли мясо». Я вышла на площадь и пошла в церковь; там было пусто и тихо; я направилась в старинную часовню, решетка теперь была открыта, я вошла и заняла «свое» место в уголке. Чувство радости, что я наконец «у себя», «дома», охватило мое сердце вместе с тоскою одиночества и сознанием, что кого-то здесь нет, и я закрыла глаза. Смутно вспомнились какие-то похороны, плачущая у алтаря женщина, — я продолжала сидеть с закрытыми глазами, чтобы усилить воспоминания, и странно, как в облаках, как-то смутно-ясно, на мгновение я увидела группу: юношу с развевающимися, откинутыми как бы от ветра или страха волосами, к нему в отчаянии прижалась девушка в белом, тонкая и стройная, обхватив его шею руками и в изнеможении опустив голову к нему на плечо, она приникла к нему, как бы ища защиты, а он, с широко раскрытыми от ужаса глазами, смотрел в пространство, которое было — моя мысль...

Покинув Будапешт, мы ехали по железной дороге. В моем купе сидела дама и мальчик лет 11-ти, ученик школы Будапешта. Я начала его расспрашивать об этом городе и о старой Матиаскирке и он рассказал мне, к сожалению, не припоминая года, но говоря, «очень, очень давно, более 800 лет тому назад», на Будапешт напали турки; жители тогда замуровали мадонну, которая была в старой часовне, в стену, чтобы она не досталась туркам, и потом люди долго думали, что она пропала, но однажды упали кирпичи и мадонна появилась. Тогда я вспомнила свои чувства в старой часовне, — там все мне было знакомо, кроме мадонны, значит, «тогда» она была скрыта в стене. Домой в Россию мы возвращались морем и заехали в Константинополь. Там я видела окна с мелким переплетом, те самые, которые наводят на меня до сих пор страх. Турки и арабы близки сердцу моему, хотя и они тоже наводят на меня, вместе с чувством близости, чувство страха и жить в Константинополе я бы не хотела.

Все, что я описываю, волнует меня теперь так же сильно, как и в Будапеште; *«теперь»*, когда я там была и я «чувствую» всю страшную драму прошлого, но только не могу «вспомнить»... *«что»* было *«тогда»*... И не могу ясно раз-

граничить фактов: фактов жизни и фактов фантазии, —
форм жизни и форм мыслей, которых я еще не в состоя-
нии ясно разделить.

5-го октября 1909 г.
Калуга.

Александр Линский

КРОВАВЫЙ КОСТЕР

(Фантазия)

Из ничего какою-то Неведомой Силой, Великой Сущностью всего существующего зародилась материя, словно по волшебному мановению появилась жизнь. Появилось созидание и разрушение. Это были самые мрачные дни в бесконечных звеньях времени, когда темное разрушающее начало пустило свои ростки, когда оно охватило космос в своем тягучем опьянении...

Серый, сумеречный день; свинцовые облака облегают горизонты низкого неба. Словно каменные, неподвижно стоят великаны-деревья, и листья их — как будто тоненькие листочки железа; цветы и поля, и великая Мать-Природа, Природа всего существующего, какая-то серая, примелькавшаяся, уныло смотрит, как будто у нее есть зияющие впадины глаз, и она жутко глядит и чего-то выжидает. Нестройные голоса, похожие на тихий вой, несутся по земле. Это стонут люди от тяжести строения, мучаясь великой разгадкой вечных вопросов... «Мы выше хотим, нам не надо тайны, нам надо разгадку великого ребуса мировой тайны!» И вот они строят башню, чтоб знать, чтоб видеть, чтобы выше подняться: «Мы к небу, мы дальше, выше хотим». И горят искусственные огни и, со свистом, рассыпавшись сверкающими искорками, взвиваются в воздухе и с треском рассыпаются в сумеречном дне. — «Мы строим великий дворец, с мраморными колоннадами, с бесчисленными, словно живыми, изваяниями, мы создаем красоту, мы сами творцы, носящие в себе жизнь от неведомой мировой Первопричины...»

Но вот наступает ночь, темная и глухая. Облака черными, непроницаемыми грядками закрывают небо. Темнота охватывает людей. Тогда они зажигают великий костер, и красные языки пламени освещают своими зловещими отблесками прекрасные, с резными орнаментами, словно выточенные стены великого дворца. Синие, темноватые тени боязливо копошатся у подножия кровавого, огневого костра и, наконец, длинные, причудливые, сливаются с окружающей темнотой; она охватила людей, она давит их, не дает им покоя.

«Света больше, надо ярче еще зажечь, еще, еще, пусть все осветится, что темно, великий свет пусть пронизет, осветит эту зловещую темноту, мы выше хотим, мы башню строим до самого неба, выше, выше, нам мало места здесь, мы лететь хотим, подняться дальше от скучной, темной земли, света больше, света больше».

Тихий стон несется по земле, но мало огня, чтобы осветить великий, наседающий мрак, он давит, гнетет.

«Мы солнца хотим, мы бури хотим, скорей, скорей», — несется сильный крик. Вот темная фигура какого-то мужчины с красным, как будто медным отблеском костра на темной ткани одежды, который стоит и колотит палкой о землю в немом исступлении; сурово сжаты тонкие губы, страдающее выражение и какие-то нечеловеческие дикие блески в глазах; вот машут руками старческими, молодыми, маленькими ручонками; и отдельные несвязные выкрики, какой-то монотонный говор стоит над толпой, которую облегает темнота, окутывая ее своими бесконечными одеждами...

Время шло, и печальный случай скоро заявил себя: люди поссорились друг с другом в общей работе. Они наковали себе копий и мечей и, разделившись надвое, пошли друг на друга; и, со свистом, с лязгом, ударялись сабли, и алая кровь оросила прекрасные своды великого дворца — Храма Неведомому, и бурые сгустки крови застыли на неподвижном мраморе. Огонь великого костра уже стлался только по земле, лишь изредка вспыхивая ярким светом. И, казалось, плакал этот дивный Храм Великой Мудрости, около которого сражались люди, смотря на прорезывающие темноту острия шпаг, тяжелых мечей и слушая неугомонные, дикие звуки войны. Сражались любвеобильные и сильные поработители и поработенные, они хотели свободы, света. И буря земли казалась отражением, отзвуком тех стихийных сил, которые теперь бушевали на небе. Как будто продырявились непроницаемые одежды всеобъемлющей темноты, и ослепительные молнии засверкали своими также зловещими огнями, грозные, страшные. Как будто посыпались огненные стрелы и загрохотали громы великие, и

поднялась буря, и забушевала стихия, справляя свою ужасную, царственную тризну. И борются люди, и бушует буря, словно им так несколько веков суждено быть...

Великий гул несется по земле, он идет, он гремит, лязг оружия, крики, звон, зловещие, таинственные отблески багряных огней великого, кровавого костра... Но вот свершилось что-то неожиданное, неестественное, словно чудо. Откуда-то, из неизмеримого пространства неслись печальные, тихие отголоски какой-то неведомой небесной музыки; они приближались, звуки становились все явственнее и слышнее, и скорбные, с безбрежной грустью, они носились над землей и славил правых, они говорили про славу и память, про славу и вечность великим и сильным, они говорили, что буря промчится, эта великая буря, зажегшая все огнем бушующего на безграничном просторе пожара, что будет покой впереди, что зажжется лазурное солнце, останутся сильные, непобедимые...

Но не слушали люди этой великой симфонии, копы и мечи все бряцали, и буря все бушевала с глухими выкриками на безграничном просторе. А песня и музыка неба носились печальные и гордые, сильные и так неотразимо к себе влекущие...

Аркадий Селиванов

КОСТРЫ НА ВЕРШИНАХ

(Памяти А. Н. Скрябина, творца «Экстаза»)

Вероника спала. Закутав в отцовский плащ худенькие плечи, она лежала на каменном полу, и в ее бледной узенькой груди дремал вчерашний темный страх. Вчерашняя последняя слеза застыла на щеке Вероники.

Тихой и доброй была эта ночь. Молчали. Десятки глаз смотрели в темноту. Молились беззвучно. Скорбь без слез притаилась под низкими сводами и тихая радость без смеха. Ждали утро.

В углу у двери тускло горел единственный светильник, и красноватый огонек его дрожал, чуть освещая склоненную седую голову и старые руки. Руки в тихой, бесшумной работе. Отец Вероники делает крест. Пара сухих прутьев, один на другом, кривых и черных. Маленький крестик. Утром он отдаст его Веронике, сунет в маленькую дрожащую ладонь.

В углу спит римлянин. Высокий легионер опустил на стол руки, а на них свою утомленную, слегка хмельную голову. Кровь приливает к бронзовому затылку воина, и он хрипит. Копье прислонилось к двери, тяжелый меч отстегнут и брошен на стол, рядом с игральными костями и пустым кувшином. Зубы волка и когти тигра... К чему они здесь, в этот час? За спиной легионера — овцы, кроткие и безмолвные. Тихая, добрая последняя ночь. И не знаешь, коротка ли она, как мгновенье, или, как вечность, без конца.

В полдень скрипят железные двери, и на порог ложится золотой коврик, сотканный из лучей. Чей-то вздох, чье-то женское рыдание... Вероника встает и, стряхнув с волос желтые соломинки, плетет их в длинные косы. Черными змеями ползут они по ее белой тунике, и сама Вероника гибкой испуганной змейкой прижимается к отцу. Он молчит. Старая, мозолистая ладонь тихо гладит голову Вероники. Они выходят, рука с рукой. Вероника вступает на золотой коврик и на миг закрывает глаза: так бездонно сапфировое небо и так жгуч его первый поцелуй.

Сзади кто-то поет. Тихий одинокий голос. Вероника поднимает ресницы. Под ногами ее желтый песок, широкое знойное поле в белом кольце, в каменных объятьях Колизея. Высокие стены, а за ними — глаза. Тысячи. Бессчетные глаза, открытые и жадные.

Христиане идут. По песку арены тянется медленно серая лента. Теперь уже поют все. Отец Вероники сжимает ее руку и тоже поет. Дрожащий старческий голос хрипит молитву. От слова к слову, все громче... Но голос Вероники, звонкий и чистый, покрывает его.

В груди Вероники трепещут крылышки маленькой белой птицы. Девочка вытягивается, стройная и тонкая, поднимает руку с черным крестиком и дышит жарко и глубоко. И хочет вздохнуть еще глубже, так, чтобы в узенькой груди свободно взмахнули широкие, белые крылья радости. Чтобы и самой подняться и вспорхнуть под синий купол.

Внезапно она падает. Стальная и бархатная лапа львицы задевает плечо Вероники и роняет ее на песок. Но белые крылья уже раздвигают ее грудь, вот они уже за плечами Вероники и нет уже никого вокруг нее. Только ласковая тишина, только бездонная лазурь и солнечная радость... И Он, близкий и родной, такой знакомый, милый Иисус...

И вся душа Вероники полна одним желанием, одним последним, знойным порывом: сказать Ему... Сказать о своей радости, о великом счастье маленькой Вероники, но... На устах ее нет слов. Точно ландыш, белый и смятый, недвижно лежит Вероника. Безмолвно простое и чистое сердце. И с тихой, покорной улыбкой, Вероника закрывает глаза.

Над Кипром всходило солнце. Казалось, что прямо из сонного моря поднимались лучи его, омытые волнами, розовые и чистые. Кланялись ветви деревьев, и первое «здравствуй» шептали листья и травы, стряхивая ночные чары.

Но спал еще белый дворец повелителя Кипра. Как жемчуг в изумрудной оправе садов, дремал он на склоне горы у самого берега. Спали еще воины и рабыни, холодны были очаги, завешены окна, и желтый шелк занавесей подставлял под лучистые мечи свою упругую грудь, охраняя сумрак зал и сон Пигмалиона.

Царь долго работал вчера. Едва остыл полуденный зной, Пигмалион удалился в свою мастерскую и много часов подряд в белом дворце не было владыки Кипра, был только ваятель, горящими руками сражающийся с упрямым и холодным мрамором.

Когда за окном угас огонь неба, царь повелел зажечь земные огни и, в желтом мерцающем свете высоких лампад, до полуночи стучал его резец, и темные глаза Пигмалиона, сжигая белую тунику камня, искали под ней линии будущей статуи.

Старик-раб, дремавший у входа, проснулся первым. Кряхтя и зевая, выпрямил согнутую спину, протер глаза и вошел в мастерскую.

Розоватый сумрак мягкими волнами преникал к высоким стенам и лежал на мозаичном полу, усыпанном обломками мрамора. Старик подошел к окну и откинул занавес. В углах высокой залы вспыхнула резьба золотых карнизов, и холодным пламенем ответили ей снежно-белые статуи.

Тусклые маленькие глазки остановились на лице мраморной богини, обнаженной и бесстрастной. Он подошел к статуе и тронул рукой ее холодные белые ноги.

— Еще одна... — проворчал он. — Для каменных забыты живые... А жизнь и у царей — одна. Только — одна...

И, качая бритой головой, раб пошел будить господина.

Начался долгий день, полный томящего зноя, полный скучных забот. Царь Кипра, утомленный и бледный, с потухшим взором на сонном лице, слушал гонцов, диктовал свои письма или молча глядел на синие маленькие волны спящего моря.

Пигмалион ждал рубиновых вестников вечерней зари. Он ждал ночь, с ее прохладой, тишиной и грезой. Проводил улыбкой утонувшее солнце и сам последовал его примеру: бросился в глубокий бассейн и долго плавал в нем, рассекая сильной грудью ароматную прохладную воду. После, впервые за весь день, вспомнил, что голоден, и за чашей золотистого вина, улыбаясь своим думам, слушал грустные мелодии флейтистов.

А когда в вышине над морем загорелись первые звезды, царь отпустил слуг и, одинокий, слушая четкие удары сердца, пошел в мастерскую. Там уже горели огни, и на стенах дрожали тени статуй, то горделиво-стройных, то робко склоненных.

Пигмалион остановился перед своим последним созданием. Статуя Галатеи была уже закончена. Прошлой ночью рука ваятеля тронула ее в последний раз и создавший знал, что каждый новый штрих был бы теперь святотатством. У творчества есть грань, и на страже ее стоит красота.

Галатея была недвижимой, немой и холодной, но она была прекрасна. Быть может, это больше, чем жизнь?.. Да, среди живых, такой он не встретил ни разу. В какой земле, под чьим солнцем могла бы подняться эта пальма? Небо, одно только небо — родина богинь. Только у ходящих по дорогам эфира могла быть эта поступь. Такая грудь не дышала воздухом земли и этих плеч не смела коснуться туника смертной. И только шею бога обовьют эти руки.

Пигмалион опустил глаза и отошел к окну. Гордая улыбка тронула его сухие жаркие губы.

«А все же она создана мной, — подумал он. — Вот, эти руки смертного боролись дни и ночи, освобождая ее из объятий грубого бесформенного камня. Я разбил ее цепи, сорвал все путы, все покровы... Но кто же я? Лишь раб, вошедший ночью в опочивальню царицы. Как и он, я нахожу ее спящей и не смею разбудить... И не могу. Здесь конец моей силе, моей жалкой власти смертного...»

Пигмалион обернулся, и взор его снова приник к лицу Галатеи.

«Как прекрасны эти губы, чуть тронутые улыбкой... Тень ресниц скользит по щеке. Длинных ресниц. Они прячут солнце и делают взор ее бездонным и вечно печальным... Богиня! О, если бы ты проснулась... Но нет! Камень, мертвый, глупый камень сильнее меня!..»

Пигмалион гневным движением схватил молоток, но тотчас же бросил его и тяжелыми шагами пошел на террасу. Под ногами его хрустели обломки мрамора, и царю казалось, что он слышит смех торжествующего камня, смех

старого врага его, вечно отступающего и никогда не покоренного.

Душная ночь встретила Пигмалиона. Спали воздух, и море, и деревья. Молчаливые звезды висели над островом и снизу из темного сада плыл пряный аромат цветов, стыдливых днем и раскрывавшихся во тьме.

Глубоко и жадно дышала грудь царя и с каждым вздохом, словно старое жгучее вино, пил он знойный недвижимый воздух. Долго ходил по террасе большими шагами, гибкий и быстрый, как его думы. Сжимал руками виски и слышал, как стучит в них горячая кровь. Безмолвный и одинокий, бросался на каменную скамью и долго сидел, сжимая мрамор пылающими ладонями, смотря на звезды сухими, бессонными глазами... И снова вскакивал и метался между белыми колоннами, как призрак, как раненый лев, как человек, в чью душу вошла дерзкая греза, отравы мысли, хмельной, как эта ночь, и безумной. И, подняв руки к дальним мирам, Пигмалион молился Афродите. Горячий, прерывистый шепот его звучал, как повеление, так много в нем было нетерпеливой жажды чуда, пламени желанья и гневной силы, самой безумной из всех человеческих надежд.

И Афродита услышала его мольбу.

Рука богини коснулась груди Пигмалиона, и страсть — стала молнией, буря — ураганом, мысль — приговором и греза — неизбежностью.

Рука богини взяла руку ваятеля и привела его снова назад, к ногам безмолвной Галатеи.

Пигмалион поднял взор свой, огненный мост перекинул к очам Галатеи, и, светло сгорая, поднялось его сердце.

— Люблю... — сказал он и умолк, недвижимый, как лук натянутый и ждущий мига.

— Проснись! Люблю!.. — повторил он и снова умолк.

Ждал. И в тишине, в мерцающем свете высоких лампад, две статуи стояли, одна против другой. Мгновение, быть может, вечность...

И камень уступил.

Человек, уже знающий, уже властный, молча, жадным взором,пил счастье победы.

Дрогнули и порозовели бледные уста Галатеи. Легкий вздох колыхнул ее грудь. Ревниво опустились ресницы, и шевельнулась прекрасная бледная рука. Одно движение. Первое. Вниз, к стоящему у ног...

Пигмалион шагнул вперед, сомкнул кольцо объятья и припал лицом к коленям Галатеи, к ее ногам, стройным, уже теплым...

Он молчал. В этот миг он был в той солнечной стране, о которой нет слов на языке человека.

В книге человеческой жизни много страниц, говорящих о молниях, сжигавших души людей. Много страниц о крыльях Икара, спаленных поцелуем солнца, и о вершинах радости, где вечное безмолвие.

Шли века, уходили боги, вставали и падали царства, но все еще не было имени светлому урагану, уносящему порой, словно былинку, человеческую душу далеко от темной земли.

Люди молились и сражались, творили и умирали, но всегда и всюду за ними шло Молчание последнего мига, и от самых ярких костров на земле оставался лишь пепел немой и холодный.

Но среди нас уже был Одинокий, — тот, кто однажды слышал никем нерожденное слово, и чья-то бессонная воля уже бросила в его душу зерна великой Мечты.

И снова шли годы. На темных и тесных тропинках исканий вспыхивали изредка далекие и бледные огни и, вспыхнув, снова угасали. Тогда Одинокий опускал руку на плечо своего маленького поводыря — Мечты и шел во мраке, медленно, ощупью, но вперед, все вперед... И вела его Мечта, бесстрашная и видящая ночью, потому что у нее были сердце орла и глаза тигра.

По краям темной и узкой тропинки Мечта находила ночные цветы, никем еще не сорванные, благоуханные, на тонких и хрупких стеблях. Она собирала их для Одинокого и, когда он склонял над ними лицо, на бледных лепестках была роса, дрожали слезы ночи, и он пил их, капля за каплей.

И снова шли они вперед, но Одинокий все еще нес в своей груди неутоленную, вечную жажду. Тогда Мечта подводила его к лесному ручью. Холодный и чистый, он торопливо и долго бежал сюда с вершины далеких гор.

Ручей спешил рассказать о многом, что видел на своем пути. О легких беспечных облачках, мимолетно целующих лепестки Эдельвейса, о звездах ночных, таких близких к вершинам, и об алмазах, что луна полной горстью бросает на девственный снег ледников. Говорил он и о темной острой скале, о прикованном к ней Сострадании и об орлах, клюющих грудь Прометея.

Припав к ручью, Одинокий слушал его сказку и пил долго и жадно. И прохладное ложе шелковых трав манило его отдохнуть, опускались ресницы... Но Мечта уже звала его. И снова шли они среди бескрайнего леса, в темноту бесконечной ночи.

И с каждым шагом росла маленькая спутница Одинокого. Неумолимой, сильной и властной становилась она. Одним дыханием своим она раздвигала крепкие столетние деревья. Легким движением ноги сметала с дороги, словно песчинки, тяжелые обломки гранитных скал, и перед лицом Одинокого уже трепетали ее широкие крылья, ждущие бури.

Так шли они молча, часы или годы, — Одинокий не знал. Висела ночь над ними, и спало время. Но однажды вспыхнули в небе зарницы, сожгли темноту и озарили далекие горы.

И движением руки Мечта указала Одинокому на далекий белый храм.

— Смотри, — сказала она, — это дом великого последнего бога. Много имен дадут ему люди: «Примирение» и «Согласие», «Синтез» и «Гармония». Но помни одно: он

будет последним на этой земле. И в широкие белые двери его храма войдут рядом: красота и сила, печаль и радость, страсть и молитва. К алтарю его светлый жених Солнце приведет свою невесту Ночь и на последнем брачном пире сольется все, что разделяло людей: мудрость старца и вера ребенка, пляска и гимн, ползущая правда и окрыленная сказка. Здесь зодчий протянет руку воину, и отшельник улыбнется веселому миму. И будет только единая заповедь начертана над белыми дверями: «Пусть каждое сердце принесет свой лучший дар».

Мечта умолкла, погасли зарницы и взор Одинокого снова встретил безмолвную тьму. Но мгновение уже зажгло в его груди искру того же огня, что горел на алтаре еще не названного бога. И Одинокий уже был созидающим, он был уже творящим. Охваченный светлым безумием, опьяненный хмелем нездешней радости, он слушал тишину и горячими упрямыми руками гения удерживал небо на темной земле.

И все, к чему, хотя бы на миг, прикасались его руки, спешило жить, все было в действии, в неудержимом полете.

Одинокий поднимал голову, и, повинаясь его взгляду, грозовые тучи содрогались в глухом, тяжелом рыданье. Он принимал к земле, — и огненный вздох вырывался из груди вулкана. Далекий океан слал гонцом своим ночной влажный ураган, и он сталкивался, грудь с грудью, с гибким телом смерча из пустыни.

Звери выходили из лесной чащи и смыкали тесное кольцо вокруг Одинокого. С грохотом, потрясающим землю, падали невидимые скалы, кричали совы в шумящем лесу, рычали львы, хохотала буря, и мир, весь мир кружился в бешеном ритме последней пляски.

Одинокий скрестил руки, закрыл глаза и, среди хаоса, слышал только слова, — все те слова, что когда-то горели, рвались и умирали на устах христианских мучениц, древних героев и творцов неумирающей красоты.

И властным голосом сказал он зверям и урагану, грому неба и смеху вулкана, хаосу сказал он:

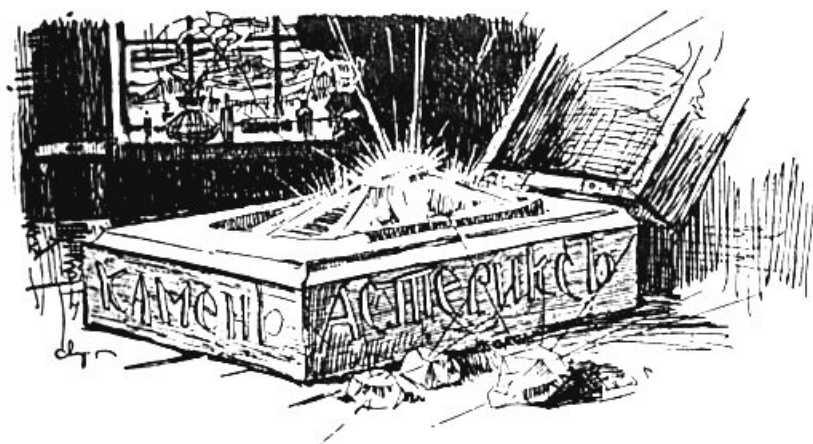
— Повтори!

И на темной дороге исканий, над головой Одинокого
родились звуки, сотканые из последней мольбы и перво-
го торжества. Песнь освобожденного духа, еще не слышан-
ная человеком. Костер восторга и силы, еще никогда не заж-
женный под небом ночи...

Это была «Поэма Экстаза».

Иероним Ясинский

КАМЕНЬ АСТЕРИКС



I

На набережной приморского городка, опустевшего после купального сезона, у окна ювелирной лавочки сидел Мендель Херес и печально смотрел на синее море, над которым плыли бело-желтые облака. Волны шумно бились о берег, то наступали, то отпрядывали. Ветер дул с северо-востока — норд-ост, — было холодно, и ни одного паруса не виделось на горизонте.

Ни один человек не прошелся по набережной, ни одна собака не пробежала. Было это в день перед субботой. Жена Менделя, Рива, пошла на базар, чтобы приготовить к вечерней трапезе все, что полагается по обряду и, кроме того, чета Хересов ждала к себе гостей из ближайшего местечка. Мог приехать кузен Менделя, Моисей, с женой: вчера получена была открытка.

Печально было на душе Менделя. Как море набегало на берег и убегало прочь, и снова возвращалось с назойливым однообразным шумом, так и у Менделя Хереса волновалась, монотонно и томительно, его молодая душа. Ему пошел двадцать пятый год. Он был весь в долгах. Сезон был неудачный: случались только кое-какие починки, и не было торговли; товар, взятый им в кредит в Одессе, ока-

зался другим; когда доставили ящик с золотыми и серебряными вещами, он увидел, что они вышли из моды; камни были жалкие, цены поставлены двойные.

Разумеется, оптовый купец должен был застраховать себя от несостоятельности начинающего ювелира, а публика не хотела покупать дорогих и плохих пещей. Осенью и зимой никакой торговли уже не предвиделось, а в январе предстояли платежи.

Сравнительно немного должен был Мендель. Сосед его, грек Кельдаки, считал его долги пустяком. Что такое тысяча семьсот рублей? Но для Менделя Хереса это были огромные деньги. И надо было еще жить, и много суббот надо было встречать; и молодая жена могла подарить ему первенца. От этого беспокойные и похожие одна на другую, скучные мысли тревожили его душу и само море вторило им и шумело.

— Тысяча семьсот рублей, ах, Боже мой, тысяча семьсот рублей. Двадцать пять рублей в месяц за лавочку! Полтора рубля в день и четыре субботы. Две тысячи семьсот двадцать рублей! Одеться, платить налоги, разные взносы — три тысячи. А доктор, который давно находит, что у его жены — больное сердце?! А расходы на родину и на праздники Пейсах и Куци, и на другие праздники, — разве это не составит еще тысячу рублей?! Так неужели все это вместе будет четыре тысячи рублей?! Четыре тысячи рублей, четыре тысячи рублей! Можно с ума сойти. Мендель Херес с ума сойдет. Мендель Херес не может выручить со своей лавочки больше ста рублей. Такой молодой и уже банкрот, банкрот, банкрот!

Холодный пот проступил на лбу Менделя — пот тоски и ожидания неминуемой беды. Жена его вчера купила себе лакированные ботинки, а вечером мечтала о каракулевом пальто на зиму; а он молчал и ничего не говорил. Может быть, Рива думала, что он молчит от скупости? Разве он не отдал бы за каракулевое пальто для своей милой жены сейчас даже половину жизни? «Ну, положим, десять лет», — поторговался он с собой.

Он смотрел на море, а бело-желтые облака становились уже серыми, и брызги от белопенного прибоя долетали до набережной. Потом серые облака стали чернеть, и море нахмурилось и стало похоже на чернила. Вдруг поднялся белый вал, потянулся к небесам, стал прозрачным, потом свернулся и упал на берег с тяжким грохотом. Мендель даже вздрогнул, — он никогда не видел такого большого вала, а вал, затрепетав на песчаном пляже, отхлынул назад далеко в море также быстро, как и появился. И тогда Мендель с удивлением и даже с испугом протер глаза.

На пляже, на том самом месте, где только что шумел и гремел вал, шел среднего роста, тонкий, одетый во все черное господин в английском картузике, в широком незастегнутом пальто и на очень тонких ногах. Впрочем, очень тонкими они казались потому, что господин был в высоких темных чулках. Спортсмен или турист?! Толстые башмаки со стальными пряжками были на нем. Он опирался на заграничную палку, в которой был зонтик. Летом Мендель как раз починял такую палку по заказу иностранца.

Чем ближе он подходил, тем яснее можно было рассмотреть его. Лицо его было выбрито, брови сближены у переносицы и высоко подняты к вискам, нос длинный, бледные губы неподвижно улыбались. Мендель подумал, что незнакомец пытливо и ласково смотрит на него.

И это была правда. Незнакомец, взобравшись на набережную, совсем близко подошел к окну Менделя и так посмотрел на ювелира, что тот вскочил и быстро открыл дверь.

— Что угодно? Может быть, починить зонтик, — я могу это сделать. Я починил точно такой зонтик одному знатному иностранному господину.

Незнакомец вошел в лавочку и, войдя, осмотрел ее; он быстрым взглядом пробежал по стенам и по витринам и сказал на хорошем русском языке:

— Тут товара не больше, как на тысячу семьсот рублей.

— Совершенно верно, — вскричал Мендель и нервно расмееялся. — Вы удивительно угадали, у вас хорошая оценка. Но это моя собственная цена, а товар стоит дороже.

— Нет, товар на самом деле стоит дешевле, — возразил незнакомец и сел.

Он еще внимательнее посмотрел на Менделя своим жгучим насмешливым взглядом и сказал:

— Мне ваша жизнь совсем не нужна. Согласитесь сами, если одним Менделем Хересом на свете больше или нет, не все ли равно?

— Вам даже известно, как меня зовут?

— Я мог прочесть, как вас зовут, на вывеске, — сказал незнакомец.

— А почему вы заговорили о жизни? — с некоторым испугом спросил Мендель.

— Тут, согласитесь сами, пустыня; разумеется, я мог бы вас ограбить и вы не пикнули бы, — продолжал незнакомец. — Но это мне тоже не нужно. Если я вам покажу камень, которым я владею, и если вы сколько-нибудь понимаете в этого рода вещах, то вы убедитесь, что скорее я могу быть предметом преступного покушения, чем вы. Камень непомерной цены.

Мендель с любопытством и ожиданием посмотрел на незнакомца, а тот, не торопясь, вынул из кармана кожаный ящичек, раскрыл его и показал Менделю.

Камень так и засиял. Он был ярко-красный, огненный, величиной с голубиное яйцо, и на нем играла и переливалась жемчужным блеском шестилучевая звезда.

— В первый раз вижу такой камень, — сказал Мендель, вспыхнув. — Можно на него посмотреть поближе?

— Я думаю, вы можете, потому что я его оставляю вам.

— Вы мне его оставите?

— Я уж сказал.

— Зачем? Сделать булавку? Я могу. Или перстень?

— Можете сделать, что хотите, — я предоставляю вашему личному вкусу. Я хотел бы знать, какое вы проявите при этом дарование; достойны ли вы окажетесь камня?!

— Я учился в Одессе и был хорошим мастером.

— Может быть, но с тех пор вы забыли свое мастерство, и вот вам случай вспомнить. Предупреждаю вас, что камень этот — целый капитал.

Мендель взял камень и посмотрел на свет. И хотя море было черное и небеса тоже были угрюмы, камень играл, тем не менее, какой-то невероятно прекрасной, таинственной жизнью.

— Чудесный камень, — сказал он, — но неужели он такой дорогой? Как он называется?

— Он называется — астерикс. При такой величине и с такой звездой, он стоит не меньше ста тысяч. Теперь на астерикс, кстати, спрос. Астерикс подделать нельзя. Астерикс — подземная звезда, — пояснил незнакомец.

Мендель только хлопал глазами, а незнакомец продолжал:

— Я оставляю его вам, повторяю. Если мне понравится оправа, какую вы придумаете, я хорошо заплачу вам.

— А где вы остановились? — спросил Мендель Херес, дрожащими руками вкладывая камень в кожаный ящичек и пряча драгоценность в столик.

— А я тут остановился — неопределенно сказал незнакомец, кивнул головой ювелиру и вышел.

Мендель был взволнован, и не сразу пришло ему в голову проследить, куда направился незнакомец. На время он перестал слышать шум моря и видеть свою мастерскую, думать о своих долгах и запутанном положении. В душе его вдруг разлился красный свет, и неопределенные, но радостные надежды стали рождаться в этом свете. Он был честным человеком, по крайней мере, он считал себя честным человеком; но с этого момента он перестал тосковать, и только стали дрожать концы его пальцев и задрожали веки; легкая лихорадка схватила его. Он выглянул из дверей своей лавочки, но уже было поздно, незнакомца нигде не было.

Только вставал опять тот непомерно высокий, зеленый, прозрачный на черном фоне потемневшего горизонта белопенный вал, но уже сворачивался в сторону моря, отпрядывая от берега и как бы унося с собой все тоскливые размышления и тревожные думы Менделя Хереса.

II

Мендель ничего не сказал жене, когда она вернулась с базара с своей маленькой кухаркой. Он только был очень нежен с нею и не стал ворчать, что Рива издержала лишний рубль.

— Отчего ты сделался такой любезный? — спросила его жена после обеда.

— Я скоро уеду, Рива.

— Куда? — спросила жена, сделав большие глаза.

— В Одессу!

— В такое время в Одессу уедешь? Зачем?

— С первым же пароходом, то есть через два дня. Я уверен, что через два дня я могу уехать. Я хочу найти работу, Рива, и посоветоваться с ювелирами, потому что мне пришла мысль.

— Но теперь такое бурное время! И какая мысль пришла тебе?

— Мне пришла мысль, которая не приходила прежде. Я соберу весь товар и предложу его обратно, потому что я не хочу быть банкротом. Пусть оптовый магазин, который снабдил меня всей этой дрянью, и возьмет ее обратно. Если он меня надул, то я его могу тоже надуть и не заплатить по векселям, но я хочу войти с ним в сделку и вернуть векселя за его же товар, для него это будет выгоднее. Может быть, найдут другого дурака, но я поумнел.

— Ты давно поумнел? — спросила Рива.

— Может быть, я сегодня поумнел, — загадочно сказал Мендель.

— Что же ты после будешь делать?

— Я хочу найти представительство!

— Какое?

— Необходим, только залог, это правда, но может быть, я найду возможность получить представительство без особого залога, — я покажу только свое умение. Пожалуй, я стану разъезжать по всему миру. Это очень приятное препровождение времени. Если бы ты знала, Рива, я начинаю ду-

мать, что мы будем богатыми людьми.

— Я всегда была того мнения, что мужчина должен зарабатывать деньги, — отвечала на это Рива, — и что если жена захочет не только каракулевое пальто, но и соболью шубку, — муж должен купить. Муж, который говорит, что нет денег, это уже не совсем муж, это все равно, если бы сказала жена: «У меня нет больше губ, чтобы целоваться!»

— А у тебя очень хорошие губы, Рива, — сказал Мендель и рассмеялся. Давно он уже не смеялся таким счастливым смехом. — Что, если у тебя будет каракулевая шубка за то, что ты мне родишь сына!

Рива вспыхнула и спрятала на груди мужа свое смуглое румяное лицо.

— Я бы отказалась от каракулевого пальто, если только тебе нужно ехать на пароходе в Одессу, потому что начинается бурное время и скоро будут штормы, а может, уже начались.

И тут они оба посмотрели в окно на море, незадолго перед тем бушевавшее. Но оно успокоилось; море стало синее, как сапфир, высоко над ним плыли и таяли желтые облака, начинавшие озаряться алым огнем заката.

Так продолжалось три дня. На четвертый день Мендель Херес обошел все гостиницы и меблированные комнаты городка и нигде не нашел своего заказчика. Он описывал его приметы, но городок был пуст, и господина с такими приметами никто не видал и не встречал.

— Тебе показалось, Мендель! — говорили ему.

Он тряс головой:

— Ну как же! Показалось!

И тот красный свет, который тогда засиял в его душе, снова вспыхивал, разгорался и проникал собой уже все существо Менделя. «Это ужасно непонятно, — рассуждал он сам с собой. — Но разве мало вообще непонятного на Божьем свете? Что такое, например, море и что такое земля; а разве понятно, что такое человек? Если этот господин с тонкими ногами и с такими бровями оставил мне дорогой камень без всякой расписки и больше не является за ним, то разве это более непонятно? И что понятного в том, что со-

сед мой Кельдаки имеет в банках триста тысяч, а я не могу оплатить векселей на тысячу семьсот рублей? Мы не понимаем, что такое жизнь и что такое смерть; так зачем беспокоиться?! Ах, будем пользоваться тем, что плывет нам в руки».

Так рассуждал Мендель Херес.

А когда он уже взял билет на пароход и чемоданчик с дешевыми драгоценностями, оцененными втридорога, положил под койку, и жена прощалась с ним и пожимала плечами и с недоумением восклицала: «Что ты задумал, Мендель, что ты задумал?» — он сказал ей:

— А как ты полагаешь, Рива, почему соболя шубка лучше каракулевой, а каракулевая лучше беличьей, и что такое белка, и что такое каракулевый барашек, и что такое соболя, и почему одно понятно, а другое непонятно; или, может быть, Рива, все понятно?

— Я боюсь, что ты сделался ужасно умный, — с соболезнаванием воскликнула она.

— Ах, есть небесные звезды, но есть и подземные, но это тоже кто понимает? — в свою очередь воскликнул он.

— Не говори так, Мендель, а то я заплачу, — вскричала Рива.

Тут заревела пароходная сирена в третий раз, разговор остался неоконченным — супруги расстались.

III

В Одессе Менделю Хересу посчастливилось, как он, впрочем, и ожидал. Он получил представительство от торгового дома Бехли-Кехли и Компания, имеющего сношения с амстердамскими гранильными фабриками, и взялся распространять разнообразные драгоценные камни в определенном районе. Ему достаточно было показать свой таинственный огненный астерикс, чтобы сразу торговый дом почувствовал к нему доверие и уважение к его высоким коммерческим способностям. Камень его был положен в банк на

хранение и принят был в залог, а взамен он получил на сто тысяч товара. Он стал колесить по всем южным городам, приезжал к помещикам в усадьбы, и из его рук лились потоки бриллиантового света. В короткое время он сделал большие дела. Четырехтысячный бюджет, о котором он мечтал, удвоился и вскоре должен был утроиться. А впереди поднималась целая волна богатства и шла на него; он со сладким чувством смотрел на нее, он был счастлив и знал, что счастье всегда будет ему улыбаться. Это было, конечно, непонятно, но именно потому, что было непонятно, была прочна его вера в свое счастье.

С дороги он писал письма жене и присылал ей денег. Она скучала без мужа, но была довольна, когда получила каракулевое пальто: после нового года он сделался отцом крошечного Аарончика: он сдержал слово. Жена сначала не узнала его, такой он стал «порядочный» человек, изящный франт, в самом модном белье, в шелковом жилете, с бритыми щеками, с закрученными душистыми усиками и с самодовольными глазами,

— Скажи, пожалуйста, уж не сон ли это нам снится? — в порыве нежности и благодарности к мужу спросила Рива, оставшись с ним вдвоем.

— Нисколько не снится, Рива, а это жизнь, которая, впрочем, так же непонятна, как и сон. Я бы хотел знать, что понятно во всем том, что мы называем жизнью?

— Ах, будем только радоваться, если радость выпала нам на долю!

— Слушай, Рива, нам ужасно тесно, и поэтому я нанял тебе другую квартиру, знаешь, у соседа Кельдаки, в которой в прошлом году квартировала графиня Скавронская с дочерьми.

— Мендель, ты нанял сумасшедшую квартиру!

— Я нанял такую сумасшедшую квартиру! Надо жить, Рива, надо уметь жить. Мы живем только один раз, нам нужно здоровье и комфорт; что нам нужно больше?

— Но как-то это вдруг все началось, Мендель?! Ты, может быть, нашел большие деньги и не сказал мне?'

— Ах, Рива, я нашел, может быть, талисман. Мы все ходим по земле и не замечаем ничего, но кто-нибудь находится образованный, который берет камешек, и этот камешек, оказывается, имеет особое непонятное свойство. Действительно, это началось вдруг, но камешек самая непонятная вещь. Отчего бриллиант, который ты имеешь на пальце, так дорог? Что в нем особенного? Ведь это же уголь, это уголек, и однако же уголек ничего не стоит. Если над этим долго задумываться, Рива, то от этого голова может лопнуть. Ты лучше меня не упрасивай!

Конечно, Мендель много раз вспоминал незнакомца. Иногда он просыпался ночью, и нельзя сказать, чтобы мысль о незнакомце была из приятных. Незнакомец мог внезапно явиться, как тогда, и потребовать обратно свой камень. Мендель не сделал оправу, как поручил ему незнакомец, камень остался лежать в той же самой кожаной коробочке, как и лежал. — «Ты надул меня, Мендель Херес, — слышался ему голос незнакомца. — Я же говорил тебе, что ты забыл свое мастерство; давай назад камень и возвращайся в свою ювелирную лавочку».

«Положим, — размышлял Мендель, — теперь я заявил себя перед торговым домом, но, однако же, камень играет роль залога, и доверие ко мне доверием, и знание мое знанием, но самое главное камень. Боже мой! — вдруг он ударил себя по лбу. — Какой же я идиот! Разве банк не самая лучшая оправа? — весело спросил он себя. — Что может быть лучшей оправой для камня, как не банк? И разве то дело, которое я развил вокруг этого камня, не есть оправа? И разве камень я расточил, продал? Нет, он цел. Если вы хотите, господин, иметь проценты, пожалуйста, я готов заплатить!» — Он пожимал плечами и весело засыпал, отделившись от докучных мыслей.

От времени до времени они, правда, опять возникали у него, но уже были бледнее и, наконец, совсем побледнели, и совесть его сделалась спокойной, как спокойно становится море после волнения.

IV

Сначала Мендель часто писал жене и месяца через два-три приезжал в родной городок и гостил у своей Ривы, которая становилась все красивее. Она пополнела, румянец широко разливался на ее щеках, черные глаза стали томными, и кокетливо раздвигала она алые губы и показывала молочный жемчуг зубов. Но зато усилилась ее сердечная болезнь, и ей трудно было перейти через улицу. В магазины она, разумеется, всегда ездила, а на базар совсем перестала ходить.

Ребенок рос и тоже хорошел. К нему была приставлена в бонны русская образованная девушка с хорошим великорусским акцентом. У него были большие умные глаза, и казалось, он понимал гораздо больше если не в подземных, то, во всяком случае, в небесных звездах, чем его родители.

И, глядя на него, Мендель с горечью думал о том, что сын его вырастет таким же ограниченным в правах гражданином, каким он был сам. Несмотря на счастье, которое не изменяло Менделю, ему случалось все-таки нарываться на большие неприятности во время своих скитаний с драгоценными камнями по русским городам. Его высылали из нескольких мест в «двадцать четыре часа», и он сохранял на дне сердца горький осадок от этих унижений и насилия над его личностью. А между тем, градоначальник сначала принимал его чуть не с распростертыми объятиями — такой он был представительный, изящный человек и таким светским господином сделался он, с барскими привычками и манерами. Но едва только он показывал паспорт или свою карточку, на которой стояло «Мендель Исакович Херес», как лицо градоначальника внезапно преображалось, — любезный человек становился бульдогом. Мендель поскорее убирался, со своим бриллиантовым магазином в боковом кармане, из негостеприимного города.

Но чаще на пути своем он встречал розы, а не тернии. За ним ухаживали в дворянских усадьбах, и ему строили

глазки дочери и жены помещиков. Ему делали комплименты, что он «совсем, совсем не похож на еврея», и он дошел уже до того, что ему неприятно было, когда в нем узнавали еврея прежде, чем он об этом сам скажет.

Мало-помалу приезды его домой стали реже. Выпал такой год, когда он шесть месяцев не был дома.

— Я понимаю тебя, Мендель, — нежно говорила ему жена, со слезами встречая его на пороге, — ты не хочешь меня волновать и поэтому не бываешь дома, можно сказать, по целым годам. Я тебя очень люблю, Мендель. Ты образцовый хозяин и много зарабатываешь денег и даже присылаешь домой столько, что я не могу жаловаться. И когда как-то распространилась сплетня, будто ты хочешь развестись со мной и даже нашел себе другую невесту, я этому не поверила и даже не написала тебе об этом. Я уверена в тебе, как, в себе самой. Я клянусь Богом, — ты никогда не изменишь мне!

— Я согласен никогда не изменять тебе, — со смехом сказал Мендель, — но, кажется, тебе тоже придется принять христианство.

— Как, Мендель, — с ужасом вскрикнула Рива, — ты уже христианин?

— Нет, я еще не христианин, я еще немножко еврей, но ты права, я хотел бы принять христианство. Мне надоело быть в унижении перед разными властями, даже перед родовыми, меня слишком унижает мое бесправие.

— Но разве тебя не будет унижать твоя измена во мнении всех твоих единоплеменников?

— Евреи народ добрый и оправдают меня, а если и проклянут — что же, свет не клином сошелся, и я давно не вращаюсь в еврейском обществе, потому что те богатые евреи, которые покупают у меня товар мой, ничем не отличаются от образованных христиан. Еврейство, христианство, католичество, прочие религии, — все это непонятно, Рива, а если непонятно, то не все ли равно. Мы можем быть очень добрыми христианами!

— Ни за что и никогда, Мендель! — вскричала Рива.

Было это осенью, был праздник Кушей.

Мендель в великолепном костюме и с самым лучшим заграничным зонтиком под мышкой шел по набережной, как вдруг потемнели небеса над морем. Он взглянул и содрогнулся от ужаса. Темное, как ночь, облако висело над зыблящимся морем, на котором раскачивались однопарусные шлюпки, — подобные белокрылым птицам. И облако это имело странное сходство с лицом того незнакомца, который оставил у Менделя алый камень с жемчужной звездой. В облаке светились насмешливые глаза, над ними были проведены высокие брови, наклоненные к переносице, и улыбка змеилась под крючковатым носом. Это было мгновенно; облако быстро переменялось, разорвалось надвое и превратилось в Северную и Южную Америку с Панамским перешейком. А Мендель шел и дрожал. Впрочем, войдя в знакомый дом, он уже преодолел свое смущение.

Дом был христианский, где к Менделю очень хорошо относились. Хозяин дома был либеральный и благодушный отставной чиновник. Он любил посмеяться над евреями и рассказать несколько анекдотов из еврейской жизни, но зла к ним не питал и негодовал на преследования евреев, предсказывая, что в конце концов евреи получат равноправие.

— А я к вам, Яков Семенович, — начал Мендель, — по маленькому делу.

— По какому, Мендель Исакович?

— Как бы вы посмотрели, если бы я принял христианство?

— А мне что же? Принимайте.

— Вам все равно?

— Разумеется, по расчету?

— Да, я нахожу, что выгоднее быть христианином, чем евреем, то есть, я хотел сказать, удобнее. Когда я буду христианином, я могу ехать куда угодно — даже в Екатеринодар.

— Что же, я могу вам посоветовать принять христианство, тем более, что вы вообще не фанатик.

— Нет, я не фанатик; но есть много непонятного, — со вздохом сказал Мендель. — Итак, я могу рассчитывать, что вы будете моим крестным отцом?

— Хорошо, Мендель Исакович, я согласен быть вашим крестным отцом.

— Ну, так позвольте поцеловать вашу руку, папаша.

Полгода, впрочем, еще колебался Мендель Херес, пока не сделался Михаилом Яковлевичем и не надел золотой тельник, который иногда, как будто неумышленно, выскакивал у него из-под крахмальной сорочки. А Рива много слез пролила, но должна была примириться с фактом. Крестьться она не пожелала и сына отцу не отдала.

Михаил Яковлевич, бывший Мендель, вторично женился на русской барышне, дочери богатого купца, взял приданое, понравился тестю, стал управлять всеми его делами, железнодорожными подрядами, построил несколько заводов и к сорока годам стал миллионером.

В новой семье он был окружен большой роскошью; ездил каждый год за границу. Никто не узнал бы в ожиревшем человеке с пресыщенным лицом и с отвислой губой, вечно окрашенной в сок гаванских сигар, прежнего худенького, юркого и хорошенького Менделя с печальными глазами, влюбленного в Риву и озабоченного предстоящими срочными платежами. Он был счастлив, но иногда вспоминал свой приморский городок, ювелирную лавочку, прекрасную Риву с алыми губами и с пышной грудью и крохотного Аарончика с такими глазами, что, казалось, ребенок постигал все, что было непонятно его родителям; и тоска сжимала его сердце, потому что нельзя забыть прошлого; и все, что позади нас, как бы мы ни убегали от него, догоняет нас и идет рядом с нами и смотрит на нас. Это что-то непонятное, но это так. Память— закон человеческий и, может быть, всей природы. Она помнит прошлое и знает будущее, и от этого так жутко бывает становиться лицом к лицу с природой.

Как-то Михаил Яковлевич собрался ехать в Египет и прикатил в Одессу курьерским поездом. Он сидел на Николаевском бульваре в ожидании парохода и курил гаванскую си-

гару. Кто-то подсел к нему. Он обернулся и увидел своего незнакомца: те же брови, глаза, насмешливая улыбка, черное пальто и тонкие ноги в башмаках со стальными пряжками; и тот же заграничный зонтик в футляре в виде палки.

Незнакомец пристально посмотрел на Хереса.

Должно быть, Херес сделался белей полотна, потому что незнакомец проникся к нему состраданием и спросил:

— Что с вами?

— Со мной? Ничего! — слабым голосом отвечал Херес.

— Нет, я вижу, вам дурно, — настаивал незнакомец. — Что, вы больны?

— Да, я болен!

— Я вижу, что вы больны, — продолжал незнакомец. — У вас внутренняя болезнь?

— Я страдаю почками, — сказал Херес, — и меня посылают в Египет.

— Вы чересчур много курите сигар и, вероятно, не прочь от хороших напитков, и вообще, любите пожить, — сказал незнакомец, — и это все вредно отразилось на вашем здоровье.

— В сущности, я здоров на вид.

— Да, на вид здоровы, но нехорошо, что располнели. У полных людей часто бывает плохое здоровье... Ну что, лучше стало?

— Да, лучше.

— Мы сейчас потребуем содовой воды, выпейте несколько глотков, — продолжал незнакомец. — Странно, я как будто встречал вас когда-то, — произнес он.

Опять бледность разлилась на лице Хереса, и он сказал:

— Мне самому кажется, что мы встречались, но это было так давно, что вы должны были измениться. Я, да, изменился, но вы — нет — несколько не изменились, следовательно, — вы другая личность. Вообще много непонятного в этом мире, — заключил он.

— Непонятное трудно понять, как необъятное трудно объять, — с усмешкой сказал незнакомец. — Встречались мы с вами или нет, я в точности не скажу, но тип ваш зна-

ком мне, во всяком случае. Я, хотя и приверженец старой медицины, но я поспорю с молодежью, и гляжу на вас.

— Вы доктор? — встрепенувшись, спросил Херес.

— Доктор философии, медицины и нескольких других дисциплин, в том числе здравого смысла, — отвечал незнакомец. — Между прочим, здравый смысл требует, чтобы мы не старались проникнуть за пределы непостижимости, а проходили бы мимо запечатанных дверей с невозмутимым видом. Здравый смысл — или, что то же — позитивизм!

— Как вообще в жизни случается, — начал, отпив содовой воды и приходя в себя, Михаил Яковлевич. — Мне случалось и прежде встречать лицо, которое вылитое точь-в-точь, как двадцать лет назад. Например, я давно схоронил свою мамашу и вдруг опять увидел ее; она шла по улице и раздавала милостыню нищим. Я пари держал бы, что я видел мамашу, если бы я не знал, что она уже в земле.

— Здравый смысл, — сказал незнакомец, — не допускает никаких восстаний из земли, но форма повторяется. Листья на одном и том же дереве в Одессе совершенно такие же, как на подобном же дереве в Киеве. А что такое человек, как не лист, распутившийся на стволе человечества?

— Вы умно рассуждаете и приятно вас слушать, — льстиво сказал богач, закидывая ногу за ногу и с легким стоном переменяя положение на скамейке. — Так как вы — доктор и, может быть, нуждаетесь в практике, а между тем вы похожи на одного моего старинного благодетеля, и я чувствую поэтому к вам доверие, то я просил бы вас сказать мне, где ваш адрес; я приехал бы к вам, и вы бы меня исследовали и узнали бы, чем я болен.

— Но вы же обращались к врачам?!

— Они посылают меня в Египет, и я уже взял билет. Они находят, что у меня почечные страдания, но какие — не знают. Есть ведь разные почечные страдания, и я бы хотел знать точно, серьезно я болен или нет.

— Вам незачем приходить ко мне на квартиру, — сказал незнакомец, — я слишком далеко живу. — Он окинул пытливым взглядом Михаила Яковлевича, и невольно под этим взглядом вздрогнул пациент, потом сказал: — Вы еще в мо-

лодости получили камень и носите его в себе лет, может быть, двадцать; вы страдаете каменной болезнью!!

Задрожал Михаил Яковлевич Херес, вскочил и закричал:

— Я страдаю каменной болезнью? В каком смысле вы хотите сказать? Да, вы ужасно похожи, если вы требуете от меня тот камень! — Он протянул руку ко лбу и крепко сжал его пальцами.

А незнакомец спокойно смотрел на него и ждал, что он еще скажет.

На первых порах, еще будучи Менделем Исаковичем, Херес поддерживал правильные отношения с торговым домом Бехли-Кехли и Компания и аккуратно рассчитывался с ним. Но потом счета его затянулись, а торговый дом не напоминал. Мендель, между прочим, принял христианство, женился. Заглянул он в свою записную книжку и увидел, что он продал в последнее время товара тысяч на двести, а великолепный камень, оцененный в сто тысяч, оставался в залоге, и он не решался потребовать его обратно; и обстоятельства изменились — не хотелось уже разъезжать с бриллиантовым товаром. Он махнул рукой. Но, чтобы выйти сухим из воды, он написал торговому дому, но желают ли директора его ликвидировать счет и удержать у себя драгоценный камень. Бехли-Кехли и Компания давно уже зарились на астерикс Хереса и наметили его к продаже известному своей роскошью, великолепием и военными подвигами королю Ростиславу, собиравшемуся надеть на свою голову корону Балканского императора. Такой астерикс он мог бы купить за полмиллиона. Поэтому, когда торговый дом получил предложение Хереса, он только для вида поторговался с ним, поблагодарил его и даже прислал ему несколько десятков тысяч, как «сосиетеру», выходящему из общества, за полезную долголетнюю службу.

Тот красный свет, который прежде озарял душу Хереса, когда он был Менделем, и порождал неопределенные, но гордые и яркие надежды, теперь опять вспыхнул в его душе, но уже он жег ее, как пламя, от которого было больно и концы которого кудрявились черной копотью, душившей сознание.

— Успокойтесь, пожалуйста, — сказал, наконец, незнакомец. — Вы собираетесь с какими-то мыслями и не можете привести их в порядок. У вас, очевидно, были счеты с той личностью, на которую, по вашим словам, я так похож. Но поверьте, если бы даже, в самом деле, была близкая связь между мной и той личностью, я не стал бы тревожить вас ввиду вашего болезненного состояния. Предположим даже, что я имею преемственное или прямое право, допустим, — с усмешкой сказал он, — все равно, я же могу подождать. Как вы думаете? И что такое время? Пожалуй, даже нет времени. Как человека нельзя представить себе без жизни и смерти, без начала и без этого конца, — так и всякое время, заключенное между двумя моментами. Наступит ли конечный момент сегодня или завтра, или через несколько лет, — безразлично. Я так говорю потому, что я, между прочим, доктор здравого смысла, как я уже вам заявил.

— Но вы так определенно сказали, что у меня каменная болезнь!

— Ну, чего же смущаться. Поезжайте в Египет, если думаете, что поможет египетский климат. Но почему вас так тянет в этот ад? Как я понимаю, вам сделается хуже, ваше единственное спасение в операции. Вам вскроют брюшную область и ту полость, в которой лежит камень, и вы поблагодарите меня за совет. Нельзя так часто бледнеть и терять сознание, и нельзя жить с такой ожирелостью, как ваша. Вероятно, у вас когда-то была тонкая шее, а смотрите, какие подушки на затылке и под подбородком!

— Благодарю вас, доктор. Вы мне сказали много неприятных вещей, но правда лучше лжи. Могу я предложить вам гонорар?

— Я возьму с вас гонорар после!

— А когда именно?

— После операции, приду и возьму.

Михаил Яковлевич произнес:

— Я не понимаю, что вы хотите сказать.

— Я хочу сказать то, что я сказал, руководствуясь здравым смыслом. И не стучите в дверь, в которую вам все рав-

но войти не дано.

— У меня страшно бьется пульс, доктор.

— Да, у вас перебой, — сказал незнакомец и стал держать хереса за пульс.

Но тут Херес почувствовал слабость, темное облако застлало его глаза, и он забылся на секунду; а когда раскрыл веки, он сидел один на скамейке, незнакомца не было. Синее море высокой стеной вставало перед ним на горизонте, и на фоне темно-голубого неба выступали белые силуэты парусных судов.

VII

Все-таки Михаил Яковлевич поехал в Египет. Он был жаден к деньгам. Египетский хлопок был гораздо нежнее туркестанского и американского, а между тем, ввиду конкуренции и колоссального урожая, он мог приобрести весь египетский хлопок, сделаться монополистом и перепродать его русским фабрикантам с большим барышом. Он мог нажать на египетском хлопке, одним словом, тысяч сто, если не четверть миллиона; он еще не знал, сколько именно. Он написал об этом тестю, имевшему свою бумажную мануфактуру, и тот подумал: «Какой у меня толковый зять!» Таким образом, поездка в Египет оплачивалась сторицей; и Херес, который, чем дальше жил, тем становился образованнее, предпочел послушаться реальных врачей, а не прозрачного незнакомца, который показался ему довольно подозрительным и, может быть, даже шутником. Правда, в молодости такой же точно незнакомец поступил с ним далеко не легкомысленно, но ведь этот одесский незнакомец сам заявил себя приверженцем старой медицины, а новая наука чего-нибудь да стоит. И если врачи посылают его в Египет, то они имеют основание; и если они обещают ему полное выздоровление, то почему не верить им; и, наконец, египетский хлопок тоже очень серьезная вещь.

На корабле он долго страдал морской болезнью. Ему казалось, что какая-то длинная бесконечная резиновая лента ползет из его горла. Но едва он вступил на твердую землю, как тошнотворный кошмар его кончился. Он отправился к каирским хлопководам, устроил дело, посетил знаменитостей. Те выслушали его, исследовали и приказали лежать. Ему дорого обошлось лечение.. Два месяца лежал он в богатой квартире, которая была нанята для него, и его окружала преданная прислуга с рабскими ужимками; впрочем, слуги обокрали его. Ему не стало лучше, но врачи нашли, что теперь он может вернуться в Россию.

И он вернулся. А когда приехал, то жена и тесть задали бал. Он пил много шампанского и, в ответ на речи гостей, сам сказал речь, которую все нашли красивой, но несколько непонятной. Но известно было, что Михаил Яковлевич уж давно питает пристрастие к непонятному; он часто говорит о нем, и это было его слабостью; а вообще голова его была ясная, его все уважали за деловитость и находчивость и, главное, за удачу.

Вторая жена его была уже не первой молодости, когда выходила за него; едва ли она не была старше Михаила Яковлевича. И так как она наслаждалась спокойной, праздной и беспечной жизнью, много ела сладостей, мяса, пила лимонад и ликеры и поглощала множество чашек кофе с жирными сливками, то она тоже к пятидесяти годам обложилась подушками жира и стала безобразна и неряшлива. И стала страдать внутренними болезнями. Доктора, служившие на фабрике, не выходили из дома Хереса, дежурили у постели то мужа, то жены; и от времени до времени выписывались знаменитости; или же супруги уезжали за границу на воды. То поправлялся Михаил Яковлевич, то совсем падало его здоровье; он становился раздражителен, угрюм, не спал по ночам.

И вот в эти бессонные, бесконечные ночи приходила ему на память вся его жизнь, начиная с того времени, когда он, будучи десятилетним мальчиком, определен был отцом в ученье к резчику печатей, и кончая той золотой порой, когда он стал купцом первой гильдии и из Менделя

сделался Михаилом. Странное дело, когда он вспоминал о незнакомце, то не мог представить его себе в виде определенной человеческой фигуры. Ему представлялись, во тьме его скорбных бессонниц, мрачные тучи с насмешливо-ласковыми глазами, с размашисто приподнятыми у висков бровями и змеящейся, как молния, улыбкой. А камень с жемчужной звездой всегда вызывал в нем впечатление огненного света, и это болезненно разливалось в его душе. Зато черты его Ривы в нежных и определенно точных линиях и красках выступали перед ним из его прошлого. Рива смотрела на него без малейшего укора своими добрыми любящими глазами и держала на руках крохотного Аарончика, у которого был такой умный взгляд. Еще многое видел Михаил Яковлевич, и тогда он мысленно опять становился Менделем и целовал красные губы своей первой жены и обещал ей верность и соболю шубку. Он прогонял от себя милые образы, в действительности угасшие для него навсегда — приморский уголок и ювелирную лавочку, в которой было много забот, но и много радостей и мирно протекала его молодая жизнь. И еще издали вместе с шумом моря, вместе с первыми лучами ясной юности доносились до него бесхитростные мотивы священных и светских еврейских мелодий, и он тоже закрывал для них свой слух. Но пока не рассветало, толпились перед ним эти образы и слагались в тихие, слышные только душе, звуки этих мелодий. И однажды Михаил Яковлевич заметил даже на батистовой наволочке следы слез.

— Эге, у меня совсем расстроились нервы! — решил он и быстро стал собираться за границу, чтобы рассеяться в шумном потоке парижской и лондонской жизни; и, кстати, по дороге, в Берлине, посоветоваться со всемирно известными профессорами.

Из имения до станции железной дороги надо было ехать несколько верст. Ему подали великолепный автомобиль с золотым переплетом на синей эмали. Простился Михаил Яковлевич с женой, с престарелым тестем и со всеми служащими, которые собрались его проводить, сел в карету, и едва шофер сделал версту, как Михаил Яковлевич стал кри-

чать от невыносимой боли. Шофер остановил машину.

— Назад, — приказал ему Михаил Яковлевич, — домой!

Вернулся он домой, и его уже на руках внесли в комнаты. Криком его наполнился весь дом. Он кричал и звал на помощь Бога, и ему стало ясно, что приходит его конец. Недавно он думал, что переживет жену и втайне радовался, что так случится. Он ворочал миллионами, но все принадлежало его жене, он был только главным управляющим делами ее и тестя. После же смерти жены он мог наследовать огромное состояние и сделаться свободным человеком. Он мог бы поехать к Риве и разыскать своего сына, о котором ему, впрочем, было известно, что молодой человек пошел по ученой дороге.

Безобразная жена Михаила Яковлевича перепугалась и прибежала к нему в спальню.

— Что же это с тобой, Миша? — вскричала она. — Как же так ты вдруг заболел, на кого же ты меня покидаешь, несчастную и одинокую? Я ли не берегла тебя, не холила, я ли не предоставляла тебе всякие удовольствия? Ах, чуяло мое сердце! Ах, не послушался ты меня, не поехали мы поклониться Нерукотворной Троиручице, захотелось тебе за границу! За Карлом Ивановичем скорей сбегайте, за Илларионом Федоровичем! Да сколько раз я вам говорила, доставьте мне знахарку Татьяну, травки она знает. Кабы я докторов слушалась, может быть, давно на том свете была бы, а вот скриплю, и долго еще скрипеть буду!

«Она меня переживет», — с ужасом подумал Михаил Яковлевич и стал еще сильнее стонать, и раскидывать на постели руки, и прижимать их к пояснице, и хвататься за сердце.

А глаза его ворочались направо и налево, вылезали из орбит, губы страдальчески растягивались.

Пришли и приехали доктора, и знахарка потихоньку дала больному настой оранжевых ноготков. Через несколько часов успокоились боли. Стало ясно, что нельзя было Михаилу Яковлевичу никуда тронуться в путь, нечего было мечтать про заграницу.

— Какая моя болезнь? — спросил Михаил Яковлевич и остановил на Карле Ивановиче пристальный взгляд, и, не дожидаясь ответа, продолжал:

— Неужели каменная болезнь?

Карл Иванович весело отвечал:

— О да, у вас каменная болезнь, но с каменной болезнью уже, как известно, можно жить долгие годы, и вы представляете собой доказательство этой истины. Я ручаюсь вам, по крайней мере, за двадцать лет жизни.

— Если, разумеется, — подсказал Михаил Яковлевич, — будет сделана своевременная операция — потому, что надо же освободиться?..

— От инородного тела, — подхватил Карл Иванович. — О, да вы правы! Вы всегда высказываете ясные мысли и обнаруживаете во всем глубокое понимание. Вам необходима, конечно, операция. Операция сделает вас свободным, и вы будете еще долго работать, всем нам на радость и на пользу! Если бы вы знали, как огорчены все на фабрике случаем с вами. Не надо только переоценивать его. Профессор Сыроежка может приехать завтра с курьерским, о послезавтра мы уже с Илларионом Федоровичем могли бы ассистировать ему. Поверьте, ничего нет легче этой операции, на девятый день вы будете совершенно здоровы и встанете.

Михаил Яковлевич махнул ресницами в знак согласия. Но прошла неделя, прежде чем он, удрученный новым припадком болезни, приказал вызвать профессора Сыроежку.

VIII

Был осенний дождливый день. В старом саду, окружающем дом, пожелтели листья еще в конце августа. Стояли березы и клены с золотой и алой проседью и по дорожкам шуршали опавшие листья, поднимаемые внезапными вихрями. Лежал Херес в своей комнате, смотрел из хрустального окна на листья, и вспоминалось ему изречение незна-

комца, которого он встретил в Одессе, о том, что человек «только лист на стволе человечества». Упадет лист и закружится в сонме мертвецов и сгниет, и кто вспомнит о нем?

Лежать в постели и не двигаться — требовала болезнь, и Михаил Яковлевич вставал лишь на самое короткое время. Лежа, он думал не только, что жизнь человеческая подобна листу, но и мечтал о Париже. Если на девятый день после операции будет здоров, значит, через две недели он, во всяком случае, может тронуться в приятное путешествие, омоложенный хирургическим ножом. Он представлял себе знакомый отель, с его темной залой для табльдота, с узкими лестницами, подъемными машинами и, в сущности, неудобными номерами; и ему хотелось еще раз взглянуть на гарсона и сказать ему на споем плохом французском языке: «А вот я опять к вам приехал кутнуть в развеселом вашем Париже, черт возьми (ке-диабль-мем-порт)». Он воображал себе весь разговор с гарсоном и сочинял новые беседы с двумя своими тамошними приятелями, с которыми у него были торговые дела. Он ехал с ними в большом такси в «Пре-Каталян» и пил двадцатифранковое шампанское и смаковал тонкую кухню. И воображение уносило еще дальше... Уже сверкали перед его глазами сапфиры, рубины и изумруды и цветные бриллианты за стеклами магазинов Рю-де-ла-Пэ.

Вдруг заревел ветер; листья с дорожек поднялись до самых вершин угрюмо зашумевших деревьев и в небесах над старым садом растянулась черная туча, один вид которой заставил Михаила Яковлевича затрепетать. Туча как-то быстро сложилась и остановилась против окна; она даже почти не двигалась с места, только растягивалась и снова слегка сжималась, как чудовище, шевелила своими влажными туманными щупальцами. А посередине ее кривилась полоса, похожая на улыбку, и над этой бледной полосой шурились узкие, черные с белыми искрами глаза.

— Непонятная игра сумасшедшей фантазии! — с неудовольствием сказал себе Михаил Яковлевич; и он хотел отвернуться от тяжелого зрелища, наводящего на него страх. Но ему трудно было переменить положение, а человек, слу-

живший ему, в это время вышел из комнаты.

Впрочем, встретившись взглядом с глазами Михаила Яковлевича, туча как-то странно и зловеще подмигнула ему и, наконец, стала уползать.

Она уползла, а дверь отворилась, и слуга доложил о приезде знаменитого профессора Сыроежки с ассистентом.

— Проси, — приказал Херес.

Сыроежка был скорее старичок, чем старик — такой он был маленький, сморщенный, с острыми глазами и с очень приятной усмешкой на бритых губах. А за ним вошел человек неопределенных лет во всем черном.

Михаил Яковлевич встретил профессора Сыроежку дружеским жестом, а на ассистента побоялся взглянуть; он был убежден, что ассистент похож на тех двух незнакомцев, с которыми он уже встречался в своей жизни.

— Позвольте представить вам моего коллегу, — сказал профессор. — Доктор Мадера!

Михаил Яковлевич заставил себя взглянуть на Мадеру и успокоился — сходства не было. Фамилия была только странная. Почему Мадера? Если хорошенько вдуматься, и у самого Михаила Яковлевича фамилия странная. Почему Херес? Но он тоже дружески кивнул головой и возможно веселей постарался сказать:

— Итак, вы, господа, приехали меня резать?

— Не тревожьтесь, — нараспев начал профессор Сыроежка, потирая руки. — Сейчас резать мы вас не будем, а немного подождем, сделаем некоторые приготовления, дадим вам собраться с силами и, кстати, посмотрим, далеко ли зашла ваша болезнь.

— Инструменты с вами?

— О, на этот счет не извольте сомневаться, — инструментов сколько угодно. Мы привезли с собой электрические приборы и самые усовершенствованные камнедробители, потому что начнем именно с этого, а уж к резекции приступим в крайнем случае, хотя я давно знаком с вашим камнем и думаю, что все же, не доверяя медицине, вы немножко запустили, и поэтому придется, вероятно, прибегнуть к высокому сечению...

— Что значит «высокое сечение»? .

— А мы вас вскроем по белой линии. Ради Бога, только не смотрите так испуганно. Я уж и в прежние ваши визиты ко мне объяснял вам, что операция камнедробления и камнесечения принадлежит к самым безопасным. Я на сто случаев теряю только четырех больных.

— Все-таки я могу подойти и под этот процент!

— Можете, но с величайшим трудом! Все-таки двести тысяч гораздо трудней выиграть, чем умереть от камнесечения, — пошутил профессор, который был известен тем, что однажды выиграл двести тысяч.

— А какой камень в самом деле у меня? — поднося руку ко лбу и вспотев от напряжения мысли, спросил больной.

— Конечно, не драгоценный. Пузырный камень бывает величиной чуть ли не в утиное яйцо. Известны случаи камня в 15 сантиметров; но у вас не больше куриного яйца. Бывают рыхлые, но бывают и твердые. Ох, какие твердые бывают камни; бывают камни удивительной красоты и феноменальной твердости. Я раз сломал щипцы, дробя такой камень; пришлось делать сечение, чтобы достать камень и щипцы.

— Он не красный? — спросил Херес.

— На рубин он, положим, мало похож, — засмеялся профессор. — Но в моей коллекции есть несколько красных кдмней, и я надеюсь, что это единственная коллекция в мире; по всей вероятности, вам не придется ее видеть.

— Вы думаете, что я не выдержу операции и умру?

— Нет, я этого не думаю. Но какой же вам интерес приезжать ко мне и смотреть на мою коллекцию, когда она вас уже не будет касаться, потому что вы освободитесь от своей ноши. Нет, нет, Михаил Яковлевич, успокойтесь, мы вас захлороформируем и, когда вы проснетесь и вам будут рассказывать, что мы с вами сделали, вам будет казаться, что рассказывают о каком-то постороннем событии и о чуде для вас человеке. Страданий не будет никаких; заживление пойдет быстро, как я вам уже доложил, и даже без наложения швов.

— Я должен подчиниться вам, хотя это ужасное положение — находиться хоть пять минут в чьей-то безусловной власти.

— Лучше находиться в моей власти пять минут, чем во власти камня.

— И совершенно непонятного камня, — печально подтвердил Херес и кивнул головой.

— Итак, мы займемся приготовлениями к операции, для чего я уже присмотрел подходящую комнату, и в ней сейчас производят дезинфекцию и приводят ее в соответствующий порядок. А Карл Иванович, мой старый приятель, доставил уже стол, на который вас и положим. Так-то-с!

IX

Неприятно было, что пошел ливень, и гремел гром, и сверкала молния. Это не затянуло операцию, но отсрочило ее. Еще накануне приезда Карл Иванович получил телеграмму, в которой профессор Сыроежка предложил известным образом приготовить больного для операции. Но все же только перед вечером, когда небо прояснилось, взгромодили Михаила Яковлевича на стол, покрытый белой эмалевой краской, обложили подушками и поднесли к его носу бурок с хлороформом. Он сразу стал неподвижен. Карл Иванович все время держал его за руку и слушал пульс и иногда прикладывал ухо к его сердцу.

Во все время операции Михаил Яковлевич, действительно, не слышал никакой боли, но он все видел непомерно высокий вал, когда-то поднимавшийся против его ювелирной лавочки, и вал то бросался на берег, то убегал в море, сворачиваясь под тяжестью своей белопенной бахромы. Миллион раз встал и отпрянул этот чудовищный вал. И, наконец, на влажном гладком песке засиял огненный астерикс, подобный великолепной, красной студенистой ме-

дузе, выкинутой морем на берег. Застонал Михаил Яковлевич и открыл глаза.

Он лежал в своей постели, и над ним сидели фельдшер и Карл Иванович, а в углу теплилась лампадка. Страшная жена его с жиденькой косичкой на жирном затылке клала поклоны перед иконой.

— Благополучно? — спросил больной слабым голосом.

Карл Иванович сказал:

— Молчите, не говорите, Михаил Яковлевич, вам еще рано, поберегите силы. Все, разумеется, благополучно, и вас можно поздравить с освобождением от давней, тяжелой болезни.

— Все-таки у меня режущая боль!

— Процесс заживления, Михаил Яковлевич; ничего не поделаешь, два дня пощиплет, на третий как рукой снимет. Но мы облегчим вас, это уже пустое дело, это уже в наших руках.

— А камень разломали?

— Не поддавался щипцам, пришлось целиком вынуть... вырезали...

— Где он?

— А его ассистент взял, чтобы промыть. Я не знаю, впрочем, куда он его девал. Он уехал вместе с профессором. Да зачем вам камень?

— Как зачем? Подавайте мне мой камень! Чтобы сию минуту мне был камень!

Он хотел стукнуть кулаком по постели, но ослабел, впал в бессознательное состояние и начал бредить. Он выкрикивал непонятные слова, которые наводили ужас на его жену, и она крестила его: «Бог с тобой. Бог с тобой, Миша!» — жар у него поднялся, он не приходил в себя всю ночь.

А на другой день Карл Иванович нашел, что процесс заживления остановился, слишком много было гноя. Он сделал несколько промываний. Больной раскрывал глаза, чувствовал на миг облегчение, но тотчас же забывался. Все поднималась температура, все бредил Михаил Яковлевич и выкрикивал непонятные слова. А когда он крикнул «астерикс», жена его упала на пол; да и лицо мужа напугало

ее, такое оно было страшное.

— Батюшки, святые угодники! — все кричала Марья Савишна.

Она еле добралась до своей спальни, закрылась в пуховики и молилась Богу, а знахарка Татьяна отпаивала ее наговорной водой.

Но пока она отпаивала, Михаилу Яковлевичу стало совсем худо. Судороги стягивали его пальцы, дрожал его рыхлый подбородок, погасал взор.

— Камень, камень мой! — шептал он по временам. — Астерикс!

Карл Иванович давно уже телеграфировал профессору Сыроежке о желании больного взглянуть на камень и иметь его при себе, но ответа не было. Не дождавшись, он послал фельдшера в город с наказом непременно привезти камень.

Фельдшер добился свидания с знаменитостью, у которой все время было расхватано; но профессор Сыроежка только пожал плечами.

— Что за странная фантазия! — вскричал он. — Да я бы вернул камень, несмотря на величайший научный интерес, только я, в свою очередь, не могу получить его от доктора Мадеры.

Стал искать фельдшер доктора Мадеру. Нашел его квартиру; но старый хромой слуга его (хромой черт, как мысленно обругал его фельдшер) объявил после заминки, что доктор Мадера уехал в Бессарабию на побывку в свое имение, а камень, может быть, выбросил.

— Зачем порядочному человеку такой камень? — ухмыльнулся старый черт.

Когда же фельдшер с пустыми руками вернулся домой, Михаила Яковлевича Хереса уже не было в живых, он скончался.

Он лежал на столе под серебряным покрывалом с восковым лицом, на котором застыла вопросительная улыбка.

Нет, самом деле много непонятного на этом свете, много таинственного и странного. Самое же странное во всей этой истории было то, что после похорон Михаила Яковлевича к имуществу его и к лично ему принадлежащему ка-

питалу была предъявлена претензия доктором Мадерой, который легко доказал, что он родной сын его, переименовавший только фамилию по чисто семейным соображениям: ему не хотелось носить имя отца, по его мнению, опозорившего себя отступничеством от религии отцов.

* * *

Ювелирная лавочка Менделя Хереса до сих пор существует на набережной далекого приморского городка, только уж другая фамилия красуется на вывеске и за большим стеклом единственного окна сидит другой ювелир, тоже молодой человек, тоже с тоскующими глазами, в которых можно прочесть тревогу о наступающих срочных платежах за взятый в кредит, в Одессе или в Варшаве, скверный старомодный товар; а за его спиной движется молодая дама с красивым лицом, с чудесными еврейскими глазами, с алым ртом, тоже порой меняющая о каракулевом пальто и ожидающая рождения крохотного Аарончика... И так же, как прежде, плещет сонный вал на бесконечном, сверкающем под жарким солнцем гладком пляже; и над темно-синим морем плывут желто-розовые облака, и выкидывает оно на берег лиловых медуз. Дух печали, одиночества и заброшенности носится над водами; и еще тепло, но уже дышит осенью; и с акаций, и с пестрых персиковых и серебристых масляных деревьев срывает ветер увядшие или засохшие листья и гонит их по безлюдным улицам опустевшего после сезона городка. Бесконечна повторность явлений природы. И в самой подвижности их смены угадывается вечность, как обратная сторона покоя, в котором пребывает вселенная в недрах своего величавого сна...

Иероним Ясинский

ЛУПУС СТО ПЕРВЫЙ

Илл. В. Сварога



I

Барон и баронесса

В крытом проходе с платформы Приморской дороги на набережную Большой Невки на скамейке дремал, летом, часов в шесть дня, молодой человек в клетчатой тройке, белье монополь и в соломенной запыленной шляпе. Он был смугл, худ телом, неопрятен и черноволос. Щеки поросли синей щетиной, усы походили на пиявки, присосавшиеся к ноздрям. Нос — крупный, с горбом. В ослабевшей руке он держал дорогой камыш с золотой монограммой под графской короной.

Так дремал он целый час, уронив голову на спинку скамейки. Пассажиры шли с платформы и на платформу: озабоченные, торопливые дачные мужья, дети, барыни и барышни в модных и немодных шляпах — и никто не обращал на него внимания.

Вдруг небрежно, но богато одетый барин лет сорока, сытый, откормленный, с двойным загорелым подбородком, со счастливыми выпуклыми синими глазами, шедший об руку с хорошенькой востроносенькой дамочкой с бледно-золотыми волосами и в розовой легкой, как мечта, шляпке, остановился шага за два до дремавшего молодого человека и сказал по-французски:

— Посмотри налево, вылитый наш Рыжий.

Дамочка повернула свой хорошенький носик в сторону молодого человека и весело проговорила:

— Только без бороды и перекрашенный. Стал брюнетом.

— Конечно, он! — радостно и вместе насмешливо подтвердил сытый барин. — И палка моя, то есть не моя, а графа Венцлавского, которым я был в счастливые годы моей юности, еще до встречи с тобой.

Тут бывший граф Венцлавский уверенно подошел к дремавшему молодому человеку и хотел взять у него из рук камыш.

Но бывший Рыжий крепко уцепился за палку и не выпустил из рук. Он приподнял голову на отекавшей шее и сонными глазами воззрился в графа. Радость и испуг вспыхнули в его зеленоватом взгляде, а улыбка растянула тонкие губы и отодвинула черных пиявок к ушам:

— Кого вижу? Граф? Какими судьбами?.. Или я ошибся... барон Розенкранц? И баронесса?..

Изящная чета ответила ему дружеской улыбкой. Так после долговременной разлуки встречаются где-нибудь на платформе бродячие артисты.

— Послушай, Рыжий, или, вернее, Черный, смотрю на тебя и дивлюсь. Что с тобой? Ты опустился или подстерегаешь какую-нибудь мышь? Твой грим бросается в глаза. Ботинки просят каши. Одинок?

Бывший Рыжий вздохнул, ухмыльнулся и подвинулся на скамейке, чтобы очистить место.

Но господин, согласившийся быть бароном, засмеялся и отрицательно покачал головой.

— Нас скомпрометирует твое соседство. А между тем, сама судьба послала тебя. Мы наметили, правда, довольно дельного малого. Но только талант, а у тебя гений... Ну и, как всякий гений, ты по-прежнему нищ, как бездомный пес. Признайся, веришь в судьбу?!

— Да, да. Сегодня пришлось стибрить со столика булку. Я спал и перебаривал. Я коллективист и я бездарен, когда одинок.

— В этом я никогда не сомневался, — сказал барон. — Ты был невыразимо глуп, когда поссорился с нами.

— Тогда вы забрали львиную долю.

— Потому что мы — львы!

— А я — осел, пес?!

— Положим, и осел, но главным образом — вол, великолепная рабочая скотина... Не сердись, старый друг, мы тебя озолотим. А верно — на юру самое место для нашей беды. Все бегут мимо, сломя голову. Люблю толпу. Толпа — как стадо баранов. Было время, когда я плавал в толпе, как селедка в море. Товарищ, я тебе дам, — он вынул бумажник и порылся в нем, — портрет этой прекрасной дамы. А ты — ну, не радуйся так, а то на тебя смешно смотреть — а ты смахай в магазин и оденься получше; и белье чтобы было джентльменское. И приезжай немедленно по этому адресу. Да, я — барон Игельштром, так что ты почти не ошибся. И мы вместе...

— Вспомним старину? — сладко сказал бывший Рыжий.

— К черту. Обсудим ближайшее будущее.

— Дело большое?

— Огромное!

Глаза их встретились, и взгляды потонули друг в друге.

— Итак, до вечера.

Баронесса поворачивала головку, как хорошенькая птичка с розовым хохолком, отливающим металлическим блеском, и слегка ударила своего спутника перчаткой по руке.

— Сейчас, ангел мой!

Повинуясь баронессе, барон кивнул своим двойным подбородком бывшему Рыжему и направился к выходу на улицу.

Там чета вскочила в подползший и остановившийся трамвай.

А вслед за бароном и баронессой в прицепной вагон сел бывший Рыжий.

II

Любовь к музыке

Номер, который занимали бароны Игельштром, муж и жена, выходил окнами на Морскую. В высокие и широкие

полуциркульные хрустальные стекла бельэтажа вонзались лучи, отбрасываемые озаренными закатным солнцем золотыми литерами вывесок. Номер был полуторный. В нише, занавешенной гранатовым бархатом, стояла двойная бронзовая кровать. Несколько сундуков и чемоданов были наполнены баронским багажом. В углу, ближе к дверям, стоял рояль. На рояле лежал большой футляр. Всюду по комнате были разбросаны в пестром беспорядке шелковые галстуки, ленты, кружевные лифчики, ажурные чулки, пудра, щетки, гребенки, духи; сверкало дорогое ручное зеркальце, и на полированном палисandre преддиванного стола золотым кружком с бриллиантовыми искрами выделялись драгоценные дамские часики.

В номере барон бросился на оттоманку и позвонил.

Утомленный лакей в черном фраке на коленкоровой подкладке вошел с потупленными глазами.

Барон приказал, и акцент у него был настоящий немецкий: «Карту с блудом!»

Он ногтем подчеркнул на карте несколько блюд и сделал указания, как они должны быть приготовлены соответственно с его утонченными вкусами.

— И вот еще, голубчик, — вспомнил он и сделал строгое лицо, я у себя в номере козьян — кайзер. Я могу захотел кричать, я буду кричал; танцевать — буду танцевал. Сегодня, как вчера, как и позавчерась, как и в тот вечер, когда я был приехал, баронесса намерен играть до поздний час, и чтобы я не слышал претензия, никаких. И еще ко мне пришел знаменитый музыкант на виолоншель, — он указал на футляр, что на рояле, — и аккомпанировать будет баронессе — и тоже, а никаких. До самый поздний час.

Лакей объяснил, что гости выехали из соседних номеров еще с вечерним экспрессом за границу — крутом барона пусто...

Барон обрадовался. Баронесса даже захлопала в ладоши.

— А шампанское? — спросила она.

— Ах да! Кордон вер. Два раз.

Барон показал два пальца.

Лакей поклонился.

— Прикажете заморозить?

— Ну, конечно. Чтобы был лед!

Еще лакей не ушел, как баронесса открыла крышку рояля, и клавиши запели под ее тонкими пальчиками.

III

Несвоевременно

— Играю, играю эту проклятую тарантеллу и до сих пор не могу понять, что ты задумал? — прерывая игру, сказала баронесса.

— То, что я задумал, есть плод вдохновения — художественная находка, — отвечал барон. — Станет все ясно, когда начнется концерт. Мне пришло это в голову еще на прошлой неделе, в Киеве. Кровельщики стучали по железу...

— Ах, не вспоминай, — прервала баронесса, — до сих пор расстроены нервы.

— Благословляю, однако, кровельщиков. Они стучали, а ты играла, а мысль зародилась и сверлила мозг, и я мечтал о Петербурге, о Морской, и, как все игроки, я суеверен. Я загадал, что если мы приедем в этот отель и окажется, что номер, который мы занимаем теперь, не свободен — предприятие лопнет, и ждать нечего.

— А почему номер так важен? — тихо спросила баронесса.

— Птичья головка задает несвоевременные вопросы. Могу открыть тебе только, что теоретическое построение предшествовало практике, а успех зависит от строжайшей тайны.

— Вольдемар, — сказала баронесса, медленно перебирая клавиши правой рукой, — что именно — открой — какая практика?

— Тут есть поэзия, — сказал барон, закуривая сигару. — Меня радует и наполняет счастливым волнением борьба.

Люди завели свой порядок — узаконенные приемы накопления миллионов, а я всей своей деятельностью свидетельствую, что борьба за жизнь может принять своеобразные формы. Легко было какому-нибудь Александру Македонскому или Наполеону, опираясь на миллионы солдат, хватать за горло целые государства и выжимать из них золотое масло. Попробовал бы Наполеон побыть хоть один день в моей шкуре. Предоставленный самому себе, он очутился на острове Св. Елены. А я вот уже пятый десяток живу, и через мои руки прошли сказочные богатства.

— Ты хочешь сказать, Вольдемар, что у тебя...

— Что я — хвастун? Скромность никогда не была моей добродетелью. Но не будем выходить из области сравнений. Наполеоновские маршалы в свое время служили приказчиками и трактирными половыми. В детстве я был парикмахерским мальчиком, но разве я потом не носил с честью графский титул, и разве меня не признают бароном вот уже три года? Если бы я сейчас умер, положим, от удара, меня схоронили бы на лютеранском кладбище и над моим благородным прахом воздвигнули бы прекрасный монумент. А подлинные бароны Игельштромы, пребывающие в Риге ныне в полной неизвестности и бедности, с благодарностью приняли бы от меня наследство, по-родственному разделив его с тобой. Все условно. И кто силен и предприимчив — жрет за десятерых и перед ним же, глядишь, вытягиваются в струнку и руки держат по швам менее способные.

— Неправда, Вольдемар, тут должно быть особое счастье.

— Не спорю. Надо уметь и обладать творческим умом, но самое главное — родиться с жаждой. И чем жажда неутолимее, тем ярче успех... Ну, да мы зафилософствовались с тобой, крошка. Это у меня всегда бывает накануне великих событий... Кстати, подай карты.

Баронесса подала две колоды карт.

Барон придвинулся к столу и стал раскладывать сложный пасьянс, а баронесса, сказав: «Ну, я, кажется, имею право отдохнуть», расстегнула крючки и кнопки, повертелась перед зеркалом, обмахнула лицо косметическим полотенцем и пошла в альков.

— Буду спать! — крикнула она из-за бархатной портьеры.

IV

Желанный гость

Вышел пасьянс. Барон докурил сигару.

В соседнем номере за перегородкой слух барона уловил подозрительный шорох. Налево была капитальная стена.

Он встал и приложил ухо к коврику.

Шорох продолжался. Потом все стихло. А через минуту раздался стук в дверь. Барон приотворил половинку дверей и увидел высокие ослепительные воротнички, фетровую шляпу и модный серый реглан.

— Вильгельм? Узнать нельзя. Дурного тона, но джентльмен. Нехорошо, что без доклада. Ты — известный виолончелист.

И барон захлопнул перед носом Вильгельма дверь.

Вильгельм разыскал в коридоре лакея, — и тот доложил об артисте Громиловском.

— Громиловский? А, карашо. А, кстати. Подать в номер ужин пораньше, дабы в десять часов мы могли будем начать наш концерт.

— Я очень счастлив, дорогой Громиловский, что ты не отказался исполнить мою просьбу... Послушай, черт тебя побери, — продолжал барон, запирая за лакеем дверь, — конечно, ты был сейчас в соседнем номере?

— Я, — отвечал Вильгельм, он же бывший Рыжий, а ныне Громиловский.

— Любознательность?

— На всякий случай.

— Опасность?

— Ни малейшей.

— Нахал, какая фамилия!

— Что на уме, то и на языке.

— Неужели догадался?

— Я не умею устраиваться, — сказал Вильгельм самодовольно, — и фортуна не благоволит. Нет коммерческих способностей. У тебя, как всегда, лежат в заграничных банках порядочные куши. А я частенько голодаю. Но смекалка имеется. Ты только адрес сказал, и я сообразил. Ах, дьявол!

Он хлопнул барона по коленке.

— Без фамильярностей, — дружески сказал барон. — Перешибешь. А также без крепких словечек — баронесса за портьерой.

Глаза Вильгельма потемнели, и в зеленом сумраке их сверкнули искры ревности.

— Ведь и я держал в руках райскую птичку, — понизив голос, сказал он.

Барон косо посмотрел на гранатовую портьеру и, нахмутив бровь, шепотом спросил:

— Что ты хочешь сказать?

— Ты барон Игельштром, — и я твой слуга. Ты наслаждаешься жизнью, кушаешь фазанов и прелестных женщин. А я ползаю на задворках, и в кои-то веки улыбнулась мне смазливая мордочка...

— Она предпочла меня. Чувство свободно, Вильгельм.

— Знаю. Я покорился. Тогда она была простенькой хохлосточкой, но такая же тоненькая. Сам же я и познакомил с тобой.

— Что сводить счеты! — с легкой досадой сказал барон. — Была она серенькой птичкой, а райской стала только теперь. И я не сомневаюсь, Вильгельм, что именно ради нее, и благодаря ей, должна упрочиться связь наша. Поверь, что если бы Милли склонила стрелку весов своего сердца в твою сторону, хотя бы на короткое время, я бы сумел это оценить. Ты еще меня не знаешь!

— Себялюбец!

— Себялюбец, но хочу, чтобы и другие около меня жили — близкие, как ты. Только высшие цели у меня на уме. Все для них. И первый я, и ты, и, конечно, райская птичка.

Барон закрыл глаза рукой и пояснил:

— Я — «сквозь пальцы».

Вильгельм ухмыльнулся.

— Нет, где уж нам. Я только так... Я сентиментален. Приятнее, ежели чисто. Свиньей я много раз и без того был. А что касается дела, — заговорил он другим тоном, — то товарищески. Слуга-то я слуга, — уловив выражение глаз барона, продолжал он, — сам же ты назвал меня волом, но на мне — весь фундамент.

— Ну, не фундамент, — улыбнулся барон.

— Ну, не фундамент, так свод. Вдруг на железный переплет наткнешься в два пальца.

— Вильгельм, ты уже такой умный?

— Не пью, а на бильярде да в стуколку ума не проиграешь. Над паркетом и смазкой работа пустая, а расколоть арку — не кокосовый тебе орех.

— Ты меня поражаешь, Вильгельм. Но, совершенно верно, именно для этого ты понадобился.

— Зачем ты ездил в Сестрорецк?

— Взглянуть на море и встретить талантливого юношу, которого заменил ты. Кстати, я не встретил его и, следовательно, не успел переговорить. Было и еще дельце...

— Грандиозный план....

— И простой.

— Лом, коловорот, пилы, огонь?

— Припасено!

— И аппарат?

— Для коробки с сардинками. К твоим услугам самый лучший.

— Из бессемеровской стали?

— Два раза был уже на службе. Могу сказать, с патентом.

— В Варшаве в прошлом месяце на Иерусалимской твоя работа?

— Паевого товарищества!

— Ловко было сделано.

— Мальчишки! Разве не читал?! Попались в Данциге. Хотели было политикой накрыться, но поскользнулись.

Вильгельм взмахнул бровями в знак согласия, что в самом деле мальчишки, не сумели спрятать концы в воду, и

долго молчал. Наконец, поднял глаза, раздвинул усы и сказал хриплым шепотом с оттенком вопроса:

— Пополам?

Барон откинулся на спинку дивана.

— Но, по моим сведениям, там, по крайней мере, на миллион ценностей и наличными тысяч триста.

— Тем лучше, — не сдвигая усов, процедил Вильгельм.

— Но куда же тебе, Вильгельм, такая уйма?

— За труды праведные!

— Само собой разумеется, труды праведные, но ты не сумеешь распорядиться. Ты обалдеешь, и самый тупой сыщик тебя сцапает.

— Надоело. На ноги стану. Нищета заела. Паспорт перемену. Может быть, тоже сделаюсь графом и начну гастроли. Хорошие знакомства всегда на пользу нам.

— Неверный путь избираешь, — озабоченно произнес барон. — Авантажности в тебе этой нет. Но, ладно... Посмотрим... Ладно!

— Надуешь?

— Может быть!

Вильгельм встал и в приятном волнении зашагал по комнате, распрямляя плечи.

— Поесть бы охота.

— Пальцы проглотишь!

— Люблю тебя, — заговорил Вильгельм. — Неистощимая ты голова. Ну что я в сравнении с тобою. Конечно, вол. А ты философ, математик, профессор, умственный аристократ, столп и утверждение нашего ордена.

Пробило десять.

V

Пир

Ужин был великолепный.

Крупные рябчики в сметане, жареные устрицы à la Бисмарк, стерлядь, гурьевская каша, ягоды, шампанское, ликеры. Лакею было приказано не являться, а прийти за уборкой утром. Баронесса отлежала щеку, и долго не погасал румянец на ее лице. Сначала зевала, но усердно принялась за еду.

— Знаете, что, господа, меня бьет лихорадка, — призналась она. — Я ужасно чего-то боюсь.

— Вышей... Чокнись с Вильгельмом. Рекомендую — Громиловский!

Барон приотворил тяжелую раму с цельным хрусталем и выглянул на улицу, утопавшую в перламутровых сумерках белой ночи.

Донесся трескучий и наглый окрик автомобиля.

Барон захлопнул окно и опустил штору.

— Ничего интересного. Фараон стоит на перекрестке, дворники на местах. Все благополучно.

— Тебя радует порядок? — пошутил Громиловский и протянул бокал барону. — Будь здоров!

— Разумеется, я за порядок, если он нам благоприятствует, — отвечал со смехом барон. Он смеялся, может быть, чересчур громко, поднося вино к губам. — Борьба с порядком изощряет, — произнес он. — Становится острее ум, и развивается изобретательность. Если сравнить первобытных врагов порядка и современных его противников — разница колоссальная. К нашим услугам прогресс. И как Крупн льет пушки для обеих воюющих сторон, так культура строит бронированные шкафы и тут же кует орудия для их вскрытия. Положительно странно, а если вдуматься, то мудро: мы боремся с порядком и, однако же, не разрушаем его, а создаем. Скажу больше: если нам совершенно не нужен порядок, то мы до крайности нужны порядку. Не будь воров, громил и вообще преступников всевозможных сортов и родов, разве мог бы существовать теперешний полицейский порядок со всеми его мерами пресечения и предупреждения? Мы — главная питательная артерия полиции. Какое множество народа существует, украшается галунами и погонами и разъезжает верхами и в пролетках единственно бла-

годаря нам! Все это упразднилось бы, если бы не мы. Поэтому, я лично не испытываю раздражения и злобы против полицейских агентов: они плоть от плоти нашей, неизбежный результат нашего исконного посягательства на основы, на коих зиждется царство мира сего.

— Ты так хорошо говоришь, что я перестала дрожать! — вскричала баронесса.

— Моя слабость, — сказал барон. — Известно ли тебе, Милли, что стрелка приближается уже к одиннадцати? И что нам предстоит концертировать всю ночь?

— Известно, конечно. Но зачем? — Она вопросительно посмотрела на барона и на Громиловского. — Кому аккомпанировать!

— Играть на виолончели будет барон, а я — плотник и каменщик...

Баронесса подняла брови и пожала плечами.

— Нельзя ли, наконец, без загадок?

— А представь, Милли, я ничего не сказал, а Рыжий понял, только взглянул на расположение нашего номера. Проницательная bestия!

— Рабочая скотина и проницательная bestия — вот какими характеристиками угощает меня его сиятельство. Но я позволю себе объяснить вам, баронесса, поведение нашего общего друга. Есть дела и делишки, за которые не глядят по головке не только тех, кто их учиняет, но и тех, кто, зная о них, в свое время не доносит, кому следует. Щадя нас с вами, барон предпочитает играть втемную и предоставляет нам, в случае неблагоприятного исхода предприятия, сослаться на наше полное незнание — ни в какие подробности он нас не посвящал и, согласитесь, что это крайне великодушно с его стороны.

— Что и говорить, — сосуд благородства! — сказала баронесса.

— Милли, я терпеть не могу уксуса, — погрозив пальцем, внушительно сказал барон. — Ужин мы можем, господа, продолжать по мере надобности. Слишком достаточно. А пока закроем его газетами. Милли, за рояль!

Баронесса сжала губки. Строгим взглядом проводил ее барон... Она стала бренчать. Сначала нехотя. Барон pokrыл салфетками и газетами блюда. Подошел и дотронулся до плеча красавицы с ласковой улыбкой. Она болезненно вздрогнула и заиграла громко. Потом все громче и громче звучал рояль.

Барон вынул из футляра маленькую виолончель и стал водить смычком. Он играл — многие находили — мастерски. Участвовал даже в каком-то благотворительном великосветском концерте проездом через губернский город и тогда же выиграл на вечере у губернатора несколько тысяч.

Гром рояля и пение виолончели наполнили комнату дрожащей и пронизанной музыкальным шумом атмосферой.

Вильгельм прошелся по номеру. Он и прежде уверял, что у него музыкальное чувство. Размахивая в такт рукой, он взял протянутые бароном во время паузы ключи и отпер плоский, окованный темной бронзой длинный сундук из корабельной просмоленной парусины.

VI

Тоже несвоевременно

Громиловский достал из сундука топорик, долото, клещи, пилу побольше и толстую узкую «ножовку», несколько рукояток с мягкими для дерева и твердыми для железа коловоротами, правильный прибор, заряжаемый электрическим током, лично им изобретенный еще четыре года назад и с тех пор уже значительно усовершенствованный бароном, и страшной остроты и бриллиантовой закалки треугольный короткий лом о двух неравных плечах.

Он быстро вынимал инструменты и раскладывал на столе.

— Чтобы не вышло недоразумений, Вильгельм, надеюсь все-таки на свой ум, подчиняйся во всем капитану и

прислушиваясь к его приказаниям обоими ушами, — сказал барон, не переставая играть. — Корабль отчаливает.

Дверь, которая казалась запертой, распахнулась, и вошел усталый лакей с потупленными глазами.

Барон заскрипел зубами, но приналег на виолончель, а бывший Рыжий схватил пилу с железной ручкой и стал в такт бить по ней долотом, что совершенно удовлетворило вошедшего и даже не возбудило любопытства. Он был похож на отравленную муху.

— Что тебе? — сурово спросил барон, отрываясь от игры.

— Прикажете убрать?

— Как ты смел входить без доклада? — заревел барон. — Не смейть убирать, а никаких!

Он топнул ногой.

Вильгельм, как ни в чем не бывало, извлекал из пилы мелодичные звонки, а баронесса играла, и только профиль ее был бледен, словно вырезанный из бумаги.

Лакей оторопел, трусливо уронил челюсть, колени его подогнулись и повисли, как плети, руки.

— Ваше сиятельство, ва, ва, ва... прошу меня извинить... я нарочно не дерзал ложиться спать, единственно, чтобы услужить вашему ва, ва, ва сиятельству.

— Ты глупый, смехотворный, такой жалкий, — умилосердясь, проговорил барон. — Надо понимайт, каким господам ты делаешь службу. Фуй, пошел прочь. Спокойной тебе ночи.. Чичас. И чтобы до утренний завтрак я не видел твоя физиономия.

— Слушаю-с, ваше сиятельство.

— Но я же тебе, голубчик, рюсский язык каварю! — страшно выпучив глаза, вскричал барон.

— Не прикажете ли...

— О, несносный дюша. Все есть.

— А сельтерской выкушаете?

— Ты пристававал, как банный лист к спине, — заорал барон и бесцеремонно приподнял полу своего пиджака.

— Я очень виноват перед вашим сиятельством... Но...

— Э, ты раскофариваешь? Ты не хотел пробовать мой смычка? — с добродушным гневом сказал барон и замахнулся на лакея.

Лакей понял, что это не шутка, перестал трусить, сонное лицо его даже оживилось и, смешно увернувшись от удара, он с искренним хамским умилением произнес:

— Сразу видно настоящих господ.

Когда он исчез, Вильгельм вытянул лицо.

Барон потряс головой.

— Запри за ним дверь, — приказал он. — Не все зрячи и догадливы, как ты!

— Как это случилось, что дверь...

— Тебя следовало бы вздуть...

— До чего я испугалась! — приходя в себя, сказала баронесса.

— Но чего же? — спросил барон. — Лакей — идиот.

— Но я же вижу, что начинается что-то серьезное.

— Живей, живей, с темпераментом. Время. Время! Фу-га! Вильгельм. Центр!

Вильгельм постоял с секунду-другую на ковре, которым обит был паркет, и вдруг посреди комнаты очертил острым ножом около себя круг.

И в то время, как клавиши уподобились листовому железу, потрясаясь сильной рукой и загудели, загрохотали, а струны виолончели завывали, как ураган, затрепал обнаженный паркет, посыпалась известковая смазка, окаменевшая от времени, выросла в кучу мусора у преддиванного стола, и Вильгельм-Громиловский почувствовал, как долото ударилось в подшивку, проломило ее и остановилось в бронированном цементе.

Плечи у Вильгельма были сильные, его мышцы, как стальные канаты, и яма в пол-аршина в поперечнике была выдолблена им в час с небольшим.

— Эх! — проворчал он, встряхиваясь. — Дья-воль-щи-на!

— Что? Не тяни! Торопись!



VII

Мышонок

— Во-первых, да извинит меня прекрасная дама, — начал Вильгельм. — Я разоблачился вплоть до нижнего белья... жаль было бы запачкать новый костюм.

— Время! — сухо произнес барон, не сводя с него пытливого взгляда.

— Но у меня, с позволения сказать, за пазухой бегают мышонок — и это во-вторых, а я смертельно боюсь и, кажется, начну сейчас кричать благим матом. Напоролся на целое гнездо. Положим, негодяй голенький. Но смертельно щекотно.

— Вытряхивай скорей, — с отвращением сказал барон.

— Я начну визжать, — затрепетав, вскричала баронесса.

— А, в-третьих, — почти неодолимое препятствие!

Он объяснил, корчась от мышонка и норовя поймать его сквозь рубаху в ладонь, что приводило барона в ярость, — что если пустить в ход трехгранку и еще через какой-нибудь час, не раньше, прошибить свод, укрепленный с такой дьявольской предусмотрительностью, то в таком случае нечем будет вскрывать коробку с сардинками, инструмент никуда не будет годен, а действовать плавилкой на цемент — бесполезно.

— Поймал! — вскричал Вильгельм в заключение, и кровь проступила на его боку сквозь запыленную рубашку.

— Ай! — взвизгнула баронесса.

Барон закусил губу. Он выждал, пока успокоится баронесса, и сказал, подавляя гнев:

— На всякого мудреца довольно простоты. Ты не вынул из ящика сверлилку с черным бриллиантом, а ему поддаются самые твердые горные породы, а электричество под рукой.

Надо было нажать боковую пружинку, и в особом отделении оказался черный бриллиант.

— Новость? — сказал Вильгельм. — Ах, черт... Камешек — ногой отшвырнуть!

— После клюкнешь, когда дело будет сделано, — нажав смычок, остановил барон бывшего Рыжего, собиравшегося налить себе стакан ликера для подкрепления. — Осовеешь, как, помнишь, в Харькове, где из-за твоей слабости мы проворонили сто тысяч.

Вильгельм, ворча, оттолкнул стакан и приладил электрический привод к новому коловороту.

Со сказочной быстротой завертелся инструмент, завизжал, запел, зашипел и вышел насквозь. Рядом с отверстием было сделано второе, третье, четвертое. Когда же просверлен был круг в разных направлениях — долотом и ломом уже легко было выбрать по частям цемент, и Вильгельм насыпал новую кучу мусора у рояля.

— Поняла, что вы хотите делать! — все по-прежнему бледная, побелевшими губами прошептала баронесса, изнемогая от волнения. — Право же, отнимаются руки. Как раз под нами отделение Нью-Йоркского кредита! Как мне не пришлось в голову раньше!

Барон дал ей отпить из бокала глоток шампанского. Тот же бокал протянул Вильгельму и, что осталось на дне, выпил сам.

Баронесса колотила по клавишам, и, несмотря на шампанское, стучали ее зубы.

— Какое безумие, — говорила она отрывисто. — У американцев всегда самострелы, капканы, звонки во все полицейские участки... Чего нам еще недоставало?

— А огненное счастье борьбы? А блаженство ставки на жизнь и на смерть? А миллионы? Тише, дурочка. Тсс... Милли. Будут бриллиантовые пряжки на туфлях. Ну, живо. Фуга!

Он все играл одну и ту же пьесу. И пели, и выли, и плакали, и рыдали, и стонали, и грезили струны его виолончели, и лихорадочно прыгали, задыхаясь от погони друг за другом и от неистовой скачки, костяные клавиши под тоненькими пальчиками баронессы.

VIII

Пролом

В нижнем этаже день и ночь сгорело электричество. Окна были занавешены до половины темно-зеленым шелком; нельзя было видеть, что делается в банке, когда в нем сидят и ходят. Но с улицы городской или случайный прохожий мог быть свидетелем странной сцены спуска с потолка по канату человеческих фигур. Наконец, в банке могли дежурить...

Пока электрический коловорот просверливал последнюю дыру, Вильгельм высказывал эти соображения, пришедшие ему в голову.

— Отчего же раньше молчал? — насмешливо спросил барон.

— Ты, барон, капитан корабля и распоряжаешься произвольно... Некогда было всего сразу обмозговать! — отвечал Вильгельм.

— То-то же! Наш номер расположен не над помещением на улицу, а над кладовой — над стальной комнатой. На улицу — кабинет директора, равняющийся едва половине нашего номера. Пролом сделан на указанном мною месте, и спустимся мы как раз в кладовую, а кладовая изолирована толстейшими стенами.

Барон низко наклонился над коловоротом, который все вертелся.

— Смотри, ажурная работа, а ни искры света, значит — темно. Итак, не разговаривай. Все предусмотрено, даже сигналы. И сторожей нет. Дирекция давно спит на лаврах безопасности. И что такое сторож? Я еще никогда и никого не усыплял... Но перед исключительными затруднениями, понимаешь, не останавливаюсь.

Баронесса поникла головкой, чувствуя ломоту в локтях, плечах и пальцах.

Барон пилил на виолончели. А Вильгельм выламывал куски цемента; ширилась брешь.

Барон и баронесса не слышали, но Вильгельм слышал — как штукатурка, падая на металлический стол посреди кладовой, извлекала из его доски унылые, тревожные и зовущие на помощь звуки.

Вот он швырнул комком мусора в барона.

— Что?

— Лестницу!

Барон вынул из футляра тонкий шелковый канат, продетый через деревянные шарики, укрепленные на расстоянии аршина друг от друга. И едва успел барон надеть канат конечной петлей на крюк, предусмотрительно вверченный им в паркет еще вчера, взвешивая все подробности нападения на банк, — как Вильгельм провалился в нижний этаж, и долго поднималась пыль из пролома, коричневая, густая, скрипевшая на зубах.

Слезы побежали по щекам баронессы. Барон затаил дыхание. Он ждал — какой знак подаст Вильгельм, и с каждым ударом сердца уверенность его нарастала, и возвращалось бодрое настроение.

Вильгельм долго не шевелился. Вдруг внизу вспыхнул электрический фонарик, и пепельно-голубоватый свет заколебался в столбе пыли, которая еще носилась над проломом. Барон взял со стола плавильную лампу, лом, другие инструменты и сказал молодой женщине:

— Можешь отдохнуть. Будь достойной подругой и не теряй мужества. А услышишь стук оттуда, — он указал на пролом, — опять и опять тарантеллу. Отдохнем за границей. Может погубить только чудо.

И по канату он нырнул под пол.

IX

Нервы Милли

Милли была, утонченная натура. Она получила воспитание в знаменитом хоре «Толстой Розы», которая из свое-



го прозвища сделала фамилию и иногда подписывалась «Толстая». У Толстой Розы был в Познани очаровательный замок, где она проводила лето, окруженная прекрасными подрастающими созданиями, которыми она торговала, как торговала бы яблоками и апельсинами, если бы у нее был фруктовый магазин. Певичек всякого рода со слабенькими голосами, но со смазливymi мордочками и с гибким телом, она поставляла во все увеселительные сады и театры мира и нажила не один миллион. Теперь она оставила ремесло своей молодости, вышла замуж за нью-йоркского банкира, дела которого требовали поправки, ведет честную буржуазную жизнь, и бриллианты в ее ушах считаются самой чистой розово-красной воды, какая только известна ювелирам. Прежние враги и завистники Толстой Розы, и даже барон, уверяют, что этот розово-красный отблеск знаменует собой кровь девушек, которых воспитывала Толстая Роза. Впрочем, барон относился к Толстой Розе с уважением и на Новый год посылал ей открытку. А Толстая Роза в прошлом году с материнской нежностью встретила в Биаррице Милли, хотя ничего не подарила ей.

Милли когда-то была оценена в крупную сумму, и на ее манеры было обращено особое внимание; и оттого она так в совершенстве умела играть тарантеллу. Еще она могла петь шансонетку: «*Par ci, par là — et voila*». Если бы она осталась одна на свете, шансонетка прокормила бы ее: ничто не может быть пикантнее и вместе с тем наивнее. Бывший персидский шах восхищался ею подряд два года в Одессе.

Одним словом, нервы Милли не выдержали и, когда барон исчез, а она, подойдя, к шторе и приподняв ее, увидела, что на перекрестке стоит не один городской — их было трое, и все они отдавали честь подошедшему офицеру — она потеряла сознание, упала в кресло и уронила головку на мраморный подоконник.

Прошла вечность..

— Милли! — окликнул баронессу знакомый голос.

Она увидела над собой запыленное лицо барона.

— Полиция! — произнесла она с ужасом.

— Где?



Молодая женщина с тоской посмотрела на перекресток. Помощника пристава и двух городских уже не было. Стоял по-прежнему, как монумент, постовой городской, только пониже ростом.

— Вольдемар, Боже мой, бежим!

— «Бежим, спешим!» — передразнил барон. — Ты, ангел мой, с ума сходишь. Меньше всего ожидал я от тебя... Хороша подруга, которая, как, свинец, тянет ко дну. Мне крылья нужны. Полно, -- девчонка, успокойся! Смотри, как расцветает. Сыграй-ка что-нибудь безумно бравурное.

— Когда я тебя вижу — перестаю бояться, — с бледной улыбкой покорно сказала Милли и пересела к роялю.

А барон нагнулся к ее маленькому ушку и сказал:

— Сейчас будем вскрывать сардинки.

— Все, как во сне, — проговорила она и бросила руки на клавиши.

— Крепись же, — сказал он и снова прыгнул в пролом.

Х

Операция

Вильгельм Громиловский, острый профиль которого озарен был белым светом плавильной лампы, заряженной электричеством, держал асбестовый рожок в руке, и пламя, выдуваемое с силой, широким языком лизало дверку несгораемого шкафа. Сталь из красной становилась голубоватой, лишь местами покрытой пунцовыми пятнами.

Барон взглянул на дверку, потер руки.

— Созрело!

Взял трехгранку, нажал на раскаленную сталь острием и ударил молотом. Трехгранка вошла в стальную броню, как нож в масло. Уперев трехгранку на железную подставку, так что образовался рычаг с длинным и коротким плечом, барон быстро взрезал броню, и она свернулась в местах разреза и покоробилась, как жель.

— На наше счастье, ужасно прескверно делают на заводах все эти несгораемые вещи, — насмешливо заметил барон. — Потуши лампу. Мошенники! А деньги лупят настоящие!

Дверка распахнулась.

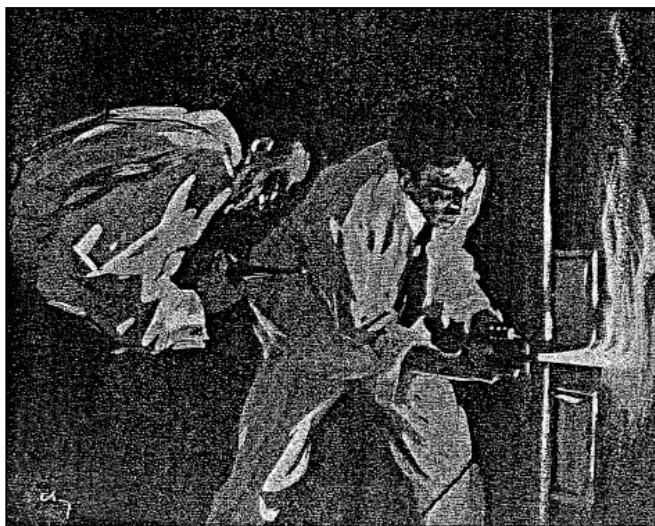
— Поджарь, — сказал барон, — еще вон ту коробку. Может быть, только документы. Но спрос не беда.

Он вынул из отделений шкафа толстую пачку английских, французских, немецких и русских банковых билетов и рассовал их по карманам.

— И ты! — крикнул он. — Половина твоя!

Вильгельм почувствовал тяжесть за пазухой своей мокрой от пота и черной от пыли сорочки и усерднее приналег на другой шкаф.

Пламенный язык с шипением лизал бронированную сталь.



Шкаф оказался тоже с деньгами. Барон ощупал карманы и вздувшуюся грудь, посмотрел на вздувшуюся грудь Вильгельма, на часы, на секунду задумался и сказал:

— Голконду сразу не заберешь, да и чутье не обманывает: в остальных ящиках и тайниках должны быть бриллианты, именные билеты и прочие подозрительные ценности.

— Подозрительные?

— Потому что опасные... они имеют приметы, а вынимать камни — не стоит игра свеч.

— Ступай, а я останусь, — с жадно засверкавшими глазами сказал Вильгельм.

— Застрелю, — со свирепой улыбкой сказал барон.

— Боишься, что застряну?

— Наверняка.

Вильгельм пожал плечами и опустил руки.

— Твой слуга.

Барон поднялся по канату первым, за ним — Вильгельм.

При свете электрических ламп и яркой утренней зари, лившей свои лучи из-под полуопущенной шторы огромного окна, странный вид являла собою комната. Груды мусора, на всем пыль — и серая, как тень, Милли, в изнеможении бившая по клавишам окоченевшими пальчиками.

Барон кивнул ей.

— Брось. Подкрепимся. Уложи свои вещицы. Три часа, а в банк приходят — в девять, положим, в восемь. Вильгельм, мусор убрать.

— Куда?

— Под кровать, а часть — нидер. Ну, и вычистить ковер щеткой и заплату пришить обратно — кнопками... С восьмичасовым поездом будем уже далеко. Поверь, если я ездил вчера в Сестрорецк, то тоже недаром, не только ради тех причин, о которых я тебе, Вильгельм, поведал. Все уже было решено и, если бы я не встретил тебя, я сделал бы один. И, может быть, было бы лучше: дележки не было бы! — засмеялся барон. — Силен во мне товарищ. За Выборгом запутаем след. Вчера из Сестрорецка уже выехал приблизительно похожий на меня и с такой же спутницей — только она под вуалью — барон Вольдемар Игельштром. Сыскная погоня помчится и, руководствуясь банальной психологией, сделает угонку в сторону за этой четой, а мы доедем до Або, сядем на пароход и — в Стокгольм, и в Копенгаген... Дружески расстанемся, Вильгельм, и, если вновь появимся в Петербурге, то уже в другом одеянии и под другими знаками.

Он вымылся у рукомойника и то же сделал Вильгельм, когда окончил уборку номера. Оба они оделись джентльменами, а слабонервная Милли попыталась заснуть. Товарищи сняли запыленные газеты и принялись за остатки ужина. Чокнулись.

— А разве нельзя сейчас уйти? — спросил Громиловский, устремив на барона взгляд.

— Можно, но трудно. Надо дожидаться все-таки же настоящего утра. Должно быть правдоподобно.

— У тебя не работают кузнецы в душе?

— Не трушу ли я? Трусость бывает двух родов — глупая и умная. Глупый, большей частью, выдает себя. Великолепно сделал дело, а в три часа удирает и сразу обращает на себя внимание.

— Но видишь ли, я музыкант, гость, и смешно же оставаться на всю ночь.

— Ты прав, — забарабанив пальцами по столу, сказал барон. — Но без меня оступишься. С тобой огромные деньги.

— Глазам своим не верю и рукам! — раздвигая пиявки до ушей, проговорил Вильгельм.

— Но черт с тобой. Непрактичность есть глупость и должна быть наказана; да за что мы страдаем? Таким образом, я предпочел бы, чтобы ты оставался с нами. Ты гость, но мы пригласили тебя ночевать. Может быть, виолончель опять сейчас запоем. Вильгельм, я буду неспокоен, если ты уйдешь. Меня начинают одолевать дурные предчувствия, а знаешь, я в этом отношении не ошибался.

— Как хочешь, — тоже барабанив пальцами, проговорил Вильгельм, и глаза его не были потуплены.

— Значит?

— Нет.

— Стоишь на своем?

— Да, барон, на своем. Я нахожу, что подозрительно оставаться именно на всю ночь... Отчего же не воспользоваться шансами? Охотно подожду тебя у Выборгского вокзала в гостинице. Возьму футляр с виолончелью, приеду и займу скромный номерок, а швейцар выпустит меня, само собой разумеется, без всяких...

Баронесса лежала на постели, и глаза смыкались, и свинцовые веки опускались с неудержимой тяжестью. Но теперь сон отлетел, энергия возвратилась. Она вскочила, оделась по-дорожному за портьерой и вышла к мужчинам.

— Я тоже хочу есть и пить, — щурясь на свет, сказала она и протянула свои тонкие руки к барону.

Он посадил ее около себя.

— Не спишь. Слышишь, что задумал Вильгельм?

— Он прав. Отчего же ему не уехать вперед? Только не надо ему давать ничего с собой: явился он с пустыми руками.

— На первый взгляд, логично. Но откуда же моя тоска? — с тревогой в голосе спросил барон. — Ну, хорошо, да будет по-твоему, если и Милли находит.

Вильгельм торопливо доел салат из рябчика, запил ликером, и, еще облизывая губы и вытирая усы рукой — носовой платок он забыл купить — стал прощаться.

— Я уверен, до скорого свиданья!

Он надел свой модный реглан, шляпу и в самом веселом и радостном настроении, утомленный, но и счастливый, направился к дверям, оглядываясь на баронессу и барона и кивая им головой.

ХІ

Сыщик

Лицом к лицу, пройдя крохотную переднюю номера, на пороге выходной двери он столкнулся с сонной физиономией разбитого усталостью лакея.

Вильгельм отшатнулся.

— Изволите уходить? — вяло спросил лакей.

— Проводи и получи на чай.

Сонная физиономия преобразилась. Продольные морщины лакейского лица раздвинулись поперечной улыбкой, в хитрых серых глазах вспыхнули огоньки насмешки и торжества, стан распрямился, протянулись твердые, как железо, руки и схватили Вильгельма за оба плеча.

— Сколько дал бы ты мне на чай? Назад!

Он втолкнул его в номер, запер дверь за собой и тоже вошел.

— Чисто вы обделали дело, господи, — сказал он и вынул из карманов по револьверу.

Барон стал бледен, как будто внезапно поседел.

— Как ты осмелил! — закричал он.

— Полно ломаться, — спокойно сказал лакей.

— С кем имею честь? — спросил барон.

— С сыщиком!

Барон заморгал. Не сразу понял. Вильгельм сел на кончик стула, а Милли в немой ярости начала грызть свои ногти; и ненавистью и злобой загорелись ее глаза.

— Ну, что же? — начал сыщик. — Карты раскрыты, маски сорваны, а молодцы. Барон Игельштром несколько лет носил графскую корону и, как только вошел знаменитый Музыкант, я издали, по его трости, узнал в нем сотрудника. Может быть, я, конечно, сделал бы несколько ошибок, если бы рассказал план барона во всей его связности. Но в общем я был убежден еще полгода назад, когда получил в гостинице место лакея, что непременно будет сделан пролом в этом номере и банк будет ограблен. Иначе какой черт заставил бы меня ходить во фраке и сносить брань капризных гостей, в особенности вот таких нервных дамочек... Смотрит на меня, как рассерженная кошечка, — презрительно-ласково прервал он себя и продолжал: — Идея обобрать банк именно таким способом принадлежит, конечно, к числу самых простых, при современной технике и высокой интеллигентности лиц, посвятивших себя прибыльному ремеслу. Несколько лет, с тех пор, как в столице начались ежедневные очередные разгромы квартир и магазинов, я делал теоретические разыскания таких мест, где возможны новые взломы и разгромы, и меня чутье не обманывало. Признаюсь только, что я сначала мало интересовался вопросом о поимке взломщиков. Но когда я убедился, что уметь читать в таинственной книге воровских судеб Петербурга мною постигнуто почти в совершенстве, я выступил на активный путь. Вы удивляетесь, барон, баронесса и великий маэстро Громиловский, к чему я столько говорю, и обдумываете, как бы отделаться от меня и всадить, по возможности неслышно, пулю в лоб моей нежеланной особе; я, однако, неусыпно слежу за малейшим вашим движением и, как у вас, барон, в серьезную минуту бывает потребность болтать и вторгаться в метафизику — я кое-что подслушал из ваших разговоров, — и это вполне естественно, — так и у меня есть склонность поговорить, с той только разницей, что все, что я ни делаю и ни говорю

— целесообразно. Пожалуйста, успокойтесь и положите руки на стол. Я не говорю «поднимите», но положите. Мои щенки заряжены. И, кроме того, в руках у меня проволока: нажму кнопку и подниму тревогу.

Барон солидно посмотрел на Милли и Вильгельма и сказал:

— Мы должны исполнить требование господина сыщика, потому что, — весело прибавил он, — я начинаю подозревать, что возможен компромисс. Коса наскочила на камень. Отрицать факт нельзя. Мы всего не считали, и не знаем в точности, какая у нас сумма, но приблизительно около трехсот тысяч. Увы, расчеты на большее не оправдались. Сколько именно хотели бы вы получить?

— Все.

— Все? — вскричал барон и привстал с места.

— Сидите, — сделав движение своими бульдогами, приказал сыщик.

Баронесса уронила голову на грудь и заломила руки.

Вильгельм устремил на сыщика косой взгляд отчаяния.

— Все, — продолжал сыщик. — Право на моей стороне. Сообразите хорошенько. До сих пор ни один очередной разгром, за весьма редкими исключениями, не был раскрыт; преступники оставались безнаказанными; вошло в норму — коробки вскрыты, сардинки съедены, и концы канули в воду. Но вдруг величайший взломщик нашего времени, краса и гордость всей воровской вселенной, сам сравнивающий себя с Наполеоном, барон Игельштром и он же граф Венцлавский — не упоминаю о других его титулах и званиях — схвачен мною на месте преступления — и не случайно, а с применением такого психологического метода, который смело может быть назван научным. Какой почет, слава, какой треск!

— И ни копейки денег! Полноте! — брезгливо вскричал барон.

— Нельзя сказать, что ни копейки. Тысячами пахнет, но заработанными честно. Тратить времени не будем, — сухо заключил сыщик. — Требую все, и только великодушное мое оставляет вам капиталы, распределенные вами по раз-

ным банкам.

ХП

Торг

— Но послушайте же, надо иметь немного совести, — кисло рассмеявшись, сказал барон. — Ведь это же хуже всякого разгрома.

— Погром разгрома, — согласился сыщик. — Если бы можно было заниматься и дальше выслеживанием таких чудесных краж, я бы удовольствовался казенным процентом. Например, предвижу на этой неделе несколько мелких разгромов и даже укажу номера домов, где они произойдут. Но не так-то легко совпадение моей личности с личностями тех мастеров. И шкурка вычинки не стоит. Повторяю: — все! В таком случае, я своевременно, еще до обнаружения разгрома, подам автомобиль и вместе уедем. Я в качестве провожающего вас от гостиницы лакея — вы такой почетный гость—а вы — подальше от тюрьмы. Нет другого выбора.

— Простите, — пыхтя и отдуваясь, после минутного молчания сказал барон. — Собственно говоря, я не ожидал встретить такого представителя полицейского сыска; вы обнаружили остроумие с одной стороны и жадность с другой. Но сомневаюсь, не товарища ли по оружию я имею счастье видеть перед собой?

— Я — сыщик, но я — доброволец. Я, так сказать, Пинкертон. Самоучка. И представляю собой совершенно самостоятельный, самодовлеющий, автономный мир.

— Очень и очень любопытно, — сказал барон, и лицо его просияло. — Присядьте с нами, пожалуйста, и за трапезой побеседуем мирно. Бояться нечего, — обратился он к Вильгельму. — Успокойся, Милли. В лице неизвестного детектива мы, вероятнее всего, приобрели друга. Спрос беды нечинит. Ну, уж если так стоит дело, поладим; не опасайтесь

и вы нас! — снисходительно сказал он добровольцу. — Может быть, с нами такие средства защиты и нападения, о которых вы не подозреваете, несмотря на все ваши глубокие познания. Здравый смысл должен же вам подсказать, что в настоящее время возможны только добрососедские переговоры и вытекающие из них отношения. У вас хорошая специальность. Мне приходило в голову, что, пожалуй, возможно иногда наткнуться на неожиданность в этом роде; но тогда я работал в Лондоне, вернее, учился работать. Я очень ценю вашу находчивость и отдаю должное вашей наглости. Но вы бы не умалились в росте в моем представлении о вас, если бы потребовали половину, даже треть или четверть...

— Все!

— Непреклонны?

— Теперь четыре часа. Остается три. Но если все это бесконечное время, равное вечности, вы пожелали бы употребить на убеждение меня в удобном вам направлении, ваше красноречие не подвинуло бы меня ни на волос. Поймите, надо быть маньяком или сумасшедшим, чтобы бросить сцену, на которой я имел успех, и невесту, которая горячо любила меня, и всецело предаться овладевшей мной идее. Я не спал ночей, бродил по Петербургу, поступал то в дворники, то в швейцары, то делался приказчиком, наконец, стал лакеем. В меня вселился легион бесов, одержимых сыскным зудом. Я ничего не читал, кроме сыскных повестей и романов, знаком с мемуарами всех выдающихся сыщиков, с живыми сыщиками, изучал их психологию, удивлялся их тупости и страдал от нее, бывал на всех уголовных процессах, где судились не только крупные, но и мелкие воры и воришки. Я потратил бездну энергии. Был момент, когда я хотел наложить на себя руки; истерзанный мечтами и призраками, я совсем уподобился кладоискателю; он разыскивает сокровища, которые ему мерещатся и которые, действительно, существуют, но каждый раз золото превращается в кучу битых черепков. И вот я держу в руках клад, отысканный мною по всем правилам изобретенного мною метода. Под моей ногой трепещет сам король взлом-

щиков, первый чемпион мира, побивший все рекорды грабительства, вооруженного последними словами техники и науки, престижитатор воровской удачи, пожиратель банков, превращающий несгораемые броненосцы в жалкие жестяные коробки, — и я уступлю ему, и разделю с ним плоды своей победы, своей преданности путеводной звезде, сиявшей мне так долго и томившей меня неизвестностью! Я поделюсь с ним плодами своих бессонниц! Или все и — дружба, или ничего и — вражда. От меня мое все равно не уйдет. Вместо трехсот тысяч, я получу каких-нибудь три тысячи, но у меня тогда будет миллион впереди... а каторга у вас.

ХІІІ

Барон согласился

Пот крупными каплями выступил на лбу барона.

— Но если все, — проговорил он, — то неужели не примете в соображение, что мы вынули собственноручно горячие каштаны? Триста или, может быть, даже четыреста тысяч! Вы сумасшедший.

— Нам, пожалуй, наконец, надо уступить, — подал голос мокрый от пота Вильгельм.

— Молчи, ослиная голова! — закричал барон в припадке внезапного бешенства.

— Не надо горячиться, — сказал доброволец сыска. — Вы ровно ничего не теряете, отдавая мне все — теряет банк.

— Но мы же рисковали!

— Риск я беру на себя, а за труд вы можете получить — я на это готов — столько, сколько я получу от банка, если вы откажетесь от моего определенного предложения.

— Ну, послушайте, давайте выпьем! У нас тут кое-что осталось.

— Я пока не пью. Я тверд, меня ничем не вскрыете.

Молодой человек, с насмешливым торжеством опустив руки с бульдогами, смотрел на барона.

— Сколько же вы хотите нам дать? — спросила Милли из-за плеча барона.

— На путевые расходы и на оплату счета...

Он вынул из кармана счет и показал барону. Наклеена была марка и стояла расписка управляющего.

— Кто же заплатил? — удивился барон.

— Я.

— Вы были убеждены, что все кончится так?

— Я был убежден.

— Меня товарищи называли гением, но вижу — гений вы!

— Благодарю вас.

Барон опять промолчал.

— Из такой огромной суммы, какую примете от нас, можно было бы дать нам хоть треть. Я не говорю половину... треть.

— Не торгуйтесь. Я уже сказал, сколько... Эти три часа можем спокойно провести.

— Безопасно?

— Не знаю. Усните. Я разбужу вас.

XIV

Третья система

— Таким тоном говорите и такой вы основательный!.. Но как вы думаете, могу ли я заснуть спокойно? — спросил барон.

— Случай играет большую роль.

— А если, — заметил барон Игельштром, — случай и логика одно и то же? Мы просверлили дыру, и я знаю, что действовал я математически правильно и предусмотрел малейшие детали. А вы просверлили дыру у меня в черепе, прежде чем я еще приехал сюда. Для вас случай — я, а для меня

случай — вы. А на самом деле и у вас, и у меня строжайшая система и кто скажет... извините, я до сих пор не знаю вашего имени и отчества?

— Иван.

— Позвольте мне называть вас Иваном Николаевичем?!

— Как хотите.

— Я намерен задать вопрос... А что, если рядом с нашими системами работает еще какая-нибудь третья? Если какой-нибудь там Спиридон Разумникович вытаскивает нам обоим сюрприз?

— Приятно болтать с умным человеком, — наклонив голову, проговорил Иван Николаевич. — Но я сейчас предпочитаю действительность. Несомненно, вы будете спать спокойнее, если последуете примеру великого маэстро Громиловского, который благоволит передать мне деньги, отдувающиеся у него под жилетом и во всех карманах. Достаточно, если я заплачу ему за труд, все-таки, сравнительно роскошно... Тысяча должна вас удовлетворить, маэстро.

Странно запрыгали пиявки в углах губ Вильгельма. Он стал вытаскивать из жилета и из карманов пачки кредитных билетов. В заднем кармане осталась небольшая пачка. Иван Николаевич сделал вид, что не замечает.

— По губам текло, — сострил Вильгельм. — Эх, доля наша. Я предпочел бы мелочь, — проговорил он и отказался от двух пятисотрублевых билетов.

Иван Николаевич сунул ему десять радужных.

— Ничего подобного не случилось со мной в течение всей моей карьеры! — сказал барон. — Согласен, что я в дураках. Вы — умница. Комета летит в сумраке, но хлоп, встречается с другой и должна ей уступить. Куда же вы положите деньги? — спросил барон Ивана Николаевича, сгребавшего кредитки и крупные ренты к углу стола.

— Найдется куда, — отвечал Иван Николаевич, из-под фрака вытащил каучуковый мешок и быстро и аккуратно сложил в него деньги.

Мешок, сначала маленький, раздулся и стал средних размеров. Милли смотрела на мешок, смотрели барон и Вильгельм. Мешок казался им прожорливой лягушкой с крас-

ным брюхом и с широким ртом, отороченным стальными дугами. Щелкнула застежка, наелась лягушка.

— Могу уйти? — спросил Вильгельм.

— Конечно. И нечего провожать вас. Недоразумений не может быть. Швейцар не спит.

— Прощай, дружище! — растроганно сказал Вильгельм.

Веки у барона упали. Он усталым голосом брезгливо сказал:

— Проваливай!

— Милли, можно поцеловать вашу ручку?

— Убирайся к черту! — вскричала баронесса.

— Милли, не надо быть вульгарной, — посоветовал барон. — Ты многим обязана Вильгельму. Уже тем, что ты со мной!

— Я ему сейчас готова расцарапать лицо за это!

— Недаром я назвал вас кошечкой, — засмеявшись углами глаз, сказал Иван Николаевич.

— Милли, — продолжал Вильгельм, — вы не любили меня, я был рыжий. Если бы я был светлый блондин или черный, как теперь, я завоевал бы ваше сердце. Но дайте же мне, прошу, вашу руку. Не знаю, когда еще мы встретимся. Бывают и у меня предчувствия. Мы провели втроем отчаянную ночь. Разве забываются такие минуты? Они соединяют людей на всю жизнь. Прощай, старина! — всхлипнув, проговорил чувствительный Вильгельм.

— Прощай, — смягчился барон и поцеловался с ним.

Тогда Милли встала и тоже поцеловалась с Вильгельмом.

— Может быть, я виновата пред тобой, — сказала она.

— Но ни за что меня нельзя осуждать. Я самая несчастная женщина в мире, если хорошенько вдуматься.

— Милли, не место покаянным признаниям, — заметил барон.

Иван Николаевич проводил Вильгельма глазами, взвешив и оценив его метким взглядом, и снова повернулся к барону.

— Мешок этот, — сказал он, сжимая раздувшуюся лягушку под мышкой, — я купил еще вчера, и мне приятно

врезать в вашу память эту маленькую подробность.

— Помните, Иван Николаевич, — строго сказал барон, — что вы берете на себя ответственность за нашу неприкосновенность. Я растерялся и прямо скажу вам, не знаю еще окончательно, с кем имею дело. Но что бы вы сделали, если бы Вильгельм, ограбленный вами наравне со мной, отправился сейчас в сыскную полицию и заявил бы обо всем случившемся? То есть предположите, что у него тоже сложилась какая-нибудь своя система!

— Может быть, есть некоторая вероятность. Но я нарочно оставил в заднем кармане его жакетки порядочную пачку, чтобы она послужила для его маленькой души якорем, брошенным у наших берегов.

— Он неспособен! — сказала Милли.

— Правда, он из порядочных. Какой вы, черт возьми, психолог! Не гневайтесь, что я так ощупываю вас со всех сторон.

— Пожалуйста.

— Я вижу, что вам самому лестно мое удивление; все же не кто-нибудь, а барон Игельштром, граф Венцлавский и прочая и прочая. А любопытно! Меня поражает ваша предусмотрительность и, я бы сказал, провиденциальность. А принципов у вас нет, — раздумчиво начал барон, и веки его, которые потемнели и сморщились, с трудом поднимались. — Лично у меня, например, есть теория жизни и свой взгляд на государственность и общественность, вдохновляющий меня и дающий мне поддержку в трудные моменты. А вы, хотя и сшибли меня своим натиском, работаете с одними алгебраическими выкладками. Не поскользнитесь. Предостерегаю вас. Я именно к тому веду речь, что на вас нельзя положиться. Мне нет расчета, конечно, сейчас поднимать шум, — что делать: будут удачи. Я люблю жизнь, борьбу за жизнь, люблю свою личность, люблю красоваться ею перед себе подобными и верю в свою звезду. Но вы, на моих глазах, в короткий час нашего близкого знакомства, круто повернули с избранного вами пути. Я последователен, а вы ринулись в сторону за добычей. Я грабитель, бандит, но меня оправдывает идея. Я, так сказать, неузаконенный бан-

дит. А вы кто? Не бандит, потому что вы не товарищ. Узаконенный бандит? Нет. Вы враг их и враг мой. Чей же вы друг? И через час не перемените ли курс? Поэтому, как же я засну спокойно? Вы можете сами убежать и оставить нас, на произвол судьбы, заперев в номере, вызвать полицию и предать нас. Повторяю, однако, что вы еще не знаете, какими средствами защиты и нападения я располагаю!

Глаза его раскрылись, внезапно засверкавшие голубыми молниями, и он встал во весь свой большой рост.

— Хотите напугать?

— Я не хочу попасть к черту на рога. И я не один, со мной женщина!

— Я умру! — вскричала Милли.

— Ты часто умираешь, — раздраженно сказал барон. — Но сегодня твоя смерть была бы естественна.

— Во всяком случае, желаю вам, барон и баронесса, спокойной ночи, — сухо сказал Иван Николаевич с поклоном.

— Я должен иметь гарантии спокойствия.

— Я не могу их вам дать. Барон, мне кажется, что вы что-то пережевываете и перевариваете. Не народилась ли у вас третья система взамен потерпевшей крушение?

— Я перевариваю то, что французы называют ресигнацией — покорностью судьбе. Но слушайте, Иван Николаевич, если вы без борьбы с моей стороны получили от меня деньги, это значит, что вы получили бы их через час, через два и через три.

— Мне кажется.

— Не кажется, а наверное получили бы. Теперь я должен буду вас стеречь и попрошу вас остаться в моем номере, или я неотступно должен буду стоять у вашей каморки. Между тем, если бы вы оставили деньги у меня в номере, то вам надо было бы только призвать неиссякаемую энергию вашей молодости и постоять все это время на часах. Лучше будет, если вы будете стеречь меня, а не я вас — для меня лучше. От сильного напряжения я могу сойти с ума.

— Вы не сойдете с ума, — возразил Иван Николаевич и с неожиданной решимостью, и с верой в свою силу и неотразимость своей системы проговорил: — Пожалуй, мешок я

оставлю у вас. Вы никуда не уйдете. Из окна не выпрыгнете, потому что уже светло и высоко, и было бы глупо; через банк — стальная комната, и вам не выбраться без посторонней помощи, и надо будет взломать еще несколько дверей. Но имейте в виду, что я запру дверь на замок снаружи и за полчаса до отъезда постучу. Автомобиль будет уже ждать вас. А в швейцарской объявите, что я провожаю вас. Да, да, будет лучше, если бы будете свежи и бодры.

— Так что вы доверяете мне?— спросил барон, преодолевая необычайное волнение, овладевшее им.

— Я, конечно, не доверяю вам. Вы бы все сделали, вплоть до убийства, лишь бы только уйти с этим мешком. Но уйти невозможно. Я доверяю невозможности.

— Благодарю вас за несколько минут отдыха, в котором я нуждаюсь, конечно, больше, чем вы, — сказал барон. — Я засну, может быть, с мыслью о том, что вы тихонько войдете — ключ у вас — и заберете свою сумку, тем более, что вы кладете ее у самых дверей, а я могу не услышать, потому что сон мой будет свинцовый. Однако, что же делать?

— Барон, вы уже, наверное, приняли в соображение, — сказал Иван Николаевич, — что я не могу легко уйти из гостиницы, да еще с очень заметным мешком под мышкой. Другое дело, если я уеду провожать вас на вокзал. В сущности, я уже связан с вами и, возможно, что в пути мы обсудим некоторые пункты возможного товарищества нашего и придем к какому-нибудь соглашению.

— Вы лукавите; но мы можем пожать друг другу руку? — сказал барон.

— Можем.

Иван Николаевич протянул руку и барон крепко пожал ее. Иван Николаевич сделал несколько шагов назад, поклонился баронессе, положил деньги на стол, потрогал ковер на месте перелома, поправил загиб и удалился с новым поклоном у дверей.

Ключ щелкнул за ним.

— Страшный человек, — тихо сказал барон Милли.

Милли шаталась. У нее было такое ощущение, как будто распухла голова. Она изнемогла и ослабела и, не разде-

ваясь, упала на постель. Когда же засыпала, дрожь пробежала по ее телу, и барон почувствовал, как она вся встре-пенулась и ударила его коленями.

Но он не мог заснуть. Мелькал перед ним лакейский фрак на черном коленкоре, а на голову его, казалось, сыпались куски едкой штукатурки. Через полчаса он вскочил: у открытого окна чирикали воробьи и ворковали голуби.

XV

Барон исчез

— Вольдемар, — не своим голосом закричала Милли, посмотрев со страхом на место рядом с собой, где лежал барон, и застонала от боли и ужаса: его не было.

Встрепанная, в полурасстегнутом платье, она выскочила из-за драпировки.

В дверь стучали.

— Кто там?

— Можно войти?

— Вы, Иван?

— Так точно.

— Войдите.

Иван Николаевич вошел с потупленными глазами.

— Вы не видали барона? — встревоженно спросила Милли.

— Барона я не видал, — отвечал мгновенно оживший лакей. — Разве они вышли?

— Его нет.

— Не может быть!

Иван Николаевич быстро обошел номер, заглянул во все углы и даже в платяной шкаф.

И тут хриплый крик чувства, похожего на отчаяние и вместе на бешенство, вырвался из его груди: на стуле, где лежал мешок с деньгами, белелась записка, прикрывая собой небольшую пачку сторублевок.

Он подбежал и не сразу понял содержание записки. Милли из-за его плеча прочитала записку:

«Третья система. Иван, если хочешь уцелеть, немедленно увези баронессу на вокзал. Заграничный паспорт на имя архангельского купца Смирнова и его супруги в зеленом саквояже. Проводи баронессу за границу, будешь щедро награжден».

— Без ножа зарезал! — сказал Иван Николаевич, насилу придя в себя, и еще раз пробежал записку. С презрением взглянул он на деньги. — На кой черт ты мне? — вскричал он. — Я-то ворона! Кого упустил! Вокруг пальца обвел. Как? Когда? Не притворяйся! Плохи шутки со мной, задущу!

Он схватил Милли за руку и крепко сжал выше кисти.

Она с радостью и ужасом глядела на него.

— Говори!

— Почему же я знаю?

Иван Николаевич опомнился.

— Где зеленый саквояж?

Милли подала ему хорошенький, сафьянный, с бронзовыми застежками маленький сак.

— Ты мне так же нужна, как собаке пятая нога, — хрипел Иван. — Но мотор подан, и ехать необходимо. Каждая минута вечность. Жена, жена!

Милли с отвращением сделала шаг назад.

— Чемоданы выносить незачем, только ручной багаж. Барон спит. Он спит, и его нельзя тревожить, а ты уезжаешь в финляндское имение. Не смотри на меня так, будь ты проклята. В швейцарской обращайся со мной, как обращаются с лакеем, войди в роль, если не хочешь, чтобы я тебе разможил голову, прежде чем ты опять свидишься со своим Вольдемаром.

Милли привыкла быть баронессой. Еще раз уничтожающим взглядом окинула лакея. Он опять рванул ее за руку.

— Я вымещу на тебе!

Он схватил деньги и сунул в карман.

— Ты видишь, он оставил тебя в наследство мне. Не посмеешь пикнуть. Ах, что я с тобой буду делать, как во мне горит все внутри! Какое страшное пробуждение! Да нет, что я? Пойду расскажу все, донесу, чтобы меня назвали идиотом и сгноили в тюрьме? Ах, дьявол бы его побрал.

Он подошел к дверям и посмотрел на замок. Винты были вывернуты. Бронзовая накладка отвалилась.

— Ничего не понимаю, — вскричал он Милли, — как сделано?

— Я не знаю.

Он поднял над ней кулак.

Она злорадно взглянула на его лицо.

— Что ж, ударь, — сказала она.

— Четверть часа еще можно подождать. Шофер завтракает, а ты одеваешься.

И он притянул ее к себе. А Милли со звериной ненавистью следила за его жестоким бесстыдством. Улыбка бесилия обнажила ее белые мокрые зубы.

— Теперь иди вперед, барыня, — приказал он насмешливо, еще весь дрожа.

С двумя небольшими чемоданами он пошел за ней, заперев номер на ключ.

Сходила Милли с широких ступенек еще непроснувшей гостиницы. Голова кружилась. Самолюбие страдало. Обида подламывала ноги. Она испытывала то же самое, что случилось с ней однажды на первых порах пребывания ее у Толстой Розы, когда она была высечена за дерзость, уже будучи четырнадцатилетней девочкой, еще помнившей первые годы светлой семейной жизни в пасторском доме, из которого она бежала со странствующим приказчиком — профессиональным поставщиком белых рабынь. Душа была возмущена. Но и Толстой Розе Милли ничего не сделала и ничего не сделает этому человеку. Она приучила себя скорей подавлять свою волю, чем повиноваться порывам оскорбленной личности. В вестибюле она величественно сказала, покорно войдя в роль:

— Иван, проводите меня до вокзала.

— Баронесса?

— Успеете вернуться, когда проснется барон. Если же еще не проснется, пожалуйста, не тревожьте его.

— Кажется, барон вышел, — сказал старый, обшитый золотыми галунами швейцар, серьезный и важный, как провинциальный корпусной генерал. — Я не заметил, как он вышел, но я видел барона на улице. Он о чем-то спросил городского и, должно быть, отправился гулять в Александровский сад, потому что пошел по направлению к Адмиралтейству.

— Но он уже вернулся и давно спит, — с милой улыбкой возразила баронесса.

— Извините, баронесса, — тоже не заметил. Сейчас на вокзал отвозили вещи графов Комаровских и господина Прейсса. Конечно, баронессу надо проводить, — молвил швейцар в ответ на вопросительный взгляд лакея и получил от баронессы на чай серебряный рубль.

— Если кто будет спрашивать, — повернув к швейцару сияющее личико, сказала баронесса, — то скажите, что я вернусь к вечеру и проведу в Игельштримдорфе самое короткое время. Но, возможно, впрочем, дела меня задержат до завтра — тогда утром.

— Слушаю, баронесса, — сказал по-французски швейцар, знавший небольшое число слов на каждом европейском языке.

Лакей захлопнул дверцу таксомотора и вскочил на козлы рядом с шофером.

XVI

Новые супруги

В двухместном купе около Милли сидел новый обладатель ее.

— Я расправлюсь с тобой еще в Або, — в ожидании парохода.

Она задорно посмотрела на него:

— За что? Глупо срывать на мне ярость. Пора успокоиться. Разве я виновата, что барон умнее вас? Я спать хочу. Спите и вы. Надо выспаться.



— Стать, в конце концов, игрушкой! — кричал Иван Николаевич.

— Сними с меня туфли.

— Но я сделаюсь вашим палачом, господа.

— А пока сделай постель.

— Я бы охотно выбросил тебя за окно.

— Бедненький. Всю дорогу до Або я буду смеяться.

— Тварь.

— Я плюю на тебя.

— Унижусь, но ты не пикнешь.

— Получи.

Она ударила его по лицу своей маленькой, беленькой ручкой.

— Я стою этого.

Она ударила его по другой щеке. Он не пошевелился. Страшное облегчение испытал он. Подставлял лицо.

— Вот, вот, вот тебе!

— Еще, еще, Милли.

Щеки его горели. Милли раскраснелась, закусила губу, похорошела. Ей шла злость.

— Идиот.

Она устала, задыхалась. Когда же перестала драться, упала на диван. Иван снял туфли с нее, развязал ремни у постели и поднял ее.

Глаза их встретились. Милли вздрогнула под тяжестью его мрачного взгляда.

— Все-таки, Милли, я вытяну из тебя жилы, — сказал он.

Высоко поднималась и опускалась ее грудь.

— Хорошо — потом, в Або! — прошептала она и крепко заснула.

А в Або он снял с руки Милли толстое золотое обручальное кольцо и сплющил его двумя пальцами.

Милли поднесла батистовый платок к своим глазам и склонилась головкой к плечу спутника.

Неделю прожили они в гостинице, и шторы их номера были все время опущены.

XVII

Встреча

На огромном пароме, который перевозит железнодорожный поезд из Швеции в Данию, бывшая баронесса Милли и бывший лакей, он же архангельский купец Смирнов, поднялись по лесенке в ресторан и, сидя в светлой и просторной столовой, ждали, пока им подадут обед. Солнце, отражаясь от моря, бледными зайчиками играло на порозовевшем и почти счастливом лице Милли.

Архангельский купец значительно пополнел с тех пор, как выехал из России. На его большом животе, поверх шелкового жилета, блестела золотая цепочка с брелоками. Правда, лицо было худощаво по-прежнему. Но его трудно было узнать — потемнели его усы и борода. Супруги, — Милли была уже Смирновой — разговаривали вполголоса.

Они заказали себе бифштекс раньше, но господин, пришедший после них, уже ел бифштекс. Они все ожидали. Гарсоны торопились услужить вошедшему, который сидел спиной к молодым людям. Милли и Смирнов приревновали к спине незнакомца и к его широко расставленным локтям. Что же это все подают ему, а их не замечают? Кто он? Герцог, владетельный князь? Но Милли первая разглядела его. Она вдруг встала, дошла до половины столовой и заглянула прямо в лицо незнакомцу.

— Вольдемар!

Барон Игельштром повернулся всем корпусом и сочным густым голосом сказал:

— Привет землякам. Милли, — продолжал он, привставая и целуя у ней руку, — не знаю, как он уже тебе приходится, но передай ему, что он поступил так, как я поступил бы на его месте. Что же касается меня, то я ни на минуту не терял вас из виду. Деловые отношения наши не должны мешать нашему взаимному уважению. Хорошо мы сделали бы на чужбине, если бы соединились вокруг одного столика.

— Судя по газетам и телеграммам, за нами гонятся, — сказал Смирнов, — и безопасность требует, чтобы мы не очень-то узнавали друг друга, Милли, ступай на свое место.

Милли, взволнованная и красная, села рядом с ним — и бифштекс, наконец, был им подан.

— Не находит ли барон, во всяком случае, что все это вышло крайне странно?

— Вышло логично.

— И вы хотели отделаться, кстати, от Милли?

— И дать ей приданое, которое — сумма очень крупная — вы и получите в Берлине в Центральном банке по сему чеку.

— Благодарю вас. Я уже в Або не сомневался, что вы так именно разрешите это недоразумение. Но вы предвидели, что Милли понравится мне.

— Я большая фигура и с фантазией, но вы были сухарем, монахом, и женщина только могла смягчить вашу черствость. Душевный механизм наш требует смазки. А тогда вы стояли у дверей, действительно, как часовой, и спали. Полагаю, что сон ваш продолжался не больше одной минуты, то таково уж мое счастье.

— Поразительно, — обиженно вскричала Милли. — Почему же вы не пробудили меня?

— Птичка, не задавайте птичьих вопросов; минута была бы упущена.

— С вами был «сон»? — спросил Смирнов.

— Был платок, но он со мной и остался. Клянусь, вы спали, как спят солдаты и лошади, на ногах. Но я знал, что вы будете благоразумны и возьмете Милли. Оттого, Милли, я был спокоен за тебя. Я не сомневаюсь также, Милли, что и ты довольна.

Встреча долго беспокоила архангельского купца. В Берлине Милли была очень раздумчива. Новый супруг ее, не зная немецкого языка, несколько дней томился в гостинице и, под предлогом нездоровья, не выходил. У него было опасение, что барон отнимет Милли. Но у барона были другие виды, и он считал низость несовместимой с его рыцарской профессией взломщика и бандита, противопоставляющего силе современной государственности — силу своей изобретательной личности.

В газетах несколько лет назад писали о каком-то вижете Дариаке, который на собственной яхте переплыл Атлантический океан, но у самых берегов южной Бразилии потерпел крушение. Он сделался владельцем обширнейших кофейных плантаций. Это был барон Игельштрот. Это тем более любопытно, что на острове Лунолулу у него же оказались большие земельные поместья, и независимые островитяне избрали его сначала депутатом в свой парламент, а потом президентом республики. Почти фантастично и сказочно, но вчерашняя телеграмма, напечатанная во всех га-

зетах, хотя замеченная немногими, сообщила, что виконт Дариак произвел уже переворот в стране и вступил на престол с живописным и сложным титулом, сообразно особенностям местной риторики: «Старший дядя Золотой Луны и младший брат Красного Солнца, повелитель мира и супруг всех Небесных Звезд, непобедимый и неуловимый, все-счастливейший, все-светлейший, все-державнейший государь и отец отечества Лупус Сто Первый».

Иероним Ясинский

ФИНСКИЙ НОЖ

Илл. С. Большакова



I

В квартире купца Александра Гавриловича Сторукина спущены были шторы, и было темно...

Дом принадлежал ему, пятиэтажный, старинный, на Гороховой улице.

Самому ему было лет за шестьдесят, если не все семьдесят. Но он взбирался на пятый этаж еще легко.

И с пустыми руками не возвращался; под мышкой нес картину.

Он усаживался с ней у окна единственной светлой комнаты, в которой проводил большую часть жизни, рассматривал покупку, освежал скипидаром, мыл спиртом, и хороша ли была картина, плоха ли — в обоих случаях уничтожал ее: от живописи оставалась только бледная тень.

Но Сторукин восхищался ее колоритом. рисунком и, перелистав справочники и руководства для коллекционеров, определял, к какой школе она принадлежит и какому мастеру ее можно приписать; потом присоединял к грудам картин, которыми наполнены были уже остальные комнаты, где жили пауки, мокрицы и, может быть, призраки.

На Ново-Александровском рынке Сторукин дорого не платил: чем дешевле доставалось произведение великого

художника, там радостнее билось его сердце. Он удивлялся невежеству торговцев и по праздникам посещал церковь, где горячо молился.



Ходил он в засаленном сюртуке, брил лицо, не бывал в трактирах, не знал женщин; был беспощаден к квартирантам, с которых взимал плату лично в сопровождении дворника; прислугу не держал, боялся, что его отравят; сам варил себе гречневую и манную разминаю, питался воблой и ветчиной, ничего не пил, кроме чая. Был скряга, и весь дом презирал его.

Вид у него был опущенный, но часто глаза его и сухие губы расцветали улыбкой несказанной радости.

Он не обращался к адвокатам о выселении неисправных квартирантов, а вел дела сам; посредников не любил, берег деньги. И никто, кроме маленького, невзрачного человека, который вечером аккуратно приходил к нему уже десять лет подряд, не знал, что самые большие радости Сторукину доставляют смываемые им картины.

Этот человек, которого Сторукин называл просто Порфивей — Порфирий Калистратович Девочкин — служил в Мещанской управе писцом за ничтожное жалованье и под диктовку Сторукина писал прошения мировому судье, составлял каталоги картин, отличался молчаливостью.

Сторукин платил ему, разумеется, тоже гроши, но Девочкин не заикался о прибавке. Он бесконечно долго носил одно и то же платье; уже вытерлись швы, а сюртучок — чистенький и как будто свежий; и бесчисленные заплатки на сапогах сверкали безукоризненной ваксой. Он даже ухитрялся носить перчатки, у него были часики с цепочкой и записная книжка с серебряным карандашиком.

За десять лет Девочкин не узнал, была ли когда-либо семья у Сторукина и почему он одинок. А Сторукин, по-видимому, даже не интересовался, почему Девочкин не носил обручального кольца.

Сторукин имел только представление о Девочкине, как о трезвом, аккуратном, но бедном и жалком человечке, а Девочкин знал, что Сторукин не только неопрятный, скупой и противный, но и любящий за бесценок приобретать драгоценные картины, очень богатый и малограмотный, не внушающий к себе ни малейшей жалости человек.

Ему не было известно, какой капитал у Сторукина, но, приблизительно, оценивал он старика тысяч в пятьсот, не считая дома, в котором было сто мелких квартир и десять магазинов.

II

Проходили дни, недели, годы. Неизменно, несмотря ни на какую погоду, бродил по рынку Александр Гаврилович и, возвращаясь вечером домой, встречал на лестнице подждавшего его чистенького, бесцветного и услужливого человека в худеньком пальто, с портфелем, в котором лежали переписанные жемчужным почерком прошения и письма торговцев, с которыми у Сторукина были денежные отношения.

— Здравствуйте, Александр Гаврилович, — кланялся Девочкин.

— Здравствуй, Порфиша, — отвечал Сторукин и впускал секретаря в квартиру.

— Холодненько сегодня.

— Морозец!

— Согрей-ка чайку! — предлагал Сторукин.

Немедленно согривал на спиртовой камфорке синий чайник исполнительный Девочкин и первый стакан наливал себе. Давно уже не боялся Сторукин Девочкина, но вошло в обычай: второй и последующий стаканы пил Сторукин, а Девочкин от повторения отказывался, он не прикасался даже к колбасе и к вобле; он был сама умеренность.

Все нравилось Сторукину в Девочкине, даже то, что на вид он казался мальчиком. Есть такие мальчики, страдающие собачьей старостью; не растет ни бороды, ни усов, а вокруг глаз и на лбу морщины, и ни кровинки в лице. Впрочем, сеялись темные усики на верхней губе Девочкина, и он умел закручивать их и смазывать, чтобы лучше держались кончики, смолистой помадой.

Ежедневно видались и друг друга не знали ни Сторукин, ни Девочкин, но чем дальше, тем прилежнее друг о друге думали.

То, что стал думать о Сторукине Девочкин, пришло ему в голову еще с первого вечера, когда он сделался его домашним секретарем за пятнадцать рублей в месяц. А то, чем занята мысль Сторукина о Девочкине, зародилась в нем в последнее время, когда он переходил улицу, был сбит с ног мотором и только чуду был обязан тем, что отделался легкими ушибами: Господь спас.

III

Дня четыре не выходил Сторукин из дома и соскучился по картинам. Поздней ночью не спалось, жутко стало ему от бессонницы. Ноги млели, но он мог ходить. Он встал и с

керосиновой лампой в руке вошел в залу, набитую картинами по обеим сторонам; они были сложены, как «дрова». Тускло блестели золотые рамы; паутина и пыль, как серый бархат, покрывали ребра рам и картин. Рядом с залой еще были две комнаты поменьше, тоже набитые картинами; и такой же толстый серый бархат лежал на них. Он вытащил наугад одну из картин и не мог разобрать, «Старуха» ли это Рембрандта или «Грозовая ночь» Сальватора Розы. Когда он задвинул назад картину, раздался писк: он потревожил мышинное гнездо. Жуткое чувство стало тяжелее; и вдруг он совершенно ясно увидел перед собой бледное лицо Девочкина, с его собачьей старостью и вверх закрученными, чуть заметными усиками. На мгновение появилось оно и исчезло. Александр Гаврилович махнул рукой на картины и поторопился вернуться в постель, а мысль о Девочкине не покидала его.

Два месяца таил он ее. Ложился спать, вставал, варил манную кашу, выколачивал из квартирантов плату, тащился на рынок, а сердце шептало: «Девочкин, Девочкин». И угрюмо сдвигались над переносицей его белые брови, и из-под них озабоченно смотрели на неопределенные и, может быть, страшные дали свинцовые глаза Александра Гавриловича.

IV

Был осенний вечер. Сторукин медленно поднимался по ступенькам своей крутой лестницы, останавливался на каждой площадке и ждал, что увидит Девочкина. Скучно светило электричество, но все же нельзя было проглядеть Девочкина, несмотря на всю его тщедушную и призрачную старость; на последней площадке тоже его не было. Пришел к себе Сторукин и рассердился.

Раздался звонок. Пуще рассердился старик.

— Кто?

— Телеграмма?

Сторукин приотворил дверь на цепочке, расписался и запер снова на замок. Телеграмма была от Девочкина: «Заболев». Сторукин прошелся по кабинету удовлетворенный. Обрадовался, что болезнь помешала секретарю прийти, а не что-нибудь другое. И вдруг зашевелилось в сердце что-то, чего он давно не испытывал. Он завернул сахар и чай в бумажку, спустился на улицу, купил булок в кондитерской и пошел в «меблирашки», где жил недалеко от него — он знал его адрес — Порфирий Калистратович. «Ой, не застаю дома», — сомневался он Но Девочкин лежал в постели бледный и призрачный. Каморка у него была крохотная, около отхожего места. Едва-едва мигала лампочка на некрашеном столике, на стене висела, тщательно заколотая в простыню, пара, в которой являлся на службу Порфирий Калистратович; в головах была прибита фольговая иконка, под нею карточка.

— Доктор был? — сурово спросил Сторукин.

— А я без медицины, я так отлежусь, — пропищал Девочкин. — Бесконечно благодарен вам за внимание-с.

— Что у тебя, Порфиша?

— Маленький жар, Александр Гаврилович.

— Действительно, жар; смотри-ка, не тиф ли?

— Помилуйте, от волнения-с.

— Чем же ты так взволновался? — удивился Сторукин.

— А от житейских размышлений,— отвечал Девочкин, и глаза его странно блеснули.

Сторукин сел на единственный стул, взял со стола финский нож и стал им играть.

Глаза Девочкина беспокойно-болезненно остановились на ноже.

— Мне сегодня исполнилось сорок лет, Александр Гаврилович.

— Ну, так что же?

— Больше ничего-с, — с тоской произнес Девочкин.

— Я тебе принес тут кое-чего, — сказал, вставая, Александр Гаврилович, — может, тебе денег оставить немного? Ась?

— Помилуйте, свое жалованье я забрал-с.



— Сочтемся.

— Не могу, Александр Гаврилович; совесть не разрешает, а иначе, я, положительно, расплачусь.

— Эх ты какой, право! — сказал Сторукин, и рука его, уже опущенная в карман, оскудела. — Ну, как знаешь... А я, кстати, пришел за прошениями.

— Они переписаны, Александр Гаврилович, в портфеле находятся.

Александр Гаврилович сам достал из портфеля бумаги, сложил их и опустил в боковой карман.

— Скорейча, Порфиша, выздоравливай.

Порфиша рассыпался на постели мелким бесом. Совсем погас от счастья. Но когда Сторукин ушел, тяжело передвигая ноги и не оглядываясь, Девочкин схватил финский нож и крепко сжал его в руке.

V

Нож от давнего употребления уже приобрел отполированность благородного металла, а куплен он был на другой день после первого вечера занятий у Александра Гавриловича. И та неотвязная мысль, которая грызла Девочкина в его одинокие часы и бесконечные бессонницы, поселилась с этим ножом в каморке близ отхожего места. Она не покидала его, когда Девочкин резал ножом гнусную углицкую колбасу, когда он спарывал им старые нитки на местах оборвавшихся пуговиц, когда чинил карандаши и, в особенности, когда точил его о брусочек, найденный им под воротами дома Сторукина. Состарилась сталь ножа, и состарилась мысль; но острее стал нож, чем был, и угрюмее и мрачней стала мысль.

VI

Порфирий Калистратович почувствовал себя хорошо уже к вечеру на другой день. Он тщательно приоделся, пристегнул бумажный воротничок и собрался к Сторукину. Дошел до выходных дверей меблированных комнат, и ему показалось, будто его кто-то зовет. Он остановился и вспомнил: забыл захватить с собой финский нож. Он взял его, надел на него порыжелый кожаный чехольчик и сунул в карман брюк.

Какой-то странной жизнью жил этот нож. Показалось Девочкину, что от ножа распространяется на него озноб. В сумраке на углу Гороховой и Садовой он увидел молодое лицо с дугообразными бровями и детскими глазами корсетницы Фени. Со старшей сестрой она жила в его «меблирашках». Она улыбнулась ему.

— Дайте двугривенный! — сказала она.

— Нет, Феня, не богат.

— А когда вы будете богаты?

- Вдруг разбогатею, — сказал он.
- Но неужели же нет двутривенного?
- Принципи.
- Какой принцип? — со смехом спросила Феня.

И быстро рассталась с кавалером, который отказал в двутривенном.

— Ты хорошо поступил, — сказал ему нож, — ты очень хорошо поступил, ты должен закалить себя, быть твердым, как я. Но ты напрасно проболтался о богатстве, еще неизвестно. Не надо поддаваться чарам мечтаний.

Девочкин опустил в карман руку и ладонью согрел нож.

— Мой единственный друг!

— Сегодня я особенно остер, — сказал нож.

— Потому, что я тебя наточил.

— Хорошо, что ты обнимаешь меня,— продолжал нож.

— От меня ты наберешься бодрости и ненависти.

— Я прощаюсь с тобой.

— Ты оставишь меня там? — спросил нож.

— Так лучше будет, ты разом — нож и пробка!

— Но Феня была у тебя и нацарапала на костяной ручке твои инициалы.

Девочкин вздрогнул:

— Я вспомнил, надо стереть!

— Сотри.

— И отложить?

— Если откладывал десять лет, почему не отложить еще на день?

— Умный финский нож.

Робко и угодливо билось сердце Девочкина, когда он позвонил у заветной квартиры; и, спросив, кто, звякнул цепью и впустил его к себе Александр Гаврилович.

VII

- Уже здоров, Порфиша?
- Молитвами вашими.

Сухие губы Сторукина сложились в кривую улыбку.

— Садись, побалуемся чайком. Не помнишь, в котором году умер Рембрандт?

— В 1665.

— А на подписи 1688, — задумчиво сказал старик. — Видно, реставратор поправил. Кабы не год, вылитый Рембрандт, и цена ему сто тысяч.

— Изволили освежить?

— Маненько. Краски — как фаянс, ничто не берет.

— Дорого изволили дать? — взглянув на картину, похожую на печную заслонку, спросил Девочкин.

— Руп с четвертаком.

Вздых вырвался из груди Сторукина, и он почти уронил картину на пол.

— На много миллионов у меня их, — сказал он. — Что бы ты сделал, Порфиша, — помолчав, начал он, — кабы у тебя было 2700 картин, а может, и больше, самых первеющих мастеров?

— Не могу представить себе.

— Тряхни мозгами.

— Не имею права-с.

— Я тебе говорю.

— Я бы музей основал, примерно вашего имени.

— Дорого стоило бы, Порфиша.

— А он бы себя окупал помаленьку, за сходную плату-с.

— Но помещение надо было бы устроить.

— А при добром желании.

— Ну, а если б, Порфиша, ты вдруг выиграл двести тысяч? — помолчав, спросил Сторукин.

— Выигрышного билета нет у меня!

— Ой ли?

— Невыгодная бумага для бедняка-с, Александр Гаврилович, только убыток приносит; а шансы выиграть такие же, как если бы кто-нибудь тебя взял да и пырнул финским ножом в сонную артерию, чтобы воспользоваться вот таким пиджачком-с. Возможно; однако же, не случается; и мы благополучно доползаем до гробовой доски.

— Верно. А у тебя есть деньги?

— А почему вы так думаете, Александр Гаврилович?

— А по твоему житью-бытью. Больше билета не проживешь: за коморку, чай, зелененькую платишь, обедаешь на две — самое большее, колбасы не ешь.

— Случается, кушаю.

— Ну, на пятак в день купишь, и довольно с тебя.

— А угадали! — с бледной улыбкой сказал Девочкин. — Деньги, действительно, есть; я двадцать пять, действительно, проживаю, у вас хороший глазомер; а что касается жалованья, которое от вас, то целиком сберегаю. И в течение десяти лет капитал мой дошел до двух с половиной тысяч.

— Ишь ты! — приятно осклабился Александр Гаврилович и впервые приласкал Девочкина — погладил по плечу.

— Ну, а в самом деле, — продолжал он, — допустим, и у тебя были бы картины, как у меня?

— Музей можно было бы сделать небольшой, Александр Гаврилович, на пятьсот картин; кстати, они все невелики; и постоянно переменять, на стену вешать разные по очереди, а в газетах публиковать, что вот, мол, сегодня голландская школа, а через месяц фламандская, а там итальянская или какая еще другая.

— Умно! — воскликнул Сторукин, хлопнув себя по лбу рукой. — Ну, а не стал бы ты кидать деньгами направо и налево?

— Помилуйте-с.

— На кокоток, да на заграницу?

— Да что вы-с, Александр Гаврилович?

— Или вдруг женился бы на какой бедняжке и стал бы возить ее в каретах и в колясках, да моторах?

— Да за кого же вы меня принимаете, Александр Гаврилович?!..

— Ну, а кабы вдруг, место двух тысяч, да миллион получил?

— Да как же, Александр Гаврилович? Таких выигрышей не бывает!

— А положим, у тебя дядя какой — американец проявился бы.

— Я очень вам признателен за гипотезу, но это вроде

сновидения из тысячи и одной ночи.

— А ты зубов не заговаривай, а прямо объяви свою программу.

— Если о миллионе говорить, Александр Гаврилович, так ведь из миллиона через десять лет можно было бы сделать почти два миллиона-с.

— Ты продолжал бы жить в своей каморке — ась?

— Потребности мои невелики, Александр Гаврилович, и ежели маленьких денег жалко, как же не пожалеть больших?

— Но в таких бы сапогах не ходил?

— А вот я, Александр Гаврилович, что читал: один великий император любил всегда в заплатанных сапожках ходить; значит, дурного в этом ничего нет и, напротив, при двух миллионах...

— Ты уж на два сягаешь?

— Так точно-с, я к тому говорю, что не место человека красит, а человек место; и если из сапожных дыр смотрят не голые пальцы, а миллионы, помилуйте-с, красота одна.

— Толково рассуждаешь, парень... а вдруг взял бы и продал все картины?

— Александр Гаврилович, продать их обратно по рублю с четвертаком, а они десятки тысяч стоят?

— Соображение справедливое. Так-с. Жаль, одним словом, что у тебя пустые деньги такие имеются, да и то благодаря мне.

— Неоспоримо-с, — подтвердил Девочкин.

— Я тебе прибавлю со следующего месяца...

— Благодаритель, за что же?

— А уж у меня такой нрав, — свирепо огрызнулся Александр Гаврилович.

VIII

Пришел домой Девочкин, и опять голова его горела от «житейских размышлений». Он взял со стола финский нож;

но неразговорчив был на этот раз металл. И когда, соскабливая с его черенка свои инициалы, Девочкин обрезал себе палец о лезвие, острое, как бритва, он взял брусок и затупил нож.

Прошел месяц. Получил Девочкин свои 15 рублей, а о прибавке старик, должно быть, забыл. Он был очень угрюм, похудел за это время, все держал руку за пазухой и, когда вставал, чтобы взять что-нибудь, то слабый стон вырывался из его груди.

Девочкин тоже еще больше похудел, лихорадочно вспыхивали его глаза. Встретила его опять Феня и захотелось ей подразнить кавалера.

— У меня скоро пролетка своя будет, — призналась она. — Видите, за шляпу заплатила двадцать рублей, за пальто семьдесят, рубашечка на мне в тридцать пять рублей. Придете на новоселье?

— Куда нам с суконным рылом! — огрызнулся он.

— Хотите, я дам вам рубль?

Он колебался, и лицо его стало так противно ей, что она захохотала и пропала в сумраке шумной улицы.

IX

Уж несколько дней, как Девочкин снова отточил нож, к которому вернулся дар слова.

— Издеваются над тобой? Прожил большую половину жизни и неужели же до конца будешь томиться? Конечно, — говорил ему нож, — под залог окраинных домишек, если умно взяться, сотни две принесет твой капитал, но разве это не капля в сравнении с тем портфелем, набитым пяти-сотенными рентами, который ты видел у Сторукина? Он резал купоны и из-под очков наблюдал за тобой. А сколько труда стоило тебе не выдать себя и сидеть с опущенной головой за письменным столом над дурацким каталогом поддельных Рембрандтов и Ван Дейков? И зачем капля, когда

есть море! Только окунись с головой, только будь тверд, как сталь, как сталь! — повторял нож.

Х

Ночью снился Девочкину портфель с волшебными рентами. А утром он выправил для себя заграничный паспорт и, когда возвращался из градоначальства, то, проходя мимо конторы нотариуса, увидел Александра Гавриловича, который был смертельно бледен, заострился нос, и как будто кончик свернулся на сторону; и он еле передвигал ноги, поддерживаемый швейцаром; по сторонам не глядел и не заметил Девочкина.

С испугом смотрел Девочкин вслед уезжающему на извозчике Сторукину; озноб пробежал у него по телу, зашевелил волосы на затылке. Девочкин чуть не упал.

Еще третьего дня говорил старик о тленности всего земного, о ненужности сокровищ на земле, о благолепии посещенной им Александро-Невской лавры. А вчера Сторукин не принял Девочкина, потому что сидели в гостях два иеромонаха, чего никогда не бывало прежде.

Потемнело в глазах Девочкина, потускнел блеск Невского, мир превратился в тяжелый сон, и он сам стал сниться себе. Машинально вошел он в ресторан, съел бутерброд и выпил для бодрости рюмку водки; долго сидел в Александровском саду. Был мартовский теплый день, но ему все было холодно; дрожали руки и губы. Положил он ногу на ногу и нервно раскачивал ступней. И вдруг ему показалось, что нож выползает из кармана; он несколько раз хватался за карман, а нож был там.

— Но бойся! — говорил он. — Ты почти опоздал, но есть несколько мгновений в твоём распоряжении; еще бьется синяя жила на шее — ломкая, хрупкая, окостеневшая от старости. И не забудь, скоро шесть, а поезд отходит в девять, в девять, в девять!

Часы на Адмиралтействе пробили пять.

XI

На скамейку по обеим сторонам Девочкина сели хорошенькие барышни; они похожи были на цветы, и между ними была Феня; она насмешливо смотрела на него, и они пересмеивались перекрестным смехом. Девочкин сорвался с места и помчался по Гороховой.

На лестнице захватило дыхание. Он остановился и ощупал нож. Его не было. — Изменил! — чуть не крикнул Девочкин. Стол обыскивать себя, и нашел в боковом кармане пиджака.

— Я у твоего сердца, — успокоил его нож. — Тебе легче достать его из кармана, когда придет мгновение, а иначе старик может заметить. Но бойся, я сослужу тебе последнюю службу, останешься доволен.

Но по мере того, как поднимался Девочкин, тяжелели его ноги, свинцовая была у него поступь, прилипали к ступенькам подошвы его заплатанных сапог. Все медленнее шел он. Страшно билось сердце.

— Вперед! — ободрял нож. — Ничего не может быть драгоценнее времени. Выиграешь не двести тысяч, а полмиллиона. Не изменю тебе, не изменю, я тебе верен. И хрупка и ломка старческая жила на шее!

Резко позвонил Девочкин у дверей. И уже не так храбро позвонил второй раз. Совсем тихо позвонил он третий раз. Слышно было, как звонит звонок, но ничьи шаги не раздавались за дверями. А старик последнее время шаркал тяжелыми сапогами или шлепал и стучал каблуками опорок по каменным плиткам передней.

Посоветовал нож:

— Нажми крепче.

Навалился на пуговку Порфирий Калистратович, и, должно быть, лопнул воздушный прибор, сжался каучук, ушла кнопка далеко в канал звонка. Мертвая тишина водворилась за дверями. С чердака спускался дворник.

— А что, нет дома Александра Гавриловича? — спросил Девочкин.

— Как приехал часа в два этак, больной-пребольной — так и не видно с тех пор. Как бы чего не случилось.

— Дверь ломать, что ли? — бледный и трясущийся от ужаса, сказал Девочкин, охваченный мучительным предчувствием, разрушающим его замысел, с которым он носился более десяти лет.

— Он те взломает, — вскричал дворник, — бяды не обещаться! Он там деньги считает, а после выскочит и шею на костыляет. До завтра подождать надоть.

— А кабы в полицию дать знать? — пролепетал Девочкин.

— Успеется, — сказал дворник, спускаясь с лестницы.

Остался один на площадке Порфирий Калистратович. Пробовал смотреть в замочную скважину — ничего, кроме мрака, не видел; пробовал стучать, глухо отдавался стук в квартире. Липкий пот проступил на висках и на лбу. Он сел на ступеньку и уронил голову на руки.

Две тени, как два призрака, молча поднимались по лестнице — лаврские монахи. Один черный, другой рыжий с проседью. Девочкин с нескрываемой ненавистью посмотрел на них.

— Дома нет! — крикнул он монахам.

Они подошли к дверям.

— И звонок не действует, — сказал рыжий.

А черный вынул часы из-под рясы, посмотрел, покачал головой.

— А когда же он вышел? — глядя вниз на невзрачного человечка, спросил рыжий монах.

Девочкин, не поднимая головы, отвечал:

— Утром был у нотариуса и, дворник говорит, вернулся.

— У нотариуса? — с испугом переспросил черный и, обратившись к рыжему, вполголоса сказал: — А предполагал домашним порядком.

— Слаб, — сказал рыжий, — очень слаб. Уже вчера он очень слаб был.

— Полагаете, что куда ушел и возвращения Александра Гавриловича ожидаете? — свысока обратился к Девочкину черный монах.



Опять не оборачиваясь, отвечал Девочкин:

— Так сию. Александр Гаврилович уже, может, там, откуда не возвращаются.

Он вздохнул, и замолчали монахи — затаили дыхание.

— А почему же вы допускаете столь роковой финал? — спросили монахи после паузы.

— А потому что ничего другого не могу предположить.

— А вы кто же будете? — спросил его черный.

— Никто.

— Станный ответ, юноша, — сказал черный.

— Непочтительный, — пояснил рыжий.

— Я ничтожный человек, и что вам до меня, святые отцы? И не для исповеди сию я здесь.

Монахи переглянулись.

— Уж не родственник ли будете? — ласковее спросил рыжий монах.

— Мог бы кровно породниться!

Монахи подняли рясy и сели на ступеньки по обеим сторонам Девочкина.

— Как вы говорите?

— Со мной тайна моя умрет.

— Тайна? — осторожно спросил черный монах, наклоняясь к Девочкину и обдавая его запахом духов и ладана.

— Жил мечтаниями и получил кукиш с маслом! — горестно сказал Девочкин.

— Невежественно говорите, — досадливо возразил черный монах.

— Уж сегодня должен был положить конец мечтам, но глянул в замочную скважину и увидел только кукиш с маслом, с усмешкой протянутый мне судьбой.

Девочкин вскочил и, не оглядываясь на монахов, сошел с лестницы.

ХІІІ

Совсем было темно. С черного неба сеялась холодная из-

морозь; с моря дул ветер, и странно вытягивались и сокращались тени людей и животных на мокрой мостовой при бледном электричестве. Жужжали трамваи, и людей, сидевших, словно немые сновидения, за стеклами вагона, влекла в житейскую сутолоку таинственная искра, вдруг рассыпаясь в воздухе голубыми, красными и зелеными огнями.

Долго ходил Девочкин по улице без определенной цели. Дошел до Варшавского вокзала и видел, как отошел поезд, который должен был увезти его с полмиллионом в чемодане, если бы не «кукиш с маслом». На обратном пути он прижал нож к сердцу движением руки.

— Что мне с тобой сделать?

— Еще пригожусь! — гневно отвечал нож.

— Для кого?

— Для тебя самого.

Девочкин оперся на перила моста и смотрел в темную воду канала. Продольные морщины изрыли его лицо.

— Проходите, господин! — встревоженный его внешностью, внушительно сказал городской.

Девочкин побрел дальше.

— А разве ты уже не старик? Что из того, что тебе сорок лет? Жила твоя на шее тоже ломка и окаменела! В воде холодной не сразу захлебнешься, трамвай только изувечит... А я надежный... ты виноват! ты должен быть наказан, — шептал нож.

— Но у меня есть деньги! — слабо защищался Девочкин. — Нельзя ли что-нибудь сделать с ними?

— Покончи с собой в чаду похмелья с ароматом страстных поцелуев на губах, в великолепных лаковых ботинках!

XIV

Он вернулся в свои мебелишки в полночь, и так устал, что упал на койку и потерял сознание.

Девочкин проснулся нескоро и бредил; но когда бред рассеялся и он увидел на покрашенном столике, при свете

догорающей лампочки, тикающие часики свои с потертой цепочкой и пламенно сверкающий, повернутый остро отточенным концом к нему финский нож, вспомнились ему вчерашние разочарования и «житейские размышления». И отчаяние придало ему силы. Он встал, оделся и, утро вечера мудренее, — решил сначала убедиться в том, в чем был уже убежден, не имея прямых доказательств: в смерти Александра Гавриловича. Его нетерпение было так велико, что он взял извозчика; всю дорогу стоял в дрожках и понукал его. Он заспался, было уже 11 часов утра.

— Ну, что? — спросил он у дворника.

— Молчит.

— Стучал к нему?

— Ведро принес, а дверь на крюке, и хоть бы что! Уж я чуть ручку не оторвал!

— А в полицию дал знать?

Дворник почесал за ухом.

— Дать-то я дал, а как бы худа не вышло?!

— Как худа?

— А ежели жив.

— Я возьму на себя, — сказал Девочкин и направился в часть; но у ворот встретился с полицейским офицером.

— Вот они все требовали — дворник указал на Девочкина.

Полицейский с круглыми и строгими глазами спросил:

— А вы кто же?

— Я был домашним секретарем у господина Сторукина.

— Почему вы думаете, что он умер?

— Единственно по предчувствию.

— А кто же звонок испортил?

— А это я-с, никак не мог дозвониться.

Полицейский скосил на него свои строгие глаза и вместе с городовыми и понятыми, и в сопровождении Девочкина, взобрался наверх в квартиру Сторукина. Сначала долго стучали; гул только раздавался в пустой квартире.

— Но может быть, он и не возвращался?

Несколько голосов, однако, стали утверждать, что Сторукин, еле-еле передвигая ноги, вернулся, и оба дворника под-

держивали его, когда он всходил по лестнице.

Приглашен был слесарь и плотник, коловоротом вырезали замок. Распахнули дверь, тлением повеяло из квартиры, шатнулись какие-то тени в потоке дневного света.

XV

На постели лежал, скрестив на груди костлявые руки, с застывшим взглядом полуоткрытых глаз, Александр Гаврилович. Под подушку была подложена толстая кожаная сумка. Затрепетало сердце от несказанной тоски у Девочкина; он знал, что в этой сумке ренты. Жила ясно обозначалась на длинной шее старика. Машинально упал на колени перед трупом Девочкин, перекрестился и набожно приложился к жиле, и слезы брызнули из его глаз.

Еще горше заплакал он, когда ему пришлось быть при описи имущества покойного его благодетеля; и с ним случился обморок, когда он увидел, как судебный пристав перелистывал ренты; бумага шелестела шелковым шумом!

На лестнице, когда спускался Порфирий Калистратович, с ним повстречались вчерашние монахи. Очень низко поклонились ему, но он не обратил на них внимания.

XVI

Финский нож прыгал у него в кармане, и он думал о нем и о жиле на шее покойника, и нащупывал такую же жилу у себя на шее. По временам темнело в глазах: он чувствовал, что нож дышит мщением и жаждет казни; Девочкину хотелось до конца упиться страданиями, он медлил и откладывал казнь; обдумывал свои последние минуты и фантазировал. Перед ним мелькал образ Фени, карточка которой висела у него под фольговой иконкой. И смерть, и сладострастные радости перепутывались в его уме в причудливые

узоры. Потом ему становилось нестерпимо жаль денег, с презрением начинал он думать о чаде похмелья и об аромате поцелуев, и об лакированных ботинках.

Он схватывал за горло Феню и душил ее, а себе вскрывал сонную артерию и весь покрывался кровью, как красным одеялом.

— Когда же, когда?! — торопил нож.

— Еще к нотариусу — и тогда!

И летел трамвай по Садовой.



XVII

Девочкин вошел в контору и обратился к помощнику нотариуса.

— Хотел бы знать, какое завещание было составлено вчора утром купцом Александром Гавриловичем Сторуки-

ным и в чью пользу? — спросил он.

Помощник улыбнулся и сухо сказал:

— А это тайна завещателя!

— Он уже скончался.

— Неужели? Виноват: а вы кто же будете?

— Моя фамилия Девочкин.

— Девочкин, — стал припоминать помощник. — Порфирий Калистратович?

— Да, Порфирий Калистратович, — удивился Девочкин.

Лицо помощника расплылось в сладчайшую улыбку, он привстал, и низко закачалась его голова.

— Будьте любезны, присядьте, Порфирий Калистратович. Вас можно поздравить, в таком случае, с очень большим наследством.

— А именно?

— Завещание составлено в вашу пользу. Вам стоит только представить свои документы и, если угодно, я порекомендую хорошего адвоката... и, наконец, мы можем сами... и вам дешевле обойдется, чтобы ввестись во владение.

Порфирий Калистратович ничего не сказал. Он сидел несколько минут, устремив глаза на заплаты своих в первый раз не вычищенных сапог. Он боялся, что растает его сердце в томительном отливе крови.

Помощник нотариуса стоял в той же почтительной позе, упершись кулаками обеих рук о письменный стол, и с собачьей улыбкой ждал, пока Девочкин придет в себя.

— Позвольте взглянуть, — сказал он наконец шепотом.

Помощник потребовал от барышни, заведующей ближайшим столом, большую книгу, развернул ее и отметил лощеным ногтем место, где было вписано завещание Сторукина.

Наследник получал два миллиона триста тысяч капитала, незаложенный дом, и ему вменялось в обязанность устроить музей имени завещателя на экономических началах, а на поминование души сделать в лавру вклад в две с половиной тысячи.

XVIII

«Моими деньгами спасается», — подумал Порфирий Калистратович.

Смех задрожал на его тонких губах в ответ на улыбку помощника, и тенью румянца зарделись его скулы. Он захотел подняться, но не мог, помощник подбежал и взял его под локти.

— Вы не волнуйтесь, дело обыкновенное. Не угодно ли пожаловать в кабинет к нотариусу и отдохнуть в более удобном кресле; а им будет очень лестно познакомиться с вами.

— Скажите, какой случай! — вскричал нотариус, щуря свои глаза, как жирный кот, и обеими теплыми руками пожимая руку Девочкина.

— Ведь если бы только на один день опоздал старик, все его состояние сделалось бы выморочным; а еще имел силы приехать. А вы ничего не изволили знать?

Девочкин вспомнил единственный вечер, когда Сторукин разговорился с ним и, как ему казалось, дразнил его миллионами.

— Были мечтания, — признался он и, прижавшись грудью к борту роскошного письменного стола нотариуса, он вдруг услышал, как хрустнул финский нож в его боковом кармане.

Он страшно побледнел, а нотариус подал ему стакан воды и долил красным вином из бутылки, стоявшей на столе.

— Пожалуйста, успокойтесь, надо привыкнуть. С такими деньгами, согласитесь сами, много можете сделать добра, и сколько наслаждений доставите себе, неземные радости, может быть, ожидают вас. Помилуйте, вы, может быть, единственный счастливый человек сегодня в Петербурге. Душевно поздравляю вас и не сомневаюсь, что вы будете нашим клиентом.

Девочкин подкрепил себя водой с вином, еще посидел, повертел в руках предложенную нотариусом дорогую сигару, понюхал, положил в карман и стал откланиваться.

— А уж вы переговорили о вводе во владение с Андреем Карповичем? — вежливо спросил нотариус.

— Переговорил.

— Андрей Карпович, посетите на дому Порфирия Калистратовича, — предложил нотариус и сам проводил богатого клиента до выходной двери.

XIX

На улице всей грудью вздохнул Девочкин. День был пасмурный, но он показался солнечным. Сны превратились в действительность, люди шли реальные, лошади были настоящие, дома каменные с твердыми контурами, земля под ногами крепкая и неподвижная. Он вдруг стал собственником всего, что видит вокруг себя, и даже властелином. Он шел и не верил, что он — Девочкин, у него сделалось другое лицо, другая походка была у него. В Адмиралтейском саду он сел на скамейку, на которой еще недавно сидел бедный, невзрачный и жалкий, а теперь миллионер и, может быть, уже красавец. Из бокового кармана он вынул финский нож и вытащил его из чехла. Сталь была сломана; он



нажал его о скамейку, и нож лопнул в другом месте; рассыпался на три части. С облегчением отшвырнул от себя далеко остатки финского ножа Порфирий Калистратович.

А на другой день после похорон благодетеля, погребенного в Александро-Невской лавре, Порфирий Калистратович Девочкин прибил на собственноручно наглухо заколоченных им дверях опустевшей квартиры жестяную доску с подписью: «Музей имени Александра Гавриловича Сторукина».

Иероним Ясинский

**БРАСЛЕТ ПОСЛЕДНЕГО
ПРЕСТУПНИКА**

Из цикла «Грядущее»

По обеим сторонам улицы двигались взад и вперед панели — каждая о двух встречных платформах. На платформах стояли, весело болтая между собой, группы мужчин и женщин в модных костюмах и шляпах. Иные, нетерпеливые, не довольствуясь механическим движением, быстро шагали по своей платформе. Это возбуждало смех.

Панели были украшены бордюром из живых цветов, благоуханных и прекрасных. На перекрестках, в центре овальных площадей, возвышались мраморные и бронзовые памятники великим людям давнего и недавнего прошлого. Они были окаймлены деревьями и цветниками. Улыбкой сочувствия и благословения веяло от этих оазисов.

Многэтажных домов в городе не было. О них сохранилось только предание. Их можно было видеть на старых картинах и рисунках, да в кинопанорамах, где воспроизводился даже шум и гвалт отошедшей в вечность многоголосой жизни древних столиц. Столиц уже не было. Душа города слилась с душой деревни.

Дома бледно-розового, бледно-голубого, бледно-палевого или совсем белого искусственного камня были пронизаны светом, с большими хрустальными стеклами, алмазные грани которых бросали радуги. На кровлях вторых ярусов зеленели кустарные насаждения, виднелись грациозные беседки и палатки.

Изменилось лицо города в каких-нибудь триста лет. Не только исчезли лошади и извозчики, неуклюжие автомобили и грохочущие грузовики, но и электрические бесшумные трамваи сданы были в архив. Был усовершенствован подвесной железнодорожный транспорт. И с тех пор, как из глубочайших недр земли стали извлекать радий и научились пользоваться им, и с его помощью господствовать над природой в таких размерах, какие не снились мудрецам XIX и XX века, города начали сноситься друг с другом по воздуху исключительно, ввиду безопасности воздушного пути и крайней экономии: радиопланы подни-

мали неслыханные тяжести.

Вся страна кипела движением, груды товаров перевозились и переносились поминутно из одного конца в другой; фабрики и заводы (такие просторные, насыщенные светом и здоровым воздухом, что слабым людям, уже по возрасту имеющим право на отдых, медики часто советовали вернуться к работе) удовлетворяли население страны с избытком.

А между тем, производство требовало уже всего трехчасового труда — но от каждого. Было в стране 200 миллионов жителей — и ежедневно 600 миллионов трудочасов отдавалось государству — вместо прежних 80 миллионов, когда 10 миллионов рабочих изнывали в нездоровых помещениях за 8-часовым трудом.

Немудрено, что страна наслаждалась материальным и духовным благоденствием. Здоровьем, бодростью, жизнерадостностью дышала страна, три века тому назад погибавшая от невежества, дикости, от рабства и жестокости и достигшая высшего расцвета культуры, призвав на помощь организованный труд, науку и искусство.

II

В группе рабочих обоего пола, возвращавшихся с фабрики трикотажных изделий в яркий июльский полдень 2222 года, выделялась чета молодых людей..

Она — уже была знакома с любовью; *он* — был впервые влюблен. *Ее* звали Эрле. *Он* носил старинное имя Ильи. Тот, кого она любила, когда еще была на первом курсе техникума и изучала оптику и ткацкое дело — две ее специальности — умер, обессмертив себя открытиями в области радиологии. Тот, кого она полюбила теперь — Илья — был ткач, а главным образом — поэт, яркими фантазиями и музыкальными стихами прославившийся далеко за пределами города и пленивший Эрле своими пламенными глазами, курчавой головой и сложением Аполлона. Сама она бы-

ла худенькая, светловолосая, белолицая, и в 23 года казалась девочкою. Короткая верхняя губа ее, при улыбке, открывала ровные белые зубы. Точеный крупный подбородок свидетельствовал о твердой воле Эрле. Темные глаза ее с восхищением останавливались на Илье.

Когда платформа замерла у конечного пункта, молодые люди спустились по ступенькам на «Площадь Покоя» и прошли мимо гранитного Крематория, изукрашенного золотыми арабесками и надписями.

Эрле прочитала в их числе имя Григория, знаменитого радиолога; и болезненно и вместе сладостно встрепенулось ее сердце при воспоминании о блаженных часах, которые она проводила с ним еще так недавно. «Вот я еще не изжила свою первую любовь, — подумала она. — И разве изживу когда-нибудь? А если бы Григорий был жив, полюбила ли бы я, любя его, еще и Илью? Наверное, полюбила бы. Я могла бы любить двоих. Что же такое брак после этого, — как не устарелая форма отношений между полами?»

Она прижалась локтем к Илье и поделилась с ним своей мыслью.

— И все-таки, Эрле, мы собираемся вписать свои имена в брачную книгу? — сказал Илья, засмеявшись. — Что же делать? Есть пережитки. «Со временем брак исчезнет так же, как исчезли у человечества рыбы жабры или обезьяний хвост» — изречение это я вычитал вчера у древнего писателя Бельше; но и до сих пор мы с жабрами. Поторопимся же, возьмем радиоплан и да здравствует жизнь и любовь! Не заставим гостей ждать нас! Признаюсь, сегодняшнее торжество мне особенно дорого!

III

— Поэт иногда бывает атавистом, и я замечаю, что с тех пор, как вновь расцвела у нас поэзия... — начала Эрле, вступая с Ильей под мраморную арку аэродрома, двор которого был выложен мозаикой и казался голубым персидским

ковром с золотыми цветами, — я замечаю возрождение вкуса к старине... Романтизм и питается безграничностью достижений?.. А у нас, не правда ли, застой? Мы пылаем жаждой новизны, а нового нет... и вот нас тянет... как это называть?..

— Как хочешь, Эрле. В прошлом было много дурного и страшного, но было и прекрасное. Мы же наследники прошлого. Оно мечтало о царствии небесном, а мы осуществляем его мечты. Его поэзия стала нашей прозой. Но нужна и нам поэзия.

— На вершинах нашей мысли поэзия и наука слились...

— Или, вернее, сливаются, — поправил Илья. — В известной степени этому помогает и прекрасное прошлое. Стоит только оглянуться на памятники, которыми блещет наш город, и на библиотеки, чтобы не спорить со мной.

— Я не спорю с тобой, Илья, я только характеризую наше время. Ну, а причем тут брак? — спросила Эрле с задумчивой улыбкой.

— Чтобы не делать тайны из наших отношений, имя которым любовь; а это — уже и прошлое, и настоящее, и будущее — это вечное!

Она продолжала с той же критической усмешкой в углах тонко прорезанного рта:

— Если ты говоришь о нашем браке, то завтра же ему может быть положен конец. И это вечность?

— Я говорю об исторической вечности.

— Нет, ты разумеешь нашу вечность с тобой! — возразила Эрле, а Илья пожал ей руку.

Эрле безмолвно улыбнулась и вдруг побледнела; и снова болезненно и сладостно сжалось ее сердце при виде мраморного бюста ее первого возлюбленного. Благодарные современники поставили этот бюст знаменитому радиологу, работы которого произвели переворот в воздухоплавании и который пал жертвой в борьбе с элементом, целые века не поддававшимся усилиям ученого мира.

Но журчал и пел фонтан посреди двора, и жемчужные брызги падали в серебряный вызолоченный бассейн и на оранжевые венчики огромных настурций, которые вздраги-

вали, живые; но знойно светило солнце; но радостно кувыркались в воздухе дутыши, сверкая своими перьями, переливавшимися радугами зеленого опала; но голые дети, очаровательные, с телами цвета бронзы, весело упражнялись на верхней площадке в легкой атлетике и оттуда, с высоты, кидались в протекавшую за стеной аэродрома светлую реку, быстро возвращаясь обратно через двор, радостные и мокрые; но поминутно мелькали пары и группы рабочих в нарядных летних платьях и исчезали в лазурном небе, уносимые вверх легкими радиопланами, словно на крыльях гигантских стрекоз; но так ярко бился здоровый пульс жизни и так неиссякаема была она, что Эрле встрепенулась и отдалась ее потоку; «ушел» Григорий — его заменил Илья, и она оперлась на его мускулистую руку и вздрогнула, почувствовав плечом скульптуру его плеча.

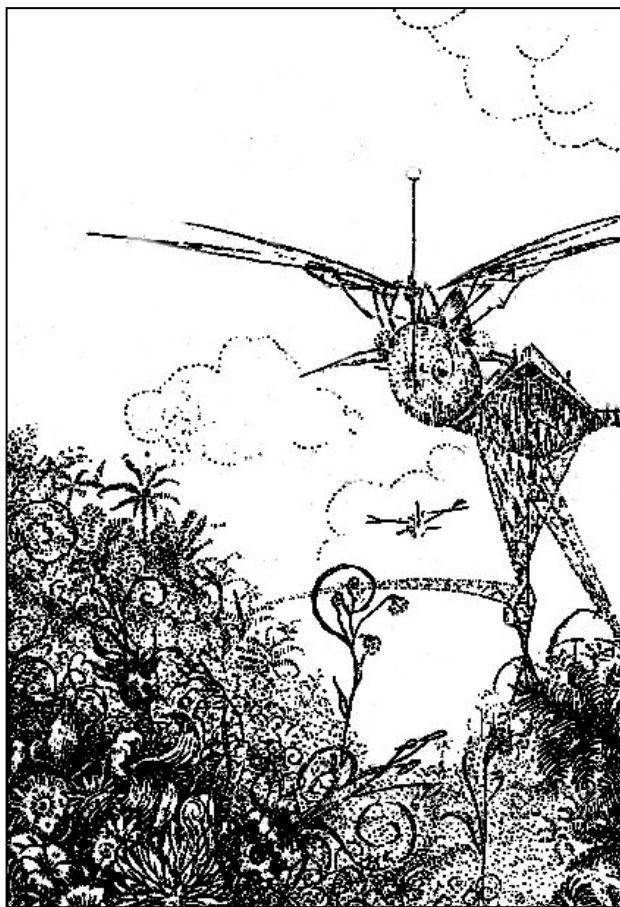
Они вошли в ложу, сели в двухместное купе радиоплана, назвали номер в трубку телефона, мальчик — управляющий аэродромом, — нажал в своем кабинете кнопку — и Эрле и Илья взвились, как два голубя, и утонули в сине-солнечном сиянии дня.

IV

Мимо их радиоплана, построенного из прозрачного гибкого металла, проносились другие бесчисленные стрекозы. Рабочим хотелось подышать небесным воздухом. Столкновений нельзя было опасаться, потому что, заряженные одинаковой энергией, аппараты отталкивались друг от друга на определенное расстояние. Это была система товарища Вольдемара, личного друга покойного Григория. К горю знавших его, Вольдемар запятнал свое имя преступлением..

Уже несколько десятилетий страна, известная на земле под именем Республики Гениев, наслаждалась внешним миром — война была упразднена и заменена международными состязаниями техников физического труда, ученых, поэтов и художников — и наслаждалась также внутренним

спокойствием — отсутствием каких бы то ни было преступлений.



Их потому не было и не могло быть, что собственность была признана священной и неприкосновенной и никому не принадлежала в отдельности. И воздух, и вода, и продукты земли, и все разнообразное товарное производство, все леса, сады, поля, реки, моря, корабли, дома состояли собственно из государственного коллектива. Что же касается движимости, то каждый работник имел возможность и пра-

во менять надоевшее ему платье, белье, драгоценности, посуду, картины, мебель, решительно все — в общественных магазинах и складах, стоило ему только показать единственную монету, на которой было выгравировано его имя и № его фабрики. Она была из драгоценного розового металла тверже и ковче золота и, обладая покупной силой, не истрачивалась, вроде «фармазонского» рубля, в существование которого верили наши предки. Вообще же не было денег совершенно.

Таким образом, при утвердившемся равенстве богатства, когда все принадлежало всем и инстинкты жадности, зависти к имущим и праздным, бедность, нищета, голод, пороки, порожденные неравенством, разврат, как плод запрещения свободной любви, рабство и насилие перестали существовать и, во всяком случае, больше не проявляли себя — это было бы бессмысленно — убийство человека человеком стало чем-то невозможным — корыстный мотив исчез.

Конечно, сохранились личные богатства в сокровищнице человеческого духа; ученые, поэты и художники, творившие бескорыстно, приобретали громкое имя и славу; но о них знали только в ближайших районах; при жизни их открытия, поэтические создания, картины, статуи, музыка и архитектурная фантазия считались продуктом коллективного творчества всей республики; лишь после смерти они удостоивались признания и религиозного прославления, им воздвигались монументы, размножались их портреты и всемирно провозглашались их имена; миллионерами духа великие люди становились, лишь достигая бессмертия в крематории.

Товарищ Вольдемар в свободные от труда на фабрике часы занимался еще строительством. Ему же принадлежала идея воздушных санаторий и заоблачных островов отдыха. Старые санатории и города отдыха, впрочем, еще не изжили себя и, пролетая над окрестностями, Эрле и Илья видели быстро разворачивающуюся под ними карту, исчерченную серебряными каналами, пестреющую зелеными пятнами садов и рощ, золотыми точками шпилей общественных зданий, сверкающую гранями колоссальных теплиц.

Эти теплицы, подобные брошенным на землю алмазам и светлым сафирам, и были городами отдыха для престарелых граждан, достигавших в стране, за редкими исключениями, полуторасталетнего возраста.

Как все в республике, Вольдемар был счастлив, еще не стар и уже приближался к 60-летнему термину, освобождающему гражданина от обязательного трехчасового физического труда и дающего право на занятие высоких правительственных должностей; он был женат на прелестной тридцатилетней женщине, писавшей картины и служившей закройщицей в швейной мастерской; и вдруг — он убил ее!

— Что побудило его совершить это небывалое страшное преступление? — спрашивала себя Эрле, думая о Вольдемаре, всегда таком изящном, уравновешенном и мудром человеке, бывшем ее учителем.

V

Воздушная станция «Небесная» висела незыблемым цветущим островом на высоте 3.000 футов между нынешним Петербургом, носившим уже другое имя, и Москвой — на перепутье — и считалась одним из самых благоустроенных островов отдыха. И маленькие радиопланы, и большие корабли в форме лебедей, орлов и старинных фрегатов постоянно причаливали к кружевным пристаням «Небесной», манившей глаз своими легкими хрустальными постройкиками и гармоничными букетами деревьев всех оттенков. Нежный пряный запах распространялся от острова — ароматы фиалок, лилий, резеды, роз, апельсиновых и лимонных цветов и жасмина смешивались, как сливаются звуки музыкальных инструментов в стройном оркестре.

Кстати, и музыка, воскресившая в последнее столетие угасшую было мелодию и развившая ее до крайнего совершенства, привлекала к «Небесной» множество посетителей. На ней были сосредоточены лучшие музыкальные механические инструменты, причем сочетание древнего граммо-

фона или раз навсегда установленного плана мелодий вместе с капризами эоловой арфы производило поразительные и неожиданные эффекты какой-то автоматической импровизации, вечно меняющегося и вечно нового музыкального калейдоскопа.

VI

Станция «Небесная» уже лет двадцать, как стала излюбленным местом отдыха рабочих, сюда прилетали для дружеских вечеринок и обедов, здесь справляли семейные и общественные праздники и тут же заключались браки вписыванием имен жениха и невесты в особую, роскошно переплетенную алюминиевую книгу (вообще в Республике была в употреблении эта тончайшая металлическая бумага).

Эрле и Илья, выйдя из радиоплана, очутились в широкой аллее среди поэтических киосков и цветников и пленительных скульптурных групп, сделанных из легкого материала, чтобы не обременять остров излишней тяжестью. Между прочим, доступ на «Небесную» был ограничен: соблюдалась очередь, и все-таки остров мог поднимать до 50.000 человек. Но были и другие острова отдыха и каждый отличался чем-нибудь и привлекал к себе публику.

Гуляющих было уже много. Под легкой, умеряющей солнечный зной, прозрачной, как воздух, и сохраняющей ровную температуру кровлей порхали, как клочки расшитого драгоценными камнями атласа и бархата, тропические бабочки, белые и изумрудные попугаи качались на ветках, колибри кружились над цветами, сами похожие на венчики цветов.

Печальный уклон мыслей, овладевших настроением Эрле, выпрямился, улыбка расцвела на ее губах в ответ на приветственные улыбки знакомых.

Среди последних вскоре оказались и товарищи, приглашенные Ильей на свадебный пир.

Брачная церемония, в сущности, представляла собой пережиток, уже не имевший сколько-нибудь серьезного значения. В киоске на столе лежала книга, и желающие записывали в ней рядом свои имена. Сроком брачной связи полагался один год. Срок истекал, и тогда муж и жена требовали старую книгу и еще раз записывали свои имена. Было много случаев, когда старики вписывали свои имена в сотый раз и правили в круту друзей свои вековые юбилеи.

Эрле получила поздравительный букет от товарищей, а Илья попросил их пройти на Западную эстраду, где был открытый балкон, и на нем уже приготовлен стол.

Пожав новобрачным руку, гости оставили на время мужа и жену.

— Ничто не разлучит нас теперь, Эрле, — сказал Илья, — несколько лет подряд ты была моей музой, хотя и не подзревала этого, и вот теперь ты так близка мне, и это такое счастье...

И он продолжал говорить все то, что в таких случаях говорили молодые люди и триста, и четыреста лет назад и о том, что прежде связывало и вечно будет связывать мужчину и женщину.

Эрле доверчиво опиралась на руку поэта. Но внезапно на повороте в темную аллею они встретили Вольдемара. По обыкновению, он был изысканно одет: в коричневом кафтане, в соломенной шляпе, с перламутровой пряжкой в лакированных башмаках; и с тростью в руке — по праву старости. Он был так строен, красив и свеж, что нельзя было назвать его стариком; по-видимому, ему предстояла еще долгая жизнь, и только в темных глазах его залегло глубокое чувство скорби и душевного страдания.

— Здравствуй, Эрле, здравствуй, товарищ Илья, — сказал он, — мне было приятно узнать, Эрле, что ты ценишь жизнь и сумела найти радость, которую потеряла, когда умер Григорий. И, конечно, Илья, при всех его достоинствах, может быть, еще не совсем стоит твоей дружбы. Я помню тебя, Эрле, еще маленькой девочкой, ты всегда была хрупким, но очаровательным созданием. И тебя, Илья, помню, ты был задорным малым в моей школе, сорвиголова, и

изводил меня стихами на уроках высшей математики. Правда и то, что математика и стихи, строго говоря, музыкально родственны. По всем этим мотивам, я считаю себя, разумеется, вправе быть сегодня вашим гостем и, как видите, прилетел на остров, который тоже мне немножко сродни — я был и его «воспитателем». Но, как вам известно, я обречен пожизненно носить золотой браслет; и кто пожмет мне руку и хоть на полчаса забудет тяготеющее на мне клеймо Каина?...

— Я вас всегда называю другом, — ответила Эрле, — и не сомневаюсь, что и Илья чувствует к вам незабываемое расположение. Золото у нас знак бесчестья и вы достаточно наказаны... Илья, не правда ли?

— Правда, — отвечал Илья, — золото — знак бесчестья. Не знаю, как отнесутся к учителю Вольдемару гости наши. Я лично по-прежнему жму ему руку и все-таки откровенно скажу: тяжела его каменная десница. Бедный старый друг, скажи, за что ты убил жену? Как мог ты запятнать кровью нашу, до той поры безгрешную, Республику? Уже третье десятилетие истекло, уже тридцатый раз на единственном новогоднем заседании Судебного Трибунала возвещалось миру, что в нашей стране в течение года не было совершено ни одного преступления и никто из граждан не был подвергнут наказанию или даже взысканию за какой-либо проступок — и вдруг!..

Эрле потупила глаза и пояснила:

— Может быть, учитель находился в момент убийства в состоянии невменяемости.

— Нет, — сказал Вольдемар, — я не был безумен. Вернее — во мне проснулся кто-либо из моих предков. Я почти хладнокровно приговорил Анну к смерти. Я казнил ее, предварительно обьявив ей приговор.

— Ты мог!

— За что?

— Я совершил даже два убийства. Она готовилась быть матерью.

— Вольдемар, чудовищно!

— Знаю и страдаю.

— Но за что? За что?

— За измену.

— В любви?

— Да.

— Какое старое и смешное слово.

— Слово, но не факт, — горестно сказал Вольдемар. — Ребенок родился бы не от меня, а все думали бы, что я его отец.

— Но, Вольдемар, вы древний. Такие взгляды были изжиты еще в XIX веке, и тогда уже эксцессы ревности являлись исключением.

— Я совершенно не могу войти в положение товарища Вольдемара, точно так же, как не могу себе представить Эрле в положении несчастной Анны. Однако, предадим забвению.

— Найдем вас, учитель, на Западной эстраде, — сказала Эрле и протянула руку.

Вольдемар полгал ее руку левой рукой. Правая рука его была закована в толстый золотой браслет, плохо прикрываемый обшлагом рукава его щегольского кафтана.

VII

Комендант «Небесной» был тоже, как и Вольдемар, вдохновляем предками, но не на уголовные эксцессы, а на изучение старины, поскольку она была прекрасна. Занятия в историческом Архиве привели его к заключению, что он потомок какого-то московского мецената, основателя славившегося в начале XIX века художественного музея. Наружность у коменданта была тоже старомосковская. Трезвый стол и гигиеническое питание давно уже отучили население от излишеств, способствующих ожирению и развивающих желудочные и другие болезни. Мясо было изгнано повсеместным обычаем из общественных столовых. Но комендант был поклонником древней кухни — и у него было красное, круглое, бородатое лицо, большие здоровые зубы,

толстая грудь и веселые глаза навывкате.

Он уже хлопотал около стола, накрытого на тридцать «персон», и любовался редчайшей фаянсовой посудой Поскочина, фабрики, уже не существующей почти четыреста лет. Хотя современная посуда, по утверждению знатоков, во много раз превосходила красотой даже древние лиможские майолики и эмали, но комендант не ценил ее. Она была слишком распространена, и он предпочитал в особых торжественных случаях похвастать севром, веджвудом, Поповым и Поскочиным. В граненых хрусталях рдели и играли красные и золотистые напитки. Гармонично пели серебряные фонтаны, трепетали живые цветы невиданной красоты, только что выхоленные искусными садовниками — неожиданные разновидности орхидей и обыкновенных луговых цветочков, доведенных культурой до странных форм и размеров.

— Милости просим, произнес комендант, — церемонно отвешивая поклон вошедшим новобрачным и, в присутствии гостей, которым он указал места, сказал приветственную речь.

Речи, в особенности застольные, были в большой моде, вместе с предупредительностью и утонченной товарищеской вежливостью; но было принято, что больше трех минут речь не должна продолжаться. Общие места, заезженные фразы, повторение и нагромождение доказательств там, где мысль была ясна, не допускались и считались дурным тоном, точно так же, как и длинные стихи, от которых требовалась музыкальная сжатость формы и содержания. Зарвавшегося оратора не прерывали криками «довольно!», но председатель собрания нажимал кнопку, и раздавались оглушительные рукоплескания из горла граммофона. Из особого добродушного отношения к толстому коменданту выслушали до конца его вступительную приветственную речь, затянувшуюся до пяти минут. Платформа в середине стола вдруг выдвинула чудесные, из тончайшего фаянса, на вид настоящие серебряные с матовыми украшениями поскочинские суповые миски и блюда, и комендант, как истый метрдотель XIX века, вооруженный салфеткой, снял крышки и

стал, начиная с новобрачных, угощать присутствующих и наливать в бокалы легкие вина.

Весело было всем. Забавляли замечания коменданта, непривычный вкус изысканных закусок и блюд, остроты; чокались, по примеру коменданта, с Ильей и Эрле. А молодой человек, избранный председателем стола, предложил, чтобы речь была сказана каждым, но чтобы длилась не больше одной минуты и чтобы она представляла собой крылатое слово. Если же кто умудрится на речь еще короче, того Эрле поцелует.

— Премия удовлетворяет, товарищи?

— О, мы заранее завидуем счастливому сопернику! Нельзя было придумать лучшей премии! — раздались голоса.

— А товарищ Эрле согласна?

Эрле прикрыла до половины лицо цветком и сказала:

— Согласна.

После белого, как снег, сливочного лебедя из миндаля и сахара — совсем во вкусе московских боярско-купеческих пиров — и искристого розового шампанского — все, все было в древнем стиле! — начались речи гостей.

Кто говорил прозой, кто стихами; были яркие сравнения и бросались блестящие образы. Один товарищ даже пропел приветствие звонким, как стеклянный колокол, тенором; но не было ни одного экспромта, удовлетворявшего одноминутному сроку. Иные растягивались на полторы минуты, иным не хватало нескольких секунд, чтобы удостоиться премии. Очередь дошла до самого Ильи. Он встал и сказал:

Есть блаженное страданье
И, в союзе с красотой,
Есть блаженство в обладании
Воплощенною мечтой.

— Ровно одна минута! — вскричал комендант, державший хронометр в руке, и ударил, как в гонг, в большое серебряное блюдо (работы древнего фабриканта Сазикова — пояснил он потом).

— Это даже несправедливо! — сказал председатель со смехом. — Товарищу Илье все, и мимо нас скользнул, как бысролетный солнечный луч, никого не задев, поцелуй Эрле!

Эрле, улыбающаяся, бросила взгляд на Вольдемара, безмолвно сидевшего в конце стола. Он не притрагивался к еде, чувствуя себя отверженцем, и только пил. Комендант несколько раз хотел спросить его, кто пригласил его, но некогда было, и мешало хлебосольство.

Встал Вольдемар и сказал:

— Я тоже гость, и мне принадлежит последнее слово. Эрле, разреши!

Эрле кивнула головой.

Тогда Вольдемар вытянул вперед правую руку и откинул обшлаг рукава; позорно засверкало на его руке золото массивного гладкого браслета. Он произнес:

— Мертвый приветствует живых!

— Премия! — вскричала Эрле, побледнев, сама обошла стол, направилась к Вольдемару:

— Учитель, — вот мой поцелуй, — и шепотом прибавила: — и наше прощение.

Он принял поцелуй, низко поклонился ей и всем и исчез в чаще кустарников, которыми зеленел угол эстрады.

Вскоре фигура его мелькнула у решетки воздушного балкона.

Невольно головы пирующих повернулись в ту сторону. Пир затянулся: плыли и клубились предзакатные облака, подобные гигантским опалам. Они удалялись в бесконечность, то и дело меняя одни причудливые формы на другие. То они принимали очертания светозарных призраков — людей и животных, то развалин фантастических городов. Налетом серого пепла постепенно покрывались уже отсветы красной меди, в то время, как еще ярко горели раскаленные края облаков. Веяло беспредельностью и первозданной мощью с тускнеющих небес.

Вольдемара на балконе не было.

VIII

Предчувствие не обмануло Эрле. Илья тоже разделял ее сумрачное молчанье, когда они летели обратно в благоуханную летнюю ночь в свое общежитие, сопровождаемые кортежем товарищеских радиопланов, освещавших им путь разноцветными огнями и ракетами.



На другой день, утром, недалеко от реки, на песчаной дюне был найден труп Вольдемара.

Браслет был снят с его руки и поступил в музей Судебного Трибунала. С золота было стерто имя Вольдемара

и вновь награвировано: «Браслет последнего преступника».

Это было гордо, самоуверенно и даже заносчиво; но возможно, что Республика Гениев в самом деле не увидит больше преступлений, которыми страдало человечество в старые, страшные, кровавые года.

Дом Книги
1922 г.

Осип Дымов

НАХОДКА

В 2010 году, т. е. ровно сто лет спустя после всего «этого» — вы понимаете? — в департаменте по продовольственным делам случилось редкое происшествие.

Младший делопроизводитель прибежал очень бледный в кабинет его превосходительства и, волнуясь, произнес:

— Нашли!

— Кого нашли? — удивился его-ство.

— Мужика! — выпалил младший делопроизводитель.

Его превосходительство поднялся со стула.

— Мужика? Что это такое?

— Это, ваше превосходительство, то племя, которое...

— Знаю. Помню. Вымершее племя. Обитало вдоль всей Волги, а также и других рек. У нас учитель был очень строгий, историю проходили, как следует. Оттого и помнишь. Но как же? Ведь оно вымерло? Как же вдруг нашли? Где вы нашли?

— В архиве.

— В нашем архиве? Да этого быть не может.

— Живого мужика-с. У нас архив, сами изволите знать, двадцать восемь кубических сажен занимает. Так вот там.

— Что делать с ним?

— Я так полагаю, в музей. Есть такой музей разных ископаемых. Благодарность пришлют. На нужды просвещения, ваше-ство.

— Да, конечно, просвещение, это — полезно. Однако, приведите его сюда.

Через несколько минут странную находку ввели в кабинет его превосходительства. Последний внимательно осматривал ее. В дверях толпились любопытные.

— Послушайте, а это не подделка? — осторожно спросил его превосходительство. — Потому что, бывает, что подделывают. Ваксу, например, шампанское даже.

— Не похоже, что подделка. Извольте поглядеть, — волосы, ногти.

— Э... Послушайте, любезный, вы — не фальшивый? — спросил его-ство.

— Чаго? — послышался хриловатый голос. — Мы-то? мы настоящие курские.

— Что такое «курские»?

— Это значит: из-под Курска.

— А там водились мужики?

— Водились, ваше-ство.

— Как же так? Ведь он не на своем месте, — строго сказал его-ство.

— Это верно, что не на своем месте, — отозвалась находка. — А между прочим, что поделать прикажете, ваше сиятельство? Потому, ваше сиятельство... как значит, ваше сиятельство...

— Что это он все про сиятельство? — удивился его-ство.

— Остатки тех времен — шепнул экзекутор. — Это, верно, он привык с графом Витте разговаривать.

— Тсс...

Его превосходительство пригрозил пальцем и нахмурился.

Мужик вертел в руках чрезвычайно полинявшую шапочку и, видимо, был смущен.

— Дозвольте, ваше сиятельство, лучше отсидеть, — вдруг выпалил он.

Кругом очень удивились.

— То есть, как отсидеть?

— Потому, как мы малограмотны и насчет показаний судебных или штрафов понятия настоящего не имеем, так что дозвольте уж отсидеть, как полагается.

— Он думает, что находится на суде и пугается, — шепнул кто-то.

— Вы не бойтесь, — успокоил его начальник департамента, — мы вам ничего дурного не сделаем. Мы вас в музей отправим.

— А там кормят? Ежели кормят, так отчего же, я согласен.

— Какие странные понятия о музеях!

— А фершал при ем есть? Потому у меня грудь жмет. Надавливают к вечеру.

— Настоящий! конечно, это настоящий мужик.

— Мне тоже кажется, что настоящий, — подтвердил начальник.

Вдруг мужик, не моргнув глазом, повалился в ноги.

— Простите, православные.

— За что? Встаньте. Да ну же!

— Я бумагу казенную съел. Сто лет ел — простите, потому силов моих не было.

— Какую бумагу?

— Казенную. Насчет продовольствия. Дескать: ассигнуется на русское крестьянство столько-то для продовольствия мужичкам — так я ее съел.

— Продовольствие съел?

— Да не продовольствие, а бумагу об этом самом. Потому продовольствия самого не дождался никак. Ежели бы не ел, так помер бы. Простите. Тем и сохранялся.

— Это какая же бумага?

— Действительно, я вспоминаю, что у нас в архиве есть такая бумага, — отозвался делопроизводитель. — С третьей Думы осталось восемьдесят пудов.

— И этим он кормился?!

Все подивились выносливости русского желудка.

Влас Дорошевич

ЧЕРЕЗ 100 ЛЕТ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Прошло сто лет с тех пор, как меня нет на свете. Я сам забыл о том, что когда-нибудь существовал. Как вдруг меня вывела из этого забытья игра на кастаньетах.

Около меня стоял господин. Приличной наружности. Скелет — как скелет. Как и у всякого черепа — улыбка удовольствия вплоть до ушей.

— Вставайте, дружище! — крикнул он мне.

И когда он задвигался, кости защелкали, словно какая-нибудь этакая Пепиточка играла на кастаньетах.

Как видите, я даже через сто лет после смерти не потерял своего легкомыслия. Люди умирают, их легкомыслие — никогда.

Но на этот раз я был испуган.

Мы были поверх земли!

— Что случилось?

— Нас беспокоят потому, что через нашу местность проводят железную дорогу. Кладбище отчуждено. Инженеры отчудили эту штуку с мертвыми, потому что живым пришлось бы платить за отчуждение их владений.

Веселый скелет снова заиграл на своих кастаньетах:

— Свет становится все умнее! Это приводит меня в восторг. Слава Богу, что я умер сто лет тому назад. Теперь все кругом так поумнели, что, того и гляди, останешься без последней рубашки... Посмотрите, как ловко они нас обрабатывали. Ни одного камешка! Все памятники пошли на постройку железнодорожного моста. И деньги за камень, вместо половины, попадут в инженерский карман полностью... хо, хо, хо!

— Неужели я умер уж сто лет?

— Хоть справляйте сегодня юбилей. Жаль только, вас некому будет поздравить. Все ваше поколение тоже успело перемереть. Замечательное было поколение, — в френологическом отношении. Крепость лба — поразительная! Вот уже два часа, как я его изучаю положительно с восторгом.

— Изучаете?!

— Разумеется. Теперь все это видно как нельзя лучше. Все косточки наружи. Если хотите, вы можете тут увидеть многих из ваших знакомых... Жаль, нельзя узнать, как ко-

го звали. Все беспаспортные. Паспортами у нашего брата, покойника, называются памятники. А они, как я вам уже докладывал, пошли на постройку железнодорожного моста. Надо думать, что он когда-нибудь провалится с целым пассажирским поездом, и долг кладбищу будет, таким образом, заплачен. Но все-таки жаль, что нет памятников. Име-на узнать невозможно, но профессии определить вам я берусь.

— Профессии?

— По костям. Всякое профессиональное канальство сидит у человека в костях. По скелету можно отличить адвоката от поэта, как волка от простой собаки, которая только и делала, что выла на луну. Вам угодно?

— Это интересно.

— Вашу руку, любознательный скелет, и идемте. Я не буду обращать внимания на черепа, так как доложил уж вам, что все они удивительно крепколобые! Общее их качество, как характеристика века. Но прочие кости рисуют прелюбопытные детали. Как вы думаете, кем мог быть при жизни этот длинновязый скелет? Клянусь его пустой головою, что пшютом. Посмотрите, как осклабился его череп. Улыбка недоумения: «Как это, я — и вдруг все-таки заплатил хоть один долг... природе?» Пара вставных зубов. Были выколочены при жизни в маскарадном скандале. Зубы оправлены в золото. Ого! Если б знали об этом кредиторы, — в утешение, они описали бы и продали хоть эту пару зубов. Длинные ноги, созданные для того, чтоб носить полосатые панталоны. Маленькие котелки. У бедняги голова всю жизнь была в корсете! Было бы странно требовать развития... Зато посмотрите на развитие некоторых костей у этого скелета. Какие должны были быть бедра?! Держу пари, что это была опереточная певица. В ваше время все с хорошими бедрами шли в оперетку. В ваше время талантов не зарывали в землю! Как талантливо, вероятно, она шевелила этими бедрами! А обратите внимание на истинно грандиозное развитие грудной клетки. Судя по этому, она имела грандиозный успех и во все горло ругала своих соперниц. Немножко подгуляла ножка. Но со сцены она ка-

залась малюсенькой: смотрите, как изломали ее высокие каблуки. Но нам, покойникам, неловко стоять так долго у такого легкомысленного скелета. Пойдемте далее... Вот этот, может быть, был ее покровителем. Посмотрите, как отпились нижние ребра. Не находите ли вы, что этому скелету недостает хорошего, откормленного брюха? Это был купец. Обратите внимание на особую толщину его черепа. А затылочная кость: мозоль — даже на кости. Сколько подзатыльников он получил в жизни, прежде чем дослужиться до этой медали, которая, — видите, — валяется около его шеи. Его даже похоронили с медалью. Жаль, что нет памятника. Из него бы мы, наверное, узнали, что покойный был коммерции советник, человек высокой добродетели и тысячи других глупостей, которые каменщики высекают за плату на чьем угодно памятнике... До свидания, ваше степенство!.. Перейдемте к другому скелету. Этот будет поинтереснее. Смотрите на эту искривленную спину, впавшую грудь, выдающиеся колени, искривившиеся пальцы правой руки. Этот человек, по крайней мере, провел полжизни, сидя за столом. Пари, что это был писатель!..

— А может быть, простой писарь?

— Никогда! Вы обратите внимание, как развита ступня. У писарей нога маленькая. Они сидят и получают жалованье. Тогда как литераторам приходится по сорока раз бегать за гонораром. Такие ноги бывают только у литераторов, почтальонов и балерин, — вообще у тех, кому придется много работать ногами... Интересно было бы знать, что он писал. Посмотрим череп: это был сатирик. И даже очень недурной сатирик, потому что ему сильно дали в ухо. Он писал зло, остро, — посмотрите, как ему еще проломили голову. Он бил людей бичом сатиры, а его, по всей вероятности, — палкой. Ого! Трещина около виска. Хотите спорить, кто знает, быть может, он изобличил наш знакомый купеческий скелет, или вот этого адвоката.

— Вы думаете, что этот принадлежал адвокату?

— Обязательно, и даже очень хорошему адвокату. Посмотрите, какое искривление правой руки. Много надо набить всяких кляуз в портфель, чтобы он был способен да-

же искривить руку. Обратите внимание на спинной хребет. Какая гибкость! Это сталь, а не кости. Это кости превосходного качества. Не то, что вот у этого господина! Бедный коммивояжер...

— Почему?

— У него нет руки, ноги, переломы и, в конце концов, даже голова лежит отдельно. Кто же, кроме коммивояжера, мог столько ездить по железным дорогам?

— В таком случае, и этот тоже был коммивояжером?

— Разбиты кости правой руки и переломлено несколько ребер. Нет. В Англии это был бы скелет боксера. У нас — актера. На сильно драматические роли! Как он ломал Гамлетов, Макбетов, Отелло, Велизариев! Как бил себя кулаком в грудь! И видите, что из этого вышло. Он, несомненно, был героем дам, так же, как и этот маленький скелетишка с искривленными ногами. Это жокей, верховой ездой испортивший ноги своему скелету. Как он мошенничал! И смотрите, хотел задержать лошадь, она споткнулась, он полетел. Видите, как разбит череп?

— В таком случае, и этот господин с искривленными ногами?..

— У него колени искривлены вперед. Это большая разница. Это от ежедневного сиденья в театре. Смотрите, у него раздавлены кости пальцев на ногах. В ваше время, проходы в креслах были чересчур узки, и зрители ходили друг у друга по ногам. Наконец, смотрите, какое феноменальное развитие костей около ушей... Очевидно, ушами он отличался от прочих смертных. Несомненно, это был музыкальный рецензент. Довольно, однако, холостых скелетов. Вот целое семейное отделение. Ого, как скрючен весь муж! Бедняге приходилось много корпеть на службе и вечеровых занятиях. Но зато у него была превосходная супруга. Смотрите, какая это должна была быть пышная женщина! Я понимаю, что любовник пустил ей пулю в лоб...

— А может быть, она сама?

— Может быть, она сама из-за любовника. В таких случаях возможны две версии. Однако, сразу видно, что она тут лежит не так давно, как он. Эго была премилая вдовушка,

и, судя по тому, как он скрючен, с состояньицем, оставшимся после мужа...

— А этот маленький скелет?

— Ребенок, лет десяти, которого он называл своим. Вероятно, он умер потому, что нянька перепутала лекарства, в то время как мать плясала на балу...

Веселый скелет щелкнул кастаньетами на мотив какой-то польки.

— Но вы? Сами вы кто такой?

— Я? Я был при жизни сочинителем глупейших теорий, вроде распознавания людей по костям. Но если б вы знали, скольких ученых обществ состоял я за это почетным членом!

Веселый скелет так щелкнул кастаньетами, что я... проснулся.

Я не умирал. Меня не хоронили. Никаких ста лет не проходило.

Если хотите даже, я ничего подобного не видал и во сне.

Сударыня, не бойтесь спать одна и не зовите вашего мужа.

Таких страшных снов не бывает. Они выдумываются фельетонистами, когда не о чем писать.

Ипполит Василевский

ДЕКАДЕНТСКИЕ РАССКАЗЫ

Поэмы в прозе

I.

Страшный призрак

Из-за зеркального стекла магазина готовых платьев пристально-сурово глядят на меня летние белые пикейные панталоны — и жуткий, леденящий холод медленно нисходит вглубь души моей.

Белый цвет — страшный цвет.

Цвет неведомых, безбрежных полярных пространств, где белое небо, сливаясь с белою землею, лобзает ее поцелуем смерти, где белая птица приходит в трепет от собственного голоса, где миллионы веков бесследно потонули в бездонной пучине мертвых океанов.

Цвет замогильного привидения, в полночь восставшего из гроба, чтобы блуждать с немим укором по стезям, орошенным кровью, чтобы исторгать у людей крики и стечения ужаса и совести, чтобы видеть ночного филина, притаившегося в дупле дерева над головами влюбленных.

Цвет покрывала, запахнувшего зеркало, в доме, где есть покойник.

Цвет паруса на судне, потерпевшем крушение, отданном на произвол стихии, бросаемом волнами без цели и конца.

Цвет угрюмой стены, окружающей монастырь или тюрьму, с гильотиною у входа.

Цвет сладкой отравы, кристаллизованной в безвоздушном пространстве; цвет актерской пудры на раковой язве; цвет с одуряющим острым запахом пролитого эфира; цвет, в котором слышится громохание костей в пляске скелетов; цвет, действующий на осязание, как мраморная доска стола в препаровочной.

Нет, я не в силах выносить, из-за зеркального стекла магазина готовых платьев, сурово-пристальный взгляд на меня белых пикейных панталон!

II.

Лебедь и лилия

Черный лебедь с красным клювом, с клювом красным, как кровь из-под шпаги, бесшумно плыл по уснувшей поверхности людьми забытого пруда. Ночь опустила свой темный полог на землю. Звезды таинственно шептались. Шептались таинственно звезды. Черный лебедь с красным клювом, с клювом красным, как кровь из-под шпаги, плыл к белой лилии с золотым сердцем. Белая лилия росла среди зеленых листьев, под свесившуюся ветвью душистого кипариса. Из белой ее чаши глядело золотое сердце и, наклоняясь, при солнце, к воде, она подолгу любовалась своим отражением. В сумерки теплый ветер, мягко качая, убаюкивал белую лилию и она видела в радужных снах черного лебедя с красным клювом, с клювом красным, как кровь из-под шпаги.

В черном лебеде жила душа умершего поэта. Черный лебедь полюбил белую лилию и птицы пели гимн небу в день их обручения. Когда лебедь подплывал к лилии, она свешивалась к его бархатной шее и нашептывала ему чудные сказки старого леса.

И они были счастливы. Но их счастье продолжалось недолго.

В серый день осенней непогоды охотник застрелил лебедя и бурный вихрь сломал увядшую лилию.

И нет более на забытом пруде ни белой лилии с золотым сердцем, ни черного лебедя с красным клювом, с клювом красным, как кровь из-под шпаги.

Вот почему я не могу слышать запаха гуся, зажариваемого на кухне: он мне напоминает черного лебедя и белую лилию.

КОММЕНТАРИИ

Все включенные в антологию произведения, за исключением отдельно отмеченных случаев, публикуются по первоизданиям. Безоговорочно исправлялись очевидные опечатки; орфография и пунктуация текстов приближены к современным нормам.

Все иллюстрации взяты из оригинальных изданий. В случаях недоступности качественных копий те или иные произведения публиковались без иллюстраций либо же иллюстрации воспроизводились частично.

В оформлении обложки, фронтисписа и на с. 6 использованы работы С. П. Лодыгина.

А. Вознесенский. Та, которую я люблю

Публикуется по сб. *Сатанизм* (М., 1913).

А. С. Вознесенский (наст. фам. Бродский, 1880-1939) — драматург, критик, поэт, переводчик. Автор многочисленных сценариев немых фильмов, считается первым профессиональным киносценаристом в России. Был женат на известной актрисе В. Юрневой. В 1917 открыл в Петрограде студию экранного искусства, позднее был директором такой же студии в Киеве. В 1937 г. был репрессирован, сослан на пять лет в Казахстан, умер в ссылке.

В. Гофман. Умер

Впервые: *Пробуждение*. 1909. № 11.

В. В. Гофман (1884-1911) — поэт, прозаик, переводчик, журналист из круга символистов. Сын мебельного фабриканта, австрийского подданного, жившего в Москве. Учился на юридическом факультете Московского университета (1903-1908), с 1905 г. активно работал как журналист и критик. Автор сб. *стихов Кни-*

га вступлений: *Лирика 1902-1904* (1905), *Искус* (1909, обл. 1910), посмертно изданного сб. прозы *Любовь к далекой: Рассказы и миниатюры 1909-1911 гг.* (1912). Покончил с собой в Париже.

В. Гофман. Осеннее умирание

Публ. по авторскому сб. *Любовь к далекой: Рассказы и миниатюры 1909-1911 гг.* (1912)

А. Мирович. Ящерицы

Впервые: *Северные цветы на 1902 г., собранные книгоиздательством «Скорпион»* (М., 1902).

А. Мирович — литературное имя поэтессы и прозаика А. Г. Малахиевой, 1874/75-1919), младшей сестры поэтессы, беллетристки и мемуаристки В. Малахиевой-Мирович и одной из героинь любовной драмы, связанной с философом Л. Шестовым. По свидетельству сестры, на почве этой драмы у А. Мирович в начале XX в. развилась душевная болезнь. Умерла в психиатрической клинике.

С. 10. *Bewegt sich ein Schattenbild* — «И движется стройная тень» (Г. Гейне, «Сегодня у вас вечеринка...» из *Книги песен*, пер. Л. А. Мея). В оригинале цитата приведена с ошибками.

А. Мирович. Эльза

Впервые: *Северные цветы на 1902 г., собранные книгоиздательством «Скорпион»* (М., 1902).

И. Лукаш. Черноокий вампир

Впервые в авторском сб. *Цветы ядовитые* (СПб., 1910).

И. С. Лукаш (1892-1940) — прозаик, поэт, драматург, критик, художник-иллюстратор. Родился в семье швейцара и натурщика петербургской Академии художеств. Выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Дебютировал как эгофутурист. Участник Гражданской войны, с 1920 г. в эмиграции. Широко публиковался в эмигрантской периодике разных стран, выпустил ряд сб. рассказов и очерков, несколько исторических романов. Среди произведений Лукаша встречаются и фантастические рассказы.

И. Лукаш. Requiem

Впервые: *Весна* (СПб.). 1911. № 27.

С. 19. ...*рушились фабричные трубы* — В оригинальной публикации, вероятно, опечатка: «рухали».

И. Лукаш. Последние Страны Голубых

Впервые: *Весна* (СПб.). 1914. № 5.

А. Богданов. Бессмертный Фриде

Впервые: *Пробуждение*. 1913. № 16.

А. А. Богданов (1874-1939) — прозаик, поэт, революционер-большевик. Работал сельским учителем в Саратовской губ. С 1897 г. неоднократно арестовывался, сидел в тюрьмах, годами жил на нелегальном положении (в 1909-1915 гг. под чужим именем в Финляндии). Одновременно широко печатался в периодике под своим именем и множеством псевдонимов. Участвовал в Гражданской войне в Сибири и на Дальнем Востоке. Позднее жил в Москве, редактировал *Крестьянскую газету*. Считается одним из зачинателей пролетарской поэзии.

А. Богданов. Остров Мессалины

Впервые: *Пробуждение*. 1916. № 22, с подзаг. «Новелла».

В. Тан-Богораз. Из романа «Завоевание Вселенной»

Впервые в сб. *Италии* (СПб., 1909) под назв. «Отрывок из фантастического романа “Завоевание Вселенной”» и псевд. В. Г. Тан.

В. Тан-Богораз (Богораз, 1865-1936) — прозаик, поэт, публицист, лингвист, видный этнограф и революционер-народоволец. С конца 1886 г. провел почти 2 года в одиночке Петропавловской крепости, 10 лет в ссылке в Колымском округе. Участвовал в Сев.-Тихоокеанской полярной экспедиции (1900-02), обследовал северо-восточное побережье Аляски и Камчатку, позднее работал в США, побывал в Канаде, Франции, Италии. С 1904 г. жил в Петербурге. Был одним из руководителей Всерос. крест. союза, а также Трудовой группы в Гос. Думе, неоднократно привлекался к суду. Во время Первой мировой войны добровольно отправился на фронт как начальник санитарного отряда. После революции профессор ряда ленинградских вузов, хранитель Музея антропологии и этнографии, директор Музея истории религии (с 1932). Автор этнографических трудов, рассказов, романов и повестей, в т. ч. палеофантастики.

Данный отрывок — единственный опубликованный автором фрагмент романа, замысел которого возник в 1909 г. во время совместной с К. Чуковским работы над редактированием собрания сочинений Г. Уэллса.

В. Тан-Богораз. Ночной поход

Впервые: *Современный мир*. 1907. № 2, под псевд. «Тан».

П. Шкарин. Одиночество

Впервые: *Огонек*. 1917. № 25.

П. М. Шкарин (? – ?) — возможно, сын арзамасского купца и банкир в Арзамасе. В 1910-х гг. ответственный секретарь редакции газ. *Биржевые ведомости*.

Н. Олигер. Путешествие Нарады

Впервые: *Пробуждение*. 1913. № 5.

Н. Ф. Олигер (1882-1919) — прозаик, драматург. В молодости занимался революционной деятельностью, дважды побывал в заключении. В 1906 переехал в Петербург, с 1911 г. в связи с обострением туберкулеза жил в Одессе, с 1912 г. за границей (Франция, Италия, Капри), вернувшись на короткое время в Петербург. В нач. 1915 г. отправился добровольцем на фронт как уполномоченный врачебного отряда Всероссийского городского союза и Сибирского общества помощи раненым, был контужен. Осенью 1918 г. после путешествия по восточным странам обосновался в Харбине, редактировал газ. *Призыв*. С конца 1918 г. жил в Чите, где и скончался. Среди его произведений — утопия *Праздник весны* (1911).

Hyacinthus. Жизнь или сон?

Впервые: *Изида*. Год четвертый. 1912. № 1, октябрь.

Hyacinthus («Брат Гиацинт») — орденское имя И. К. Антошевского (1873-1917), библиографа, коллекционера, литератора, оккультиста-мартиниста, издателя оккультного журнала *Изида* (1909-1916). Выпускник и, возможно, сотрудник петербургского Археологического института, генерал-инспектор, автор ряда нумизматических, генеалогических, геральдических и пр. исследований, книги о русском эскилибрисе, популярных сочи-

нений по оккультизму, библиографии оккультизма и т.д. Как оккультист был ближайшим соратником Г. О. Мебеса. Погиб на дуэли летом 1917 г.

Сар-Диноил. Изида

Впервые: *Изида*. Год четвертый. 1913. № 8, май.

Сар-Диноил — псевдоним астролога и оккультиста Л. Л. фон Фелькерзама (1881 — ?). Сын морского офицера, состоял в ряде французских эзотерических обществ. В нач. 1910-х — практикующий астролог и оккультист в Петербурге, автор нескольких популярных брошюр по астрологии, развитию скрытых способностей и т.д. С 1915 г. жил за границей.

С. 114. ...*Пантикапее* — Пантикапея (Пантикапей) — столица древнего Босфорского царства на территории современной Керчи.

Сар-Диноил. Фея вод

Впервые: *Изида*. Год пятый. 1914. № 11, август; № 12, сентябрь.

А. Пресс. Феи солнечного луча

Впервые: *Нива*. 1895. № 20, 20 мая.

А. Г. Пресс (1870-1952) — юрист, писатель, поэт, переводчик. До 1913 г. секретарь судебного департамента Правительствующего Сената, позднее присяжный поверенный. С 1893 г. публиковал в периодике сказки, рассказы и стихи, выпустил ряд книг по истории литературы, философии, сб. стихов. В 1923 г. эмигрировал в Литву, в 1925 г. переехал в Финляндию, где был известен как «Ар-кадиус Пресас», преподавал, публиковал книги на финском языке.

С. 127. ...*Солона* — Солон (ок. 638 — ок. 558 д. н. э.) — афинский законодатель, политик и поэт.

С. 128. ...*SPQR* — аббревиатура лат. фразы «*Senatus Populusque Romanus*» («Сенат и граждане Рима»), использовавшейся на штандартах римских легионов.

С. 129. ...*моряк с неподвижным взором* — Вероятно, Христофор Колумб.

С. 129. ...*собрание, на котором читалась декларация прав человека* — Имеется в виду «Декларация прав человека и гражданина», принятая Национальным учредительным собранием Франции 26 августа 1789 г.

С. 129. ...*я видел офицера* — далее речь идет о Наполеоне Бонапарте.

О. Форш. Перед воротами

Впервые: *Вестник теософии*. 1908. № 2, 7 февраля, с подзаг. «Сказка». Илл. к данной и двум следующим сказкам взяты из авторского сб. *Летошний снег* (М., 1990).

О. Д. Форш (девичья фам. Комарова, 1873-1961) — писательница, драматург, автор рассказов, повестей, пьес, знаменитых в советское время исторических романов и т. д. Дочь генерала, родившаяся в Дагестане; изначально мечтала стать художницей, училась в художественных мастерских Киева, Одессы и Петербурга, в том числе у П. Чистякова. Несмотря на «советскую» репутацию, всю жизнь испытывала интерес к мистике и неканоническим религиозным движениям (чему способствовали встречи с Папюсом и Р. Штейнером), была одной из распространительниц теософского учения в России, сотрудничала в *Вестнике теософии* и в 1900-1920-х гг. писала мистическую и фантазмагорическую прозу.

С. 139. «*Если пшеничное зерно... плода*» — Ин. 12:24.

О. Форш. Индийский мудрец

Впервые: *Утро жизни (Киев)*. 1908. № 1.

О. Форш. Пассифлора

Впервые: *Вестник теософии*. 1909. № 1, 7 января.

О. Форш. Медведь Панфамил

Впервые: *Русская мысль*. 1909. № 8, август, с подз. «Сказка».

А. Унковская. Как я увидела дом своего сна

Впервые: *Вестник теософии*. 1910. № 4, 7 апреля.

А. В. Унковская (урожд. Захарьина, 1857-1929) — выпускница Санкт-Петербургской консерватории, известная скрипачка, была замужем за оперным баритоном Н. Унковским. Была активной участницей калужского отделения Российского Теософского Общества, публиковала статьи, сказки и мистические этюды в *Вестнике теософии*, занималась попытками синестезии цвета, музыки и чисел.

С. 169. «*Regarde, mon fils... bouleaux*» — «Погляди, сын мой, луна поднимается за плакучими ивами и березами» (*фр.*).

С. 171. «*Qu'est ce que c'es... correctement*» — «Что такое французская грамматика? — Грамматика — это искусство говорить и писать правильно» (*фр.*).

С. 171. «*Assez... leçon*» — «Достаточно, ты очень хорошо ответила свой урок» (*фр.*).

С. 172.*sacristie* — ризница (*фр.*).

С. 173. *Матиаскирхе* — Готическая церковь Матьяша (XIV-XIX вв.) в Будапеште (*нем.*).

А. Линский. Кровавый костер

Впервые: *Пробуждение*. 1917. № 9.

А. Селиванов. Костры на вершинах

Впервые: *Пробуждение*. 1918. № 10.

А. А. Селиванов (1876-1929) — поэт, прозаик, драматург, критик. Публиковался с нач. XX-го в.; автор книги стихов и переводов *Город мертвых* (1907).

С. 180. ...«*Экстаза*» — Имеется в виду симфоническая *Поэма экстаза* (1907) А. Н. Скрябина (1871-1915).

И. Ясинский. Камень астерикс

Впервые: *Аргус*. 1913. № 11, за подп. «Иер. Ясинский-Белинский».

И. И. Ясинский (1850-1931) — плодовитый беллетрист, поэт, драматург, литературный критик, переводчик, издатель, журналист. Печататься начал в 1870-х гг. в многочисленных либеральных и юмористических изданиях, позднее примкнул к лагерю «охранителей». Публиковался под множеством псевдонимов, самый известный из которых — «Максим Белинский». В 1890-х редактировал газ. *Биржевые ведомости*, с 1900 собственный журнал *Ежемесячные сочинения*, с 1903 — *Новые сочинения*. В 1903-1908 гг. также издавал журнал *Почтальон* (позднее переименованный в *Беседу*). В 1904-14 гг. редактировал журнал *Новое сло-*

во, одновременно широко печатался в иллюстрированной периодике. После революции редактировал журн. *Красный огонек* (1918) и *Пламя* (1919), продолжал публиковать сб. стихотворений, пьесы, в 1920 г. вступил в партию большевиков — чем лишь поддерживал свою давнюю репутацию беспринципного оппортуниста. Среди обширнейшего и неравноценного по качеству и значимости творческого наследия Ясинского встречаются образцы как научной, так и мистической фантастики.

С. 1990. ...астерикс — старинное название сапфира или рубина с трех- или шестилучевой звездочкой.

И. Ясинский. Лупус Сто Первый

Впервые: *Аргус*. 1914. № 20. Подп. «Иер. Ясинский-Белинский».

С. 222. ...камыш — здесь в значении «камышовая трость».

С. 231. *А ты философ, математик, профессор, умственный аристократ, столп и утверждение нашего ордена* — Издавательское замечание по адресу философа, богослова, математика, а также завзятого расиста и юдофоба П. А. Флоренского, автора кн. *Столп и утверждение истины* (1908-1914).

С. 243. «*Par ci, par là — et voila*» — «Туда-сюда — и вуаля» (фр.).

С. 247. ...нидер — вниз, от нем. *nieder*.

И. Ясинский. Финский нож

Впервые: *Аргус*. 1913. № 8.

С. 274. ...*Сальватора Розы* — Сальватор Роза (1615-1673) — итальянский художник, поэт и музыкант, известен картинами на библейские и мифологические сюжеты, портретами, пейзажами.

С. 280. *В 1665* — В действительности Рембрандт умер в 1669 г.

И. Ясинский. Браслет последнего преступника

Впервые: *Мир приключений*. 1922. № 1.

С. 300. ...*Бельше* — В. Бельше (1861-1939), немецкий писатель, критик, публицист, популяризатор науки.

С. 310. ...*Поскочина* — Стекланный завод С. Я. Поскочина существовал в селе Морье Санкт-Петербургской губернии в 1817-1842 гг. , с 1829 г. выпускал преимущественно фаянс; позднее действовал под руководством различных арендаторов и собственников.

С. 310. ...*севром, веджвудом, Поповым* — Имеются в виду знаменитые марки фарфора французской Севрской мануфактуры, английской фирмы Wedgewood (осн. 1759) и русского завода А. Г. Попова и наследников (1811-1875).

С. 312. ...*фабриканта Сазикова* — Речь идет об известной фирме, основанной в нач. XIX в.; в 1837 г. наследник основателя И. П. Сазиков (1796-1868) получил звание придворного фабриканта серебряных изделий.

О. Дымов. Находка

Впервые: *Пробуждение*. 1910. № 8.

О. Дымов — псевд. И. И. Перельмана (1878-1959), прозаика, драматурга. Выпускник Лесного института в Петербурге. С 1892 г. сотрудничал в журн. *Театр и искусство*, *Сигнал*, *Сатирикон*, *Аполлон*, считался модным прозаиком. В 1913 г. эмигрировал в США, писал пьесы на идиш для еврейских театров. Брат популяризатора науки Я. И. Перельмана.

В. Дорошевич. Через 100 лет после смерти

Публикуется по авторскому сб. *Одесса, одесситы и одессит-*

ки: (*Очерки, наброски и эскизы*) (Одесса, 1895).

В. М. Дорошевич (1865-1922) — журналист, публицист, театральный критик, знаменитейший фельетонист дореволюц. России. Работать в газетах начал учеником московской гимназии, получил широкую известность в 1890-х гг. в период работы в одесских газетах. В 1902-1917 гг. фактический редактор газ. И. Д. Сытина *Русское слово*. В 1918-1921 гг. жил в Крыму, умер от туберкулеза вскоре после возвращения в Петроград. Автор нескольких небольших фантастических произведений.

И. Василевский. Декадентские рассказы

Пуюликуется по: Пробуждение. 1907. № 17 (прил. *Русский Фигаро*), за подп. «И. Ф. Василевский (Буква)» и с прим. «Пародии».

И. Ф. Василевский (1849/50-1920) — фельетонист, журналист, завоевавший известность под псевд. «Буква». Выпускник юридического факультета Петербургского университета. Печататься начал в 1867 г. В 1879-1905 гг. редактор юмористического журн. *Стрекоза*. В 1918 г. эмигрировал, умер в Германии.

Оглавление

А. Вознесенский. Та, которую я люблю	7
В. Гофман. Умер	9
В. Гофман. Осеннее умирание	12
А. Мирович. Ящерицы	14
А. Мирович. Эльза	17
И. Лукаш. Черноокий вампир	21
И. Лукаш. Requiem	23
И. Лукаш. Последние Страны Голубых	26
А. Богданов. Бессмертный Фриде	31
А. Богданов. Остров Мессалины	46
В. Тан-Богораз. Из романа «Завоевание Вселенной»	66
В. Тан-Богораз. Ночной поход	76
П. Шкарин. Одиночество	91
Н. Олигер. Путешествие Нарады	102
Hyacinthus. Жизнь или сон?	107
Сар-Диноил. Изиды	113
Сар-Диноил. Фея вод	117
А. Пресс. Феи солнечного луча	126

О. Форш. Перед воротами	130
О. Форш. Индийский мудрец	141
О. Форш. Пассифлора	148
О. Форш. Медведь Панфамил	155
А. Унковская. Как я увидела дом своего сна	168
А. Линский. Кровавый костер	176
А. Селиванов. Костры на вершинах	180
И. Ясинский. Камень астерикс	190
И. Ясинский. Лупус Сто Первый	221
И. Ясинский. Финский нож	270
И. Ясинский. Браслет последнего преступника	297
О. Дымов. Находка	315
В. Дорошевич. Через 100 лет после смерти	319
И. Василевский. Декадентские рассказы	325
Комментарии	328

POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

SALAMANDRA P.V.V.